

ОГОЛОНЬ ПРОМЕТЕЯ



Сергеевич

Сергессиан

Огонь Прометея

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68843544

SelfPub; 2023

Аннотация

Эта философская повесть о том, что значит быть человеком. Смысл ее – самопознание, и ее цель – добродетель. Эта повесть о человечности. Данное произведение не для всех, но исключительно для того, кто следует пути личностного совершенствования... или ищет таковой...«Истинная жизнь человека заключена в нем самом».

Содержание

Пролог	5
I	21
II	54
III	97
IV	134
V	162
VI	170
VII	219
VIII	292
IX	343
X	360
XI	379
XII	398
Эпилог	407

Сергессиан

Огонь Прометея

«Разум (λόγος) – архэ человека».

«Большая этика», Аристотель

«Познай себя».

Древняя мудрость

Пролог

«Сколь дивен этот мир и сколь полон скорби... Жизнь – обреченная надежда и проникнутая надеждой обреченность; бесцельная осмысленность и бессмысленная целеустремленность... Рассвет и закат. Цветение и увядание. Все рождается, чтобы погибнуть. Все гибнет, чтобы дать место новому рождению...

Цикл бытия подобен вращающимся колесам моего экипажа и сродни оному стремится в неизвестность...»

Так размышлял я, глядя в окно кареты, когда из-за сизых волн леса, размывая мглу, выплывало жемчужное солнце осени. Свежесть пробуждения вливалась в мой дух струей животворящей. Величественное безмятежие природы, проявлявшейся передо мной, исполняло сердце трогательного волнения...

Мимо утопавших в трепетной дымке роц и равнин, мимо полноводных рек и лесистых цепей гор, мимо порыжелых пастбищ и отдаленных селений, чьи смутные очертания проступали сквозь тающий туман, катила карета. Зеленые, желтые, оранжевые краски листвы и пылающе-алые гроздья диких ягод, бурая проседь поблекших лугов и темные гущи кустарников – несметной, околдовывающей вереницей переливались за окном. Среди бескрайней тиши разносились цокот копыт, гул колес и звон колокольчика; стаи перелетных

птиц по временам тревожили высь небесную; где-то вдалеке протрубил олень...

И забывшись в созерцании элегичных ландшафтов, я до самых сокровенных фибр своего естества испытывал то, о чем писал Поэт, воспевающий осень, *«пленяющую нас самой печалью, что переполняет душу, не смущая ее, что не будоражит ее обманчивым наслаждением, но пронизывает всю, питая сладостным чувством, полным таинственности, величия и тоски...»*

«Всему положен свой предел», – олицетворяли широко расстилавшиеся пейзажи; и когда карета въехала в сосновый бор, где под кушей раскидистых ветвей мертвенно покоился сумрак, вдохновенное забытие мое исподволь источилось, оставив по себе пустошь, на которой тотчас стали возрастать тернии давешних помыслов. И как скоро дорога вновь вышла на равномерно залитые приглушенно-мягким светом просторы, и окрест потянулись гряды гор и скалистые отроги, и извилистый поток перелесков, медной патинной подернутых, зазмеился по холмам, по низинам, я, открыв свой саквояж, вынул из него два письма, кои обосновывали необходимость моей нынешней поездки, но не разъясняли ее суть.

Первое – от профессора медицины доктора Альтиата, некогда бывшего моим лицейским преподавателем, отправленное post mortem («посмертно») более двух лет тому назад, и все это время надежно хранимое среди избранных мо-

их бумаг. Я внимательно перечитал его:

«Здравствуйте, Дебн! Мы с вами давно не виделись и, очевидно, уж не свидимся. Хотелось бы сказать на прощание (хотя склонен верить, вы и без того все понимаете): несмотря на то, что порою выказывал вам определенный градус холодности, долженствующий остудить ваш ювенально-рыцарственный пыл, я заслуженно почитал вас за крайне способного и исключительного в своей глубокой самоотдаче ученика, которым можно лишь гордиться; но что всего важнее – человека высоких умственных и моральных достоинств. *«Medica mente non medicamentis»* («Лечи умом, а не лекарствами»). Правомерно, вы оправдали мои ожидания; мне, *ex animi sui sententiam* («согласно душевному убеждению»), подобало бы послать вам свой портрет с подписью: *«Ученику, превзошедшему учителя»* (как это принято у поэтов), – да только, право же, моя антисентиментальность отсекает на корню все нежные росточки, подчас пробивающиеся сквозь кору задеревенелого цинизма, каковой, увы, вернейший териак¹ от хандры (*aut lamentum aut risus* («либо плач, либо смех»))... Я наслышан, что ваша врачебная практика идет как нельзя лучше, и славное имя ваше уже давно на благодарном счету в самых почтенных домах. Но куда приятнее мне быть осведомленным, что, оказывая свои услуги тем, кто может их себе позволить, вы с присущим вам благородством

¹ Териак – мнимое универсальное противоядие, излечивающее или предотвращающее (будучи принятым заблаговременно) любые отравления.

печетесь и о тех, кому жестоким роком или собственной слабостью (что чаще всего *idem* («одно и то же»)) уготовано страдать в нужде, предоставляя таковым всю возможную помощь *pro bono* («безвозмездно»). Впрочем, не забывайте, меру должно знать во всем – даже в благодеяниях (посмею утверждать: особенно в благодеяниях).

Мы, врачи, как бы играем шахматную партию со смертью, в коей на кону здоровье и жизнь больного, а вы, Деон, хронически тяжело переносите проигрыши, но благо и ходы всякий раз совершаете *lege artis* («мастерски»). Вы бесперечь стремитесь стать в своем деле высочайшим, однако не из тщеславия, не из честолюбия, но в силу естественной человечности, – вы горите искренним желанием – испытываете чувство долга – «спасать людей». Я всегда гордился вами и всегда жалел вас. В душе вы больше поэт, чем врач; и кровь для вас не просто один из четырех «академических соков», диагностированных его святейшеством Гиппократом, но эпитомия самой жизни; вы никогда не могли сделать надрез с холодным сердцем, ибо никогда не занимались пациентом, но неизменно человеком – никогда ремеслом, но неизменно искусством. Очевидно, именно потому вы столь превосходный доктор; *quia* («ибо»): *«Где любовь к людям, там и любовь к искусству»*. Как говаривал Гален: *«Хороший врач обязан быть философом»*. А кто есть философ, если не тот, что мирозерцает более сквозь призму души, нежели линзу рассудка? *Tamen* («однако»), ни в коем случае не

дозволяйте душе возобладать над рассудком: подлинная воля – акт рациональный, а не эмоциональный; коль скоро вы избрали своей стезей врачевание – нескончаемую дуэль со страданиями и гибелью – то обязаны непроницаемой броней сковать чувствительное сердце, – иначе оно подведет вас. И ни при каких обстоятельствах не забывайте золотые слова великого магистра нашего ордена: «*Medicus curat, natura sanat*» («Врач лечит, природа исцеляет»).

И иногда natura уже не способна исцелить. Так ныне со мною. «*Ars longa, vita brevis*» («Искусство долговечно, жизнь коротка»). На протяжении всей своей напряженной жизни я растрачивал ментальную и физическую энергии на тех, кто, по большей части, того, вероятно, не заслуживал, – вычищал авгиевы конюшни, так сказать, – следуя завету благороднейшего из безумцев: «*Только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других*»; и сия безрассудная «милостыня» привела меня к закономерному итогу – жалкой немощи. Я, Деон, едва способен держать перо (посему не обессудьте на усугубление и без того корявого «врачебного почерка»). Не удивляйтесь: мое сердце отроду было слабым, хотя мне и высказывали неоднократно, что оно у меня выковано из железа. Это письмо – последний всполох истлевшего угля... Уж священник черным вороном кружит у моего одра, предрекая скорую кончину. А я, heu («увы»), бессилен схватить трость да прочь прогнать эту докучливую гарпию: *Fugite, partes adversae!* («Сгинь, нечистая сила!»).

Так вот по милости моей дражайшей супруги, *bona fide* («искренне») полагающей, что тем самым она *богоспасает* безбожную душу мою, каждодневно заявляется ко мне «лекарь духовный» и прикладывает ко лбу хладное распятие, да *mala fide* («неискренне») шепчет мне в нос свои нечленораздельные тошные молитвы, напитанные жгучим запахом жаркого с луком и чесноком. Если уж я сношу это, друг мой, то в мире, верно, не осталось ничего, что не смог бы я снести; *ergo* («следовательно»), сие есть смертное отчаянье. И не сбывься уж моей мечте: пасть достославной смертью Хрисиппа²...

Короче говоря, *acta est fabula* («представление окончено»). Лезвие Морты³ коснулось истрепанной нити моей судьбы. Но я воистину рад, что решающее движение не сделано ею, и *in extremis* («перед кончиной») имею возможность написать вам. Впрочем, ответа вашего я не дождусь, посему ж не стану и любопытствовать, как вы поживаете, – ведь не долгод час, когда, глухой до всего земного, я буду покойно внимать немой музыке вечности... Не спрашивать – просить хочу я вас – вас, Деон, и никого иного – не надеясь, но зная,

² Хрисипп – древнегреческий философ-стоик. О его смерти античный историк Диоген Лаэртский рассказывает так: «Говорят, будто умер он от припадка хохота: увидав, как осел сожрал его смоквы, он крикнул старухе, что теперь надо дать ишаку чистого вина промыть глотку, закатился смехом и испустил дух».

³ Морта – одна из трех Парок – римских богинь судьбы (аналогичных греческим Мойрам): Нона – тянет нить человеческой жизни (давая рождение), Децима – наматывает кудель на веретено (определяя судьбу), Морта – перерезает нить (вызывая смерть).

что вы не откажете мне в единственной просьбе.

Вот в чем сия просьба заключается: ежели когда-нибудь вас призовут от моего имени, то, оставив все свои дела, безотлагательно отправляйтесь, поскольку помогать людям возможно в любой день, тогда как случай спасти Человека может не представиться и вовек, а преминуть таковым – величайшее прегрешение на свете.

Философа Гераклита, прозванного «Темным», часто укоряли в надменности и мизантропии, но его попросту не понимали (ибо не смели понять), когда заявлял он: *«Трех мириад мне дороже один, коли он наилучший»*. Верю, Деон, брат мой, что для вас в этом речении нет ничего темного, но, напротив, оно зрится вам ярким проблеском меж серых туч бытия. Vale («Будьте здоровы»).

P.S. *«Непреодолимое взору глаз, одолевается взором разума»*.

P.P.S. Ради бога, не приходите на мои похороны; лично сам я там присутствовать не буду».

Я получил данное письмо на следующий день после написания; доктора Альтиата уже не было в живых (подозреваю, он задержал себе дыхание); и за минувшие два года часто вспоминал об этом послании, но ни разу не перечитывал. Затаенно ждал момента, когда в том появится насущность. И вот момент настал. Ибо сегодня в четвертом часу ночи мне с нарочным было доставлено второе из находящихся при мне писем – короткая, лаконичная записка:

«Доктор, просим вас срочно прибыть в поместье, что располагается в горах близ селения Амвьяз. По возможности скорее наймите быстрый экипаж. Возьмите с собою все необходимые хирургические инструменты и медикаменты. По прибытии экипаж отпустите.

Пожалуйста, не теряйте ни минуты. Вопрос жизни и смерти.

Ваш адрес оставил нам доктор Альтиат. Он поручился за вас, как за самого верного человека».

На втором листе, вложенном в конверт, подробно излагался маршрут от Амвьяза до горного поместья.

Подписи не наличествовало.

Осведомившись у нарочного, кто отправил его ко мне с этим посланием, я получил следующий ответ:

– Старик один. Как зовут его не знаю. Нельзя ведь спросить, – невесело усмехнулся сей шепелявящий юноша, – того, кто не разговаривает.

– То есть? – вскинул я брови.

– Немой он... иль прикидывается таким.

– С чего бы ему *прикидываться*? – поинтересовался я.

– А с того, что скрывает он что-то... – потупив взгляд, сказал гонец; и глухо примолвил: – Что-то нечистое творится в этом горном поместье.

– Что вы имеете в виду?

– То и имею... – буркнул юноша (тема сия, очевидно, была ему не по нутру, как кошке аромат лаванды). – Старик-то,

по всему видать, слуга. Да только ж чей?.. Заезжает он по временам на своем возе к нам в Амвьяз провизией закупиться, да на почту заглядывает. А вот господина его – хозяина-то горного поместья – никто никогда (за тридцать-то лет!) в глаза не видывал, никто о нем и не слыхивал... Вот и ходят издавна разные слухи...

– Какие слухи?

– Ну... – замялся нарочный, уставившись в пол и скребя паркет мыском сапога. – Говорят, что прислуживает сей бессловесный старик колдуну какому, некроманту, вурдалаку – чудищу сатанинскому, иль хуже того, – юноша рефлекторно перекрестился, – самому врагу рода людского... Я, конечно, всякому такому не шибко-то верю, – наспех проговорил, смущенно почесывая затылок, – но все-таки ж... – протянул раздумчиво, – все-таки что-то там, в этом горном поместье, явно нечисто... Такие толки, знаете ли, на пустом месте не возникают...

Когда ж я поблагодарил его за скорую доставку, присовокупив при сем монету на чай, юноша с озабоченной признательностью во взоре сказал мне на прощание:

– Много любезен, ваша милость... Вы уж поступайте как знаете, не вправе я вам советы подавать... да только... совесть меня мучит: как бы это письмо вам на пагубу не пришло. По всему-то видно, что вы и не ведаете вовсе, кто вам оттуда пишет... И старик-то этот явился ко мне за полночь, землистый, что покойник... простаки, можно сказать, при-

неволил меня седлать коня и к вам галопом пуститься – в самую-то темень... Как околдовал... – потупился курьер. – Что-то такое было в его глазах... что-то тревожное... пугающее... что-то вот, знаете, прямо-таки необычайное... за душу берущее... И... – запнулся. – И... Ах! – досадливо махнул рукой. – Да что тут скажешь?.. Но вот лично я б туда, – воззрился на меня чуть не с мольбою, – избави боже, сударь, в это горное поместье, ни за что на свете по собственной воле не отправился б. Готов поклясться, никто из нашего селения туда шагу ступить в своем уме не отважится... Слухи слухами, да только ж... Помяните мое слово: что-то там не то, что-то там этакое, что-то там нечисто... какая-то страшная тайна кроется в сем горном поместье...

Весь этот разговор как вживую повторился в неприметно нисшедшей на меня дреме, и снова вязкая обеспокоенность забродила в груди...

Сквозь полусон я почувствовал: лошади встали. Затем прозвучал голос кучера. Я признал его, но произнесенных слов, что паром рассеялись, не успел осмыслить. Тогда, раскрыв глаза и сконцентрировав внимание, я услышал, как кто-то пылко восклицает сиплым, натужным криком:

– Верно! Верно, черт возьми! Да только даже не думай, говорю, туда ехать! Поворачивай, говорю, подобру-поздорову и мчись прочь, покуда цел! Ты зачем туда намылился в это проклятое место?! в это бесовское гнездовье?! А?!

Я выглянул из окна. Карета стояла посреди безлюдной, немощеной улочки, вдоль которой неказисто кучились ветхие постройки. Пожилой мужчина с жидкими, свисающими вниз усами и крупным сливового оттенка носом, экспрессивно размахивая клюкой, взывал к кучеру с ростр⁴ своего опьянения:

– Думаешь, я тебе тут шутки шучу? Думаешь, всякий вздор спьяну мелю? Думаешь, говорю, старик, мол, совсем из ума выжил? А ты вот послушай-ка, что я тебе днесь порасскажу! Тогда-то по-другому, голубчик, у меня запоешь!

– В чем дело? – возвысил я голос.

– А! – вскрикнул старик, резво ко мне прыгнувши. – Вы, сударь, говорю, ужели впрямь в горное поместье направляетесь?

– Ужели... – сухо ответил я, отстраняясь вглубь экипажа от бьющего в нос перегара.

– А что это, позвольте поинтересоваться на милость бо-
жью, – с нахально-комичной деловитостью и несуразными ужимками закудахтал пропойца, – что это у вас там, сударь, за дело такое?

– Это вас не касается, – возразил я.

– И то правда! – осклабился он. – Да только ж вот не припоминаю, говорю, чтоб туда кто-нибудь наезжал особо, в эту богом забытую глушь... А вчера вот такая жуть приключи-

⁴ Ростры (Rostra) – возвышенная платформа, с каковой древнеримские ораторы оглашали свои речи.

лась, и поглядите-ка: как добраться интересуются!

– И что же, собственно, вчера *приключилось*? – спросил я.

– А вы разве не знаете? Нет?! Вот так вот... – покачивая взъерошенной головой, старик иронично зацокал языком. – Ну что за дьявольщина! Не знаете и туда-то катите? Боже правый! Вот уж чем дальше, тем чуднее! Какая ж это нечистая сила вашу милость в сей адский омут потянула?

Старик выпучил глаза и вопрошающе уставился на меня. Я же, в свой черед, сохранял хладнокровное безмолвие, полагая, что, дабы выяснить меня интересующее, мне отнюдь не обязательно раскрывать собеседнику интересующее его, – поскольку народ в массе своей устроен таким образом, что коль скоро испытывает тягу о чем-либо рассказать, то, дай срок, не только не потребует взамен уплаты, но даже будет готов сам приплатить, лишь бы его благосклонно выслушали. Моя теория себя оправдала.

– Так вот послушайте, – едва погода, нетерпеливо сглотивши, начал старик, сопровождая дальнейшую речь уймой гипервыразительных гримасничаний и жестов, – послушайте, говорю, сударь, что я вам с собственных глаз и ушей сейчас поведаю... Уж много лет поместье это в горах – «у черта на рогах» – под пугалом дурной молвы пребывает, кишит, что погреб крысами, богомерзкими слухами. Никто из Амвьяза туда – в это место треклятое (чтоб оно сгнуло!) – и близко-то сунуться не смеет. А вот, говорю, есть у нас тут один смельчак желторотый, решил в тех местах, значит, по-

охотиться; думал умник, видать, что раз уж туда охотничий сапог ступить стережется, дичь, чай, покойно эдак себе там расхаживает, что в райских куцах. И сижу я, значит, вчера себе в кабаке посиживаю, как врывается юнец сей сказанный, бледный, вот точно смерть сама, с ружьем в руках колотящихся; челюстей дрогнувших, говорю, свести не в мочи. Все аж с мест своих повскакивали!.. Ну, хозяин, не дурак, смекнул сходу, что случилось, поди, чего, и тут же стакан доверху ему наполнил чем погорячее, дабы парень оттаял чуток, что говорится. И вот, говорю, первый стакан он залпом опрокинул – застонал; тут же второй – слезами залился; вдогонку третий – голову руками этак обхватил да пялится отупело в одну точку глазами, вот точно стеклянными. Мы все его, говорю, обступили и спрашиваем: чего, мол, стряслось у тебя такое? Молчит. Потом опять навзрыд расплакался. Уж, говорю, не помешался ли, думаю. И вот наконец, значит, промямлил: «Я черта подстрелил!» – говорит. Все б и посмеяться рады, да на парня-то этого глядим и, говорю, не до смеха совсем уж. «Что ты такое там мелешь?» – спрашиваем. А он только-то и повторяет: «Я черта подстрелил!», – осушает один за другим и слезы глотает вприкуску, что виноград, гроздьями. «Какого черта?» – спрашиваем. «Страшного», – отвечает. И все тут! «Да где же? где?» – спрашиваем. А он смотрит, говорю, на нас зеницами помешанными и сквозь зубы-то колотящиеся цедит: «Близ горного поместья... там... там... логовище сатаны!» Так-то и упился ву-

смерть; домой на руках, говорю, только-только мѳлодцы наши его отволокли... – понуро вздохнул старик. – Голову свою на отсечение даю, что все вот так вот в точности и было! – вытаращив глаза, заверительно шлепнул себя по лбу ладонью (словно штемпель поставив). – Ни полсловечка не приврал! Богом клянусь!..

Я промолчал.

– Что ж вы на это, ваша милость, скажите?

– Ничего... – ответил я.

Старик, недобро ухмыльнувшись, отступил на шаг назад:

– Что ж это у вас там за дела такие... – пробормотал он, щурясь с рысѳей подозрительностью. – Не передумали, значит, ехать-то туда?

– Нет, – был мой ответ.

– Ну так возница ваш верно у меня дорогу испрашивал; как говорил, так пускай и гонит. Да поможет вам бог! Ежели только... – с неуклюжей размашистостью старик осенил себя крестным знамением. – Ежели только, говорю, вы не на стороне врага его вековечного... – мутный взгляд вспыхнул злорадством (будто воспламенившееся болото).

– Трогай! – решительно кликнул я кучеру.

Чем дальше мы продвигались, поднимаясь вверх по ущелью, тем теснее обступали нас скалы, тем теснее становилось у меня в груди. Я не знал, что и думать обо всей этой таинственности, затянутой паутиной суеверий, обо всей этой

непостижимой мистике, о дважды мне высказанных зловещих предостережениях, об энигматической недосказанности писем, у меня в саквояже лежащих. Я впал в ступор умственной растерянности, и время, как при горячечном сне, увлекая душу, уносилось стремниной беспамятства... пока я внезапно не заметил, что мы прибываем.

За усыпанной желто-алой листвою аллеей, под рдеющим пологом коей ныне катила карета, виднелось белокаменное здание и снежные вершины гор, сродни облакам, над ним застыло парящие... Миновав аллею, сквозь распахнутые ворота высокого кованого забора с пиковыми навершиями мы въехали во двор; кучер остановил лошадей посреди пустынной площадки. Я вышел из экипажа и оглянул дом – ординарную двухэтажную постройку в строгом стиле: с четырьмя широкими зарешеченными окнами на нижнем ярусе фасада и шестью окнами поменьше, с балконом по центру – на верхнем; под треугольным фронтоном громоздкого портика, образуемого цилиндрической колоннадой, черным порталом зияла дверь; по стенам расползлись ядовито-зеленые пятна мха и, цепляясь за кладку, льнули пожухлые узоры плюща, под дуновениями ветра уныло трепетавшие. Тыл поместья огораживали непреступно вздымавшиеся скалы: кто бы не воздвиг сию обитель, он воздвиг ее ради всезабвенного уединения.

Простившись с кучером, беспокойно взиравшим то на меня, то на тоскливое, объятые стылым безмолвием окружение,

я (нарочито уверенно) зашагал через двор с (непривычно тяжелым) саквояжем в руке, и когда, уже подходя к крыльцу, оглянулся на удалявшуюся карету, шум хода которой постепенно тонул в бездонном, неисповедимом затишье, все чувства оглушающем, остро испытал леденящее душу ощущение беззащитности человека, к вратам фатальности подступившего...

I

Я взошел на крыльцо и только вознамерился взяться за дверной молоток, как массивная дверь предо мной отворилась. Тревожный взгляд вперился мне в глаза. Рослый, широкоплечий, облаченный в черное старец, чьи белые, как снега гор, волосы, словно бы люминесценцировали в тени прохода, пригласил меня войти – жестом оробело-учтивым; и затем как я переступил порог, он спешно – с гулким стуком – засов задвинул. Холл был угрюм и неприветлив; плотные гардины на окнах – наглухо задернуты; кругом – затаенный сумрак. Я ощущал, как суеверный страх, который, казалось бы, абсолютно чужд моему рационализму, ныне бесперечь овладевает мною, студеным туманом сползаясь в груди, молниеносно пробегая мурашками по коже. Старец, поведя рукой, пригласил меня проследовать за ним (он смотрел прямо мне в глаза, но тем самым точно хотел скрыть, что предпочел бы сего избежать). С мгновение помедлив, я сделал обильный вдох, словно готовясь нырнуть под воду, и насилу двинулся, смятенным предчувствием обуреваемый. Мы поднялись по старой парадной лестнице, и, пройдя вдоль обшитого темным деревом коридора (половицы скрипели под ногами, в щелях постукивал сквозняк) с закрытыми дверьми по обеим сторонам (все представлялось *необъяснимо странным*), зашли в просторную угловую комнату.

Я опешил. Остолбенел. Сердце упало и замерло, разбившимся часам подобно. Кровь похолодела в жилах. Заледенела душа. Я почти утратил способность дышать. Не постигал, что думать, как быть, куда деваться. Скованные ужасом, оцепенели глаза.

Предо мною на кровати полусидело *существо*, русой гривой поросшее, (в белой сорочке, под одеялом по пояс) – и пристально глядело на меня взором, насквозь пронизывающим.

– Здравствуйте, – раздался глубокий и чистый мужской голос.

– Кто вы? – судорожно вымолвил я, не чувствуя собственного тела (как окаменяющим оком василиска пораженный).

– Человек, – был ответ.

Я обескураженно обернулся на седого слугу, точно бы уповая, что он разъяснит мне: куда, к кому и зачем я попал, – все теми же встревоженными влажными глазами смотрел он на меня, стянув бесцветные губы свои в призрачное подобие улыбки.

– Вам незачем переживать, – размеренно заговорил *тот*. – Вы муж науки и, несомненно, знаете, какие аномалии спорадически случаются в природе. Дело в том, доктор, что я таков, каков есть, ввиду редкостного заболевания, проявляющегося в избыточном росте волос. Мне понятны ваши чувства: с первого взгляда сей недуг может показаться устрашающим, – ведь недаром литературная традиция закрепилась

ла за людьми, сродными мне в данном отношении, прозвания лютых людей-волков, диких людей-обезьян и в одном известном случае – человека-льва, – вероятно, именно отсюда исходят некоторые легенды об оборотнях и зверолодях. Однако за исключением превышающей норму косматости, физиологически я, будьте уверены, ничем не отличаюсь от остальных мужчин. У меня нет ни волчьих клыков, ни обезьяньего хвоста, ни львиных лап. Я безобиден и не представляю, как это вообще возможно кому-либо навредить; в жизни, бесспорно, есть вещи, за которые достойно погибнуть, но нет таких, за которые достойно погубить... И в знак того, что вам не следует испытывать ко мне ни малейшей опасности, я дружески протягиваю вам свою человеческую руку.

Сказавши это, он поднял десницу, совершенно чистую и, сверх того, более походящую на грациальную девичью кисть, нежели на кисть взрослого мужчины. Мерная, благожелательная, а главное, разумная речь воздействовала на меня воистину успокоительно и – взволнованный, но уже не подверженный панике – я смело ступил вперед – принял протянутую мне длань.

– Мое имя Себа́стиан, – сказал сей человек, проникновенно на меня глядя; и я восхитился прозрачной глубинности его карих глаз.

– Деон, – представился я, стараясь с достоинством удерживать свой пристыженный взор.

– Да, я знаю... Деон... – произнес Себастиан; мирная

улыбка окрасила его бледно-розовые губы, окруженные густой лицевой растительностью, что сплошь скрывала нос и уши. – Доктор Альтиат не единожды рассказывал мне о вас.

– Вы были хорошо с ним знакомы? – поинтересовался я (скорее, дабы выказать, что овладел собою, нежели оттого, что в тот миг меня это занимало).

– Присаживайтесь пожалуйста, – своим ровным тоном, в котором взаимно сочетались и величие и кротость, сказал Себастиан, указывая на обитый зеленым бархатом стул, подле располагавшийся.

Сев, я посмотрел на старца, в изножье кровати стоящего: он весь просиял, будучи утешен положительным развенчанием напряженной ситуации; мы синхронного обменялись дружественными кивками (и только теперь я различил, сколь он благообразен и сколько теплоты в его светлых очах).

– Да, – отвечал меж тем на мой вопрос Себастиан, – мы хорошо знали друг друга, – ведь доктор Альтиат издавна был моим врачом и опекуном, но прежде всего – моим другом. Он был благородным, сильным человеком, исполненным подлинной гуманности. Я каждодневно вспоминаю о нем с неперемнной радостью; горестно, когда лишаешься друга, но отраднo, когда сознаешь, что у тебя был друг, – да почему же был? и был и есть, ежели помнишь о нем, ежели чувствуешь его неизбывное соприсутствие в своей душе... – приветно мне улыбнувшись, Себастиан смолк на момент. – Доктор Альтиат, как вам, верно, известно, скончался ско-

ропостижно, но заблаговременно предупредил, что в случае необходимости мы с Эвангелом можем обратиться за помощью к вам, Деон; он сказал, что вы замечательный врач и замечательный человек, что вам всецело можно довериться.

При сих словах, лестно напомнивших мне о моем долге, я спохватился и, встав со стула, склонился над Себастианом:

– У вас перевязано плечо...

(Мистический этюд тотчас прояснился в моем сознании.)

Я задал утвердительный вопрос:

– Огнестрельное ранение?

– Да, Деон, – спокойно отвечал Себастиан, – в меня выстрелили из охотничьего ружья. Пуля прошла навывлет. Но я потерял много крови.

– Позвольте осмотреть, – сказал я и, не мешкая, раскрыл свой саквояж. – Сперва мне нужно вымыть руки.

Старец, кивнув, немедля вышел из комнаты.

– Ваш слуга немой? – спросил я, выкладывая инструменты на прикроватную тумбу.

– Эвангел не способен изъясняться вербально, это так, но он не слуга мне, – заметил Себастиан. – Эвангел мой друг; справедливо сказать – отец; равно как и Лаэсий – мой покойный наставник. Покуда Лаэсий воспитывал меня и обучал наукам, Эвангел заботился обо мне (вернее, о нас троих); я никогда ничего ему не приказывал, он всегда был волен заниматься тем, чем пожелает, или вовсе уйти, но Эвангел любит меня истинно родительской любовью и почитает свое

счастье в том, чтобы находиться рядом, оказывая мне поддержку, – принимает сие как долг – не как повинность. Некогда Эвангелу пришлось глубоко познать жестокость и безразличие социума, пережить гнетущее одиночество и безутешную тоску, – посему он нимало не сожалеет о том, что проводит жизнь свою здесь – вдали от людей, их утех и их забот, их мира и их войны.

– Как вы себя чувствуете? – засим осведомился я (испытывая, что еще не до конца отошел от постигшего меня потрясения и не вполне свыкся с внешностью Себастиана; но ныне он, *гривой непостижимости* облеченный, внушал моему духу не тревогу, а некий поистине благоговейный интерес).

– Чувствую общую слабость, жар (впрочем, не слишком сильный), некоторую стесненность дыхания и онемелую боль в пораженной конечности, – сообщил Себастиан.

Тут, внеся таз с водой и мыльницу, вернулся Эвангел. Я вымыл руки, подготовил требующиеся инструменты и приступил к осмотру ранения. Прежде всего я принялся снимать окровавленные бинты, попутно срезая ножницами припекшийся к ним волосистой покров; после аккуратно выстриг область вокруг прострела с обеих сторон торса. Все это было непривычно, странно, но при сем не возникало во мне ни малейшей гадливости, ни тем паче трепета.

– Да, – констатировал я, осмотрев ранение, – пуля прошла навывлет. Рану необходимо тщательнейшим образом обрабо-

тать и наложить швы. Это длительная и болезненная процедура. Вам надлежит предварительно принять опию.

– В опию нет нужды, благодарю вас, – деликатно (а вместе бескомпромиссно) возразил Себастиан. – Я стерплю.

– Это действительно болезненная и отнюдь не пятиминутная операция; в вашем состоянии она способна вызвать шоковую реакцию... – попытался я было настоять.

– Доверьтесь мне, доктор, – тихо произнес Себастиан; темно-карие зрачки его являли невозмутимую, обезоруживающую неколебимость.

– Вы уверены? – спросил я.

– Да, – был ответ.

В продолжении всего времени, пока длилась процедура, Себастиан не издал ни стога, – лишь порывистое дыхание выдавало физические мучения, кои он стойко претерпевал...

– Как случилось, что в вас выстрелили? – спросил я, наивно перевязывая Себастиану плечо.

– Недоразумение, – отвечал он спокойно. – Вчера я отправился на прогулку по окрестностям. Обыкновенно мы с Эвангелом гуляем вместе, но на сей раз я уговорил его остаться дома, поскольку он простудился намерзши... Стоял тихий вечер, проникновенно веющий прохладой. Я вошел под сень леса и, ступая по пестрому настилу опавшей листвы, бархатистым светом пригретой, долго бродил в мирной

задумчивости, словно бы растворившись среди тиши глубокомысленной... Сумерки исподволь обесцвечивали краски рощи, планомерно заволакивая пространство мерклой пеленою; на исчерченном древесными ветвями небе все ярче просвечивали звезды; поочередно умолкали птицы; природа засыпала в нисходящей ночи... Пора было возвращаться. Я зашагал по направлению к поместью, как вдруг лицом к лицу столкнулся... с человеком... Это было не только неожиданно, но и в высшей степени необычайно для меня, – ведь уже много лет мне не доводилось лицезреть незнакомых людей. Посему я стоял в некоей растерянности, равно как и мой встречный, который, несомненно, до крайности перепугался: лицо у него было дико перекошено, и в руках звучно дрожало ружье (собака же его глядела на меня с изучающим любопытством, но без агрессии). Лишь только я попробовал заговорить, дабы поприветствовать и ободрить незнакомца, как он скоропалительно вскинул ствол и с ярким выкриком: «Изыди сатана!» – выстрелил в меня. Это было опрометчиво, но не смею обижаться (и вы, Деон, давеча оторопели моей наружности, несмотря на то, что узрели меня лежащим посреди светлой комнаты, – что уж говорить о встрече со мною в окутанной сумраком глуши). Вспоминая стихи Кальдерона: *«Я человек среди зверей и дикий зверь среди людей»*... После выстрела какое-то время я пролежал в беспмятстве. Когда очнулся, уже совсем стемнело. Я поднялся и, зажавши рукой кровоточащую рану, возобновил путь домой. Эвангел

же, незадолго до сего события, движимый беспокойством, его радетельной натуре свойственным, вышел с фонарем во двор, ожидая скорого моего возвращения, и, заслышав отголоски выстрела, ринулся в лес. Меж тем я безнадежно плутал во мгле безвидной; голова шла кругом, ноги подкашивались, зубы безудержно стучали от всепронизывающего холода, из раны сочилась горячая кровь, а купно с нею иссякали последние силы. И вот сквозь отуманенный мрак я заприметил приближающийся ореол свечения, верно решив, что то был Эвангел, меня в потемках разыскивающий; я окликнул его. Эвангел помог мне добраться до дома, перебинтовал, уложил в постель, после чего написал вам письмо и выехал в Амвьяз, откуда отослал нарочного по вашему адресу, оставленному нам доктором Альтиатом... – Себастиан выпустил из уст легкий вздох. – Как и любая человеческая трагедия, сия свершилась по тривиальной причине недопонимания.

С минуту мы безмолвствовали. Я взял правую руку Себастиана и проверил пульс: слабый, но стабильный.

– Вы что-нибудь ели сегодня? – спросил я засим.

– Нет. Мы обедаем несколько позднее.

– Вы потеряли много крови, – мягко возразил я, – вам надлежит обильно потреблять жидкость, дабы восполнить утрату и набраться сил... Эвангел, – я повернулся к старцу, бесшумно сидящему на стуле в дальнем углу комнаты, – приготовьте что-нибудь пожалуйста: бульон или суп...

Ответив мне наклонением головы, Эвангел встал и вы-

шел.

– Как я понимаю, вы живете вдвоем? – обратился я тогда к Себастиану с этим весьма надуманным вопросом, дабы посредством общения окончательно расковать обстановку.

– Да, – подтвердил Себастиан. – Больше здесь никого нет... и никто не бывает... Раньше доктор Альтиат навещал нас. Мы подолгу беседовали, он сообщал нам значимые общественные и культурные новости, делился сведениями о новейших научных достижениях, за каковыми пристально следил, привозил в подарок новые книги. И, конечно, играл для нас на скрипке.

– Доктор играл на скрипке? – удивился я не на шутку.

– Да, – удивленно же ответил Себастиан.

– Я, признаться, и не подозревал... – обронил я, рефлексивно положив правую ладонь себе на темя (по-новому вглядываясь в даль прошлого).

– Доктор Альтиат был замечательным музыкантом, – сказал Себастиан, на мгновение в блаженной улыбке замерев. – Воистину вдохновенным. Когда он отдавался исполнению, менялся в лице неизъяснимо... преображался... расцветал... словно для него переставало существовать все земное – одна волшебная музыка, кою он творил... Сия же *священная благодать* нисходила и на нас, слушателей, ибо: *зачарованно внемля музыке, мы сами – музыка*... Однако доктор говорил, что способен играть, как подобает, лишь тут – в горном поместье, где отдыхает его сердце, среди нас –

своих друзей, с которыми радуется его душа... – Себастиан вздохнул тиховейно. – Музыка стала для меня великим утешением. Когда мой отец и наставник Лаэсий ушел из жизни (мне было шестнадцать), доктор Альтиат взялся навещать нас чаще прежнего и обучать меня сему удивительнейшему искусству, магии подобному (Лаэсий, как истый стоик, воздерживался приобщать меня оному, покуда дух мой не возмужает и не окрепнет достаточно, чтобы музыка облагораживала его, а не расслабляла). И доктор подарил мне свою скрипку (кою любил ласково именовать «Лирой»), – Себастиан указал взором на кофр, лежащий на круглом треногом столике у окна. – За минувшие годы, музицируя ежевечерне, я достиг значительных успехов в освоении инструмента (сроднился с ним)... а все же не сумел сравняться с доктором Альтиатом...

Себастиан смолк; очи его блеском меланхоличной умильности подернулись...

– Вы никогда не покидали пределов поместья? – спросил я (когда он посмотрел на меня долгим – *задумчиво-светозарным* – взглядом).

– Это так. Ни разу с тех пор, как живу здесь. Вот уже почти тридцать лет.

Я не нашелся что сказать и сконфуженно промолчал.

– Деон, – молвил тогда Себастиан, – вы хотели бы узнать мою историю?

– Если вы сами желаете меня в нее посвятить...

– Я считаю это необходимым, – кивнул Себастиан, – поскольку между друзьями долженствует безраздельно царить взаимопониманию и взаимодоверию. А для меня важно, Деон, чтобы вы стали моим другом. Смею надеяться, это взаимно.

Я убежденно заглянул Себастиану в глаза, изливавшие ясную ауру благородства. Он улыбнулся мне. Его улыбка, как и вся мимика в целом, была благостно-спокойной, едва ли не эфемерной и в тот же момент столь выразительной, будто сдержанной и такой искренней... Она одухотворяла лик Себастиана так, что затмевала собою всю внешнюю неестественность его, естественной сутью сияя... То была истинно человеческая улыбка, хотелось бы мне сказать, но по причине, что людям почти не причастна подобная непорочность духовных проявлений, приходится сентиментально наречью улыбку – *ангельской*...

– Моя жизнь – тайна, – методично заговорил Себастиан чистым глубоким голосом, – и по условию должна таковой оставаться. Только четверо человек, включая вас, Деон, ныне знают о моем существовании; для всех остальных – я давно умер... Дело в том, что я принадлежу к знатному и влиятельному роду. Мой отец – герцог, министр, один из самых приближенных подданных монаршей особы. Рождение мое – тридцать два года назад – одарило великим счастьем родителей после четырех лет бездетного брака: здоровый, крепкий мальчик – гордость отца и отрада матери. Первый год своей

жизни я был именно таким – прелестным белокурый дитя. Но ко второй весне стали явственно обнаруживаться признаки моего врожденного заболевания. Волосы, необыкновенно интенсивно для столь раннего возраста растущие на голове, начали пробиваться по лицу. Родители чрезвычайно встревожились. Был привлечен выдающийся врач, ранее излечивший мою мать от бесплодия и ввиду своего успеха, а также безукоризненности репутации, заручившийся крупным кредитом доверия у отца, – доктор Альтиат. Впредь доктор регулярно наблюдал за мною. Безуспешно проштудировав многие тома медицинской литературы, он пытался выявить патологию и воспрепятствовать ее развитию различными методами и средствами; однако же всё, что ему на первых порах удалось, это обесцветить при помощи специального раствора пушок у меня на лице и сделать его почти неприметным. Но неделя от недели волосной покров сплошь разрастался по моему телу, становился длиннее, гуще. Доктору Альтиату, по требованию отца, пришлось прибегать к восковым процедурам на видимых участках кожи, каковые процедуры для нежного дитя проходили крайне мучительно (посему ж доктор, ласково потерпеть увещевая, был вынужден вкладывать мне в рот тряпичный кляп, чтобы вопли мои и рыдания не разносились по всему особняку). Вскоре, впрочем, стало очевидно, что, дабы скрыть мое соматическое отклонение, придется подвергать меня сим пыткам буквально каждодневно (так стремительно прорастал на лице новый

пушок, делаясь притом насыщеннее, темнее), а это, помимо физической боли, угрожало непоправимым разрушением моей психики, – и с категорического настояния доктора Альтиата решено было прекратить неэффективное и вредоносное наружное противодействие.

Между тем мне минуло три года. Отныне я все время проводил в четырех стенах находящейся в отдаленной нежилой части особняка комнаты, покидать кою мне не дозволялось; со мной безотлучно находилась престарелая няня, некогда опекавшая мою мать, покуда та была в девичестве. Всем прочим слугам, а равно родственникам и друзьям, говорилось, что я серьезно болен, что хрупкая жизнь моя способна дать трещину от малейшего волнения, посему мне должно бесменно пребывать в постели среди ненарушимого покоя. Отец никогда не заходил ко мне; стыдился своего позора, трепетал мрачного краха светлых надежд своих: долгожданный сын – плоть от плоти, наследник имени, титула, чести – оказался неизлечимым уродом без всякой будущности, беспримерным бесчестьем, кое ничем не избыть, бременем души, от коего вовек не отрешиться. Мать поначалу навещалась довольно часто, брала в руки мою длань – единственное место тела, не поросшее шерстью – и, то глядя на меня, то поникая взором, безутешно проливали слезы; да и я, сам не сознавая тому повода, плакал вместе с нею. Seriously опасаясь за нас обоих, доктор Альтиат попросил на время приостановить эти визиты. И матушка приняла его рекомен-

дацию как желанный рецепт самооправдания – с душевным облегчением. Больше я ее не видел.

Близился четвертый год моей жизни, – если позволительно так называть заточение, во время которого все, чем я занимался: спал, ел и бездумно катал по полу деревянную лошадку на колесиках, – когда лицо мое стало напоминать скорее моську какой-нибудь мохнатой собачонки, нежели лик чада человеческого. Все старания доктора Альтиата исцелить меня оказались тщетны. Он не раз предлагал отцу привлечь других врачей, созвать консилиум, но тот ультимативно накладывал свое вето, аргументируя: «Насколько мне известно, вы лучший специалист в физиологической области. Насколько мне известно, все ваши тщания ни к чему не привели. И, наконец, насколько мне известно, сие заболевание не имеет научно-описанных примеров, следовательно, никому неведомо, как его лечить и излечимо ли оно вообще. Ввиду всего вышеозначенного я не желаю вводить в эту бесславную тайну моего досточтимого дома каких-либо новых лиц, дабы горе наше не стало в конечном счете притчей во языцах. Надежд, что сторонняя помощь пойдет впрок, у меня, да и у вас, полагаю, почти что нет. В то время как риск гласности несоизмеримо значительнее. Честь рода для дворянина, доктор, превыше всего...»

Самоочевидно, что мое существование с каждым днем становилось все тягостнее для родителей. Мать сделалась предельно слабонервной: напряженной и рассеянной в об-

ществе, а в уединении почасту предавалась слезной истерии да с одержимостью твердила молитвы. Отец был мрачен и раздражителен; из дружеского расположения, почтения или же заискивания у него то и дело справлялись о здоровье сына, и ему, скрепя сердце, приходилось из раза в раз утаивать истинное положение вещей – врать вопреки своей гордости, дабы эту самую гордость сохранить, по крайней мере в глазах света. Да и мне грозило вырасти хворым и отсталым, коли я безвыходно находился взаперти с одной лишь старой няней – доброй и заботливой, но малограмотной и недалекой. В итоге, с одобрения (а весьма вероятно, и по инициативе) духовника, сподобившегося благодаря родительскому горю исключительного на отца и мать влияния (ибо недуг мой подразумевался вышней карой за их грехи), было решено меня переселить. Для этого требовалось, во-первых, подыскать уединенный дом, достаточно удаленный от ближайшего населенного пункта; во-вторых, приставить ко мне наставника, который воспитает из меня правоверного христианина (во исполнение отчего долга перед богом); в-третьих же, нанять в услужение такого человека, кто сумеет вести быт, будет ездить закупать продовольствие, отправлять и получать корреспонденцию, да не измолвит при сем ни единого лишнего слова. Вскорости отец через третьих лиц приобрел небольшое горное имение, прекрасно для данного плана подходящее; оно было выстроено одним сановитым мизантропом, что, отслужив чиновником до *почтенных седин* и, как это

нередко случается, возненавидев всех и вся, искал нелюдимого пристанища до конца дней своих (в компании пары вымуштрованных слуг и любимой охотничьей собаки), – он похоронен здесь же, в саду под кипарисом, и на могиле его наперекор древней традиции начертано: «*Non sta viator!*» («Не стой, прохожий!»); после кончины хозяина поместье долгие годы простояло опустелым и заброшенным, не привлекая к себе покупателей, точно бы блюдя последнюю волю своего основателя. И вот сему затерянному месту уготовано было стать моим – обычно в подобном случае говорят «новым», но я скажу иначе – моим *настоящим* домом... Между тем родительский духовник предоставил слугу, одиннадцать лет до сего примерно служившего монастырским садовником – немого и безграмотного Эвангела, однозначно при всем желании не смогшего бы кому-либо обо мне проговориться; а доктор Альтиат порекомендовал наставника, своего старого друга, бедного и сирого приходского священника Лаэсия, сердечно чтимого его маленькой сельской паствой (духовник также выдвинул некую кандидатуру, но она, показавшись отцу менее благонадежной, была отвергнута). Доктор Альтиат, в свой черед, обязывался периодически меня навещать, следя за моим состоянием и о нем докладывая, но не родителям напрямую, а духовнику, чье молчание должно было свидетельствовать отцу и матери, что все в порядке и можно обо мне не вспоминать... – Себастиан, перед собою глядя, смолк на (продолжительное) мгновение. – Однажды «под покро-

вом ночи» я был скрытно вывезен из фамильного особняка и доставлен сюда. Отец же уведомил общественность, что его единственный сын и наследник скончался от своей затяжной болезни; в гроб, богато обрядив и загримировав подобающе, положили беспризорника – моего ровесника, умершего от истощения в какой-то клоаке. Заботы о подготовке пышного похоронного спектакля целиком и полностью взял на себя духовник, за что и оказался щедро благодетельствован неоплатно ему обязанным герцогом. Вот как всё в немногих словах было...

– Мне очень жаль... – вымолвил я, пораженный и подавленный услышанным.

– Я ни о чем не жалею, – уверенно сказал Себастиан. – Я доволен тем, что жизнь моя проходила в отдалении от искушений и недомыслия «высшего света» – в заповедном покое. Я благодарен судьбе, что не рос в косной замкнутости герцогского особняка среди роскоши и гордыни, среди бесплодной суеты, среди тягот праздности; что избавлен был от пагубного влияния своих родителей и их окружения, поскольку подобные люди – благоденствующие внешне и бездельные внутри – живя сословными предрассудками, закономерно прививают оные и чадам своим; я солидарен с философом Сенекой, заметившим, что родительские мольбы о счастье для их детей зачастую равносильны проклятиям, – ибо как возможно желать кому-либо того, о чем сам имеешь превратное представление? (Проклятие, в сущности, не

что иное, как извращенная молитва.) Мои родители, – насколько могу судить исходя из того, что мне о них ведомо, – люди не мудрые, соответственно – не добродетельные, соответственно – не свободные. А именно три этих аспекта личности, каковые не могут существовать обособленно, составляя таким образом триединство, определяют человеческое достоинство – определяют человека. Если человек мудр, он добродетелен, ибо обладает знанием того, что есть зло и что есть благо (согласно человеческой природе – разумению согласно); если человек добродетелен, он свободен, ибо, сознательно сторонясь зла и стремясь ко благу, не допускает никаким тлетворным воздействиям проникать в сферу своего духа: стойкой волей воспрещает заблуждениям сковывать его, страстям истязать, калечить порокам, – и неуклонно шествует трудной, но вдохновенной стезею постижения, следуя путеводной звезде истины. Только такого человека должно считать воистину разумным; только такого человека позволительно называть воистину человеческим. Ведь что же характеризует человека, как не разум его? Во всем прочем люди сродственны животным, и только разум – то есть духовное самопознание (осмысленность чувств) и проистекающая отсюда творческая потенция (вера в себя) – подлинно человеческое свойство. Стало быть, совершенствуя разум, человек исполняет свое природное предназначение – эволюционирует в искусстве человечности.

Осознание и принятие сего я очень навряд ли сумел бы

обрести в отчем доме, где в почете церемонные понятия и высокопарная предубежденность, а перед безыскусно суровой истиной, в паллий⁵ облаченной, кою никто не знает и не желает знать в лицо, нарочито захлопываются двери, – но обрел здесь благодаря своему мудрому наставнику Лаэсию.

Когда я был ребенком, он поведал мне басню: «Однажды Прометей⁶ показал людям две дороги – дорогу свободы и дорогу рабства. Дорога рабства, шедшая под гору, представляла поначалу торной и пологой, живописной с виду, суля немало услад, но узкой, каменистой и дремучей впоследствии. Дорога свободы, шедшая в гору, представляла поначалу крутой и труднопроходимой, тернистой с виду, немало тягостей суля, впоследствии же – ровной, светлой, привольной, изобилующей плодоносными рощами и родниками». «Так вот, – подытожил мораль наставник, – дорога рабства – это беспу-

⁵ Паллий (лат. *pallium* – «плащ») – римское наименование традиционного одеяния древнегреческих философов.

⁶ Прометей (др.-греч. Προμηθεύς – «Предвидящий») – в древнегреческой мифологии титан, отличавшийся мудростью и обладавший даром ясновидения; творец, учитель и благодетель человеческого рода. Вылепив первых людей из глины, Прометей попросил богиню мудрости Афины вдохнуть в них жизнь; засим он обучил свои создания искусствам и наукам. Однако верховный олимпийский бог Зевс невзлюбил людей за то, что те походили своим обликом и духом на богов, быстро развиваясь и притязая на власть над природой; в итоге, воспользовавшись предложением людского к нему непочтения, Зевс отнял у земнородных огонь. Узнав об этом, Прометей тайно явился на Олимп, похитил небесный огонь и вернул его людям. Разъяренный Зевс велел богу-кузнецу Гефесту приковать Прометея к Кавказским горам, где титан был обречен на вечные мучения – каждый день прилетал орел и выклевывал его печень, которая за ночь вновь отрастала...

ть невежества и порока, а дорога свободы – путь просвещения и добродетели».

Некогда, в раннюю пору моего отрочества, Лаэсий сказал мне: «Себастиан, выслушай со всем вниманием и, тщательно обдумав, запечатли мысль мою в душе своей, как если бы оная исконно тебе принадлежала, будучи органической частью природы (интуитивным постижением – искренней верой), – ибо только тогда из ненадежного мнения станет она подлинным знанием. Запомни, сын мой: мудрости невозможно выучить, невозможно привить добродетель (как невозможно видеть чужими глазами). Я буду твоим усердным и преданным проводником, но последуешь ли ты вровень со мною, сумеешь ли верно ступать этой непростой восходящей тропею, не птясь назад, не сбиваясь с пути, безустанно и смело углубляясь в себя, познавая себя и над собой возвеличиваясь, – зависит единственно от тебя самого. Мудрость суть личный выбор, ибо: *«Воля и разум – одно»*. Достоинство человека, – а значит и благо, – его разумение – его дух – его личность... Все наши идеи есть нечто эмпирически приобретенное; и от того, как они воспринимаются, рассматриваются, сравниваются и комбинируются, а в результате – какие из них, превалируя, выходят на авансцену жизненных интересов (становятся активными, движущими принципами), обуславливается умонастроение индивидуума, его ментальные способности и его темперамент –

его *этнос*⁷. Добродетель – протагонист разума, равно как порок – антагонист; поскольку без разума – сего театра мыслей, чувств и страстей – нет ни добродетелей, ни пороков; и если мы с необходимостью признаём, что первые разуму естественно присущи и благотворны, то с необходимостью также признаем, что последние для него противоестественны и пагубны. Добродетельным человека делает сознание, следовательно, исполнение человеческого долга (ведь кто не исполняет свой долг, его не сознаёт), тогда как порочными люди делаются по неведению, следовательно, неисполнению такового («Истина и справедливость – сестры»). У человека как существа нет и не может быть никакого морального долга (как нет и не может быть оно у прочих животных), но человек как личность без морального долга перед самим собой (а соответственно, всем человечеством в своем лице) немислим, – ибо принятие сего долга и дарует право духовной свободы – добродетель – поступать согласно разумению, пристально господствующему над слепыми аффектами – вольно стремиться к истине – подлинной чести, каковая сама по себе суть высшее воздаяние в человеческой жизни... Итак, будь себе добрым другом, но и строжайшим судьей. Всемерно верь в себя, но не теряй над собою зоркой бдительности. Несознающий несовершенства своего – ему раболепствует;

⁷ Этнос – устойчивый нравственный характер человека, обусловленный его жизненными взглядами, темпераментом, социальными обычаями и привычками. Этнос выражается как в мышлении индивида, так, соответственно, и в манере его поведения, стиле речи, системе ценностей.

сознающий – над ним возвышается. Никогда не должно удовлетворяться, что ты лучше многих (сие есть гордыня), но всегда подобает стараться быть в одном ряду с немногими – *наилучшими*, в среде которых недопустимы ни зависть, ни презрение – одно уважение (сие есть гордость); ибо нравственное равенство утверждается непрестанным стремлением к нравственному превосходству (что суть бесконечное стремление к *Идеалу*)... Помни: «*Нет царского пути в геометрии*», – всякий личный успех зависит от личного желанья (так великий русский ученый и просветитель Михаил Васильевич Ломоносов – «*человек из народа*» – происходил из семейства невежественных крестьян и исключительно в силу благородного *желания знать* – любви к наукам и искусствам – стал *Собою*). Прилежно читай и учись, наблюдай окружающий мир, во все его феномены чутко вникая, а прежде всего – познавай собственное «Я» (ибо *твоя жизнь* всецело заключена в тебе самом: «*Кто ведает все, нуждается в себе, нуждается во всем*»). Бесперечь ищи в душе своей вопросы и ответы, однако не забывай, что порой глубоко поставленный вопрос не подразумевает ответа, который бы можно было четко уяснить, выразить словесно, но сам по себе является таким знамением, кое возможно только прочувствовать. Основное же, дабы разум и чувства пребывали в эссенциальной созвучности, интуицией именуемой: ум без чувства – все равно что сухое полено без искры, долженствующей его возжечь, – он не способен озарить и обогреть душу;

чувство без ума – все равно что молния без громоотвода, – оно разит стихийно и испепеляюще; тому и другому надлежит держать курс за горизонты зримого под парусом светлой веры, при сем блюсти уравновешенность и соразмерность, чтобы верно продвигаться вперед, а не беспутно кружить на месте, – именно в этом состоит истинная мудрость – именно в этом проявляется Гений... Живи всем своим существом, осмысленно и вдохновенно, но извечно помни о смерти, – только вполне постигнув, что смертен, вполне постигнешь, что жив. Чти и береги свое время, ибо это значит чтить и беречь самое себя, ибо время – единственное наше неотъемлемое достояние; и коли порой кажется, что время ничего не стоит, то лишь потому, что оно бесценно...»

Такими прямыми, искренними речами наставлял меня отец, что сродни метко пущенным стрелам западали мне в душу...

– Вы были очень привязаны к нему, – констатировал я.

– Всем сердцем, – тихо промолвил Себастиан, и углубленный в себя взор его забрезжил мягким сиянием.

– Вашего наставника давно не стало? – как-то само собой слетело у меня с языка.

– Шестнадцать лет минуло, – отвечал Себастиан. – Половина моей жизни... – смолкнул он на момент (как бы вглядываясь в даль прошлого). – Лаэсий с юношеского возраста страдал хронической пневмонией; в периоды обострений его одолевали приступы безудержного кашля, сокрушающе-

го все тело и словно бы раздирающего грудь... В виду сего доктор Альтиат был очень доволен, что ему удалось устроить, дабы Лаэсий оказался назначен моим наставником, – поскольку это, во-первых, избавляло Лаэсия от хлопот священнических обязанностей и обеспечивало бестревожное существование, в каковом он нуждался (и даже не столько по вине телесной хворости, сколько в силу духовного склада), во-вторых, позволяло доктору чаще навещать своего друга; в-третьих же, разумеется, доктор мог быть уверен, что я нахожусь под самым надежным регентством.

Но даже несмотря на болезнь, Лаэсий с самого детства, проведенного в скверных условиях сиротского приюта, был хил здоровьем. И доктор Альтиат не переставал удивляться, как сей человек, постоянно грозящий испустить дух из надорванной груди, столь стойко держится, неутомимо при этом занимаясь философией, науками, литературой, языками.

Однажды на моих глазах разыгрался следующий эпизод:
– Верно, весь секрет в книгах, – искоса поглядывая на Лаэсия, с полуулыбкой повел речь доктор Альтиат, покуда прохаживался по библиотеке, в то время как наставник писал за столом, а я (лет одиннадцати-двенадцати) тихонько посиживал в амбразуре окна, что-то рисуя в альбоме. – Уж не знаю какая тут химия замешана, – продолжал доктор, книжные стеллажи озирая, – но эти тома для тебя, друг мой, клянусь Геркулесом, tamquam («как будто») чудодейственная пана-

цея – «*aurum potabile*»⁸. Казалось бы, весь этот непрерывный труд, весь этот непомерный вес бумажных кип, содержание каковых без устали сгружаешь ты себе в голову, должен бы тебя вконец извести, – а нет... Ты, Лаэсий, что неудержимый Самсон, вольно несущий врата Газы⁹.

– Деятельность взыскующего мудрости лишена суеты, – молвил наставник, плавным движением перо отложивши. – Она не выматывает, не иссушает, а наоборот, культивирует бодрость духа, ибо осияет его стремлением расти над собой. Деятельность взыскующего мудрости – отдохновение, обретаемое трудом, кое здраво питает естество человека.

– В таком случае, позволь (прибегнув к аналогии достойной Сократа, для которого прекрасно все прекрасное и, в не меньшей степени, чем остальное, *прекрасно сваренная каша*) ... позволь, *amicus meus* («мой друг»), сравнить тебя с земледельцем: книги – это семя, мозг – пашня, мысль – борона, знания – хлеб.

– Ты позабыл самое важное...

– Что же?

– Душу.

– Ах! – торжественно щелкнул пальцами доктор, знаме-

⁸ *Aurum potabile* («питьевое золото») – алхимический напиток, состоящий из разжиженного золота, чей эффект исцеляет, по поверьям, любые недуги и возвращает молодость.

⁹ Самсон – ветхозаветный необоримый герой, который, будучи заперт врагами в стенах города Газа (с целью умерщвления), сорвал крепостные ворота и отнес их на вершину близлежащей горы.

ную свое упущение (*не без иронии*). – Praeda fugacior essentia («неуловимая сущность»)! И как ее мы обозначим?

Лаэсий, при улыбке, ответил серьезно:

– Печью, где злаки познаний, взойдя на жаре эмоциональной сопричастности, становятся благотворной пищей разума.

– Ты прав... – вдумчиво согласился доктор Альтиат. – Ведь и философия Декарта, по его собственному заявлению, взошла в печи¹⁰, – усмехнулся он. – У большинства людей, жатва чьих умов дает самый ничтожный урожай, печи душ едва лишь тлеют, так как оным приходится бесхозно пустовать, – посему ж и кормится их разум дикими, сырыми желудями недомыслия; а бывает, впрочем, что урожай-то богат, да только лежит себе сваленным в закромах памяти (я про тех, кто учился *non vitae, sed scholae* («не для жизни, а для школы»)) и исподволь сгнивает среди затхлого мрака забвения (помилуй их Ганеша¹¹)... Но печь твоей души, конечно, всегда пышет битком набитая, вдоволь насыщая тебя живительными щедротами... И все-таки не забывай, Лаэсий, приснопамятные слова античных своих собратьев, удостоенные быть в камне высеченными (и ни где-нибудь, а в самом

¹⁰ Философия Декарта взошла в печи – по признанию великого французского ученого и философа Рене Декарта (1596-1650 гг.), он разработал свой философский метод, когда, служа офицером, во время холодной зимы ночевал в печи какой-то деревенской хижины (что это была за печь и как именно в ней располагался Декарт большая загадка, породившая множество гипотез и споров).

¹¹ Ганеша – слогоголовый бог мудрости и благополучия в индуизме.

что ни на есть центре мира), – бессмертные слова сии: «*Мера во всем*»¹².

– В данном случае, – солидарно кивнув, возразил наставник, – как тебе самому хорошо известно, природа, *primo* («прежде всего»), установила положенный срок дня и вменила благостную насущность сна, дабы сей мерой так-то просто было пренебречь. *Item* («далее»), (днесь я тоже воспользуюсь «сократовым сравнением») если уподобить литературу амфоре, из которой мы переливаем жидкость познаний в сосуд своего ума, кой, может быть, весьма объемён, но все ж ввиду, скажем так, своей структуры, обладает довольно-таки узким горлышком, нам надлежит с тем согласовываться, что коль проявить спешность, небрежность, немалая часть того, что мы в себя вливаем, окажется зазря расплесканной. И *postremo* («наконец»), друг мой, было бы нелепо и постыдно, ежели тот, кто превыше всего печется о разумении, попирая меру, поступал бы ему вопреки, – ибо нет на свете ничего ближе и сродственнее разумению, нежели мера. «*Воздержанность суть основа добродетели*» – «*Добродетель есть знание*». И мне также хотелось бы напомнить тебе слова, пусть не высеченные над священным преддверием, но несомненно того заслуживающие: «*Пороки распространяются беспредельно, предел добродетели – полная мера*» ...

¹² «Мера во всем» – фраза, наряду с другими изречениями семи мудрецов, начертанная на плитах храма Аполлона в Дельфах – главного религиозного центра Древней Эллады, почитавшегося также, географически, и центром всего мира.

– Я созерцаю эту беседу столь отчетливо, будто она имела место только вчера, – сказал Себастиан; и спустя несколько секунд молчания продолжил: – Сейчас во мне говорит еще одно, более раннее воспоминание. Когда я, лет восьми, случайно подслушал неутешительное заключение доктора Альтиата, высказанное им Лаэсию по поводу текущего состояния его здоровья, и, захлестнутый испугом, спросил у наставника не умрет ли он, не покинет ли меня, тот со своею особенной ласковой улыбкой, умудренный лик зарею юности озлатившей, и глазами, ясным теплом лучащимися, ответил мне: «Не бойся, Себастиан, сын мой, покуда я не взгляну в тебе Человека, не оставлю тебя. Доктор Альтиат, когда мы с ним только познакомились, откровенно признался мне, что навряд ли я проживу свыше пяти лет; с одной поры Земля уж двенадцать раз обогнула Солнце: все так же мучусь, все так же терплю... Ныне я живу ради тебя, Себастиан, – это придает мне невиданной дотоле силы, – и я не посмею сдать-ся. Но как скоро отчий долг мой будет исполнен, я покойно сойду в обитель векового сна, а ты, сын мой, покойно меня туда отпустишь...» – так сказал мне отец, словом своим рассеяв мои страхи, взором своим осушив мои слезы...

Лаэсий считал, что главное – вера в себя; что человеческий организм адаптирован самосильно излечивать или подавлять, тем паче же предохранять, почти любые недуги, – долженствует только вести умеренный образ жизни, категорически не причастный излишествам и вредным привычкам,

держат тело в крепости посредством физических упражнений и пеших прогулок, неукоснительно соблюдать гигиену, а сверх всего – сохранять в душе благодатное равновесие, приличествующее мудрому. *«Природа дарует стремление и способность, разумение же определяет меру и цель»*, – таково было кредо Лаэсия. В согласии со своей практической философией наставник растил и меня, и я никогда серьезно не болел... лишь однажды... – на мгновение взор Себастиана затянуло меланхоличной поволокой. – Контрарно тому, Эвангел по первости желал меня закармливать, заботливо полагая, что растущий организм, как гласит обычай, нуждается в плотной трапезе; а еще по вине той горестной причины, что ему из личного опыта была ведома агония смертельного голода, раз познавши кою, человек впредь стремится наедаться досыта, инстинктивно опасаясь вновь испытать былые муки хотя бы отчасти. Но Лаэсий настрого воспретил Эвангелу подавать нам обильные и разнообразные кушанья, доходчиво разъяснив, что это не пойдет ни мне, ни кому бы то ни было на пользу, а только-то навредит; соответственно, он наказал приготавливать самые незатейливые блюда, поскольку разборчивости в еде непременно наследует неумеренность – патогенез массы расстройств, как соматических, так и душевных; не говоря уже о том, что кулинарная вариативность порождает привередливость, меж тем как необходимое никогда не приедается. *«Есть нужно, чтобы жить, – повторял Лаэсий речение Сократа, – а не жить, чтобы*

есть». Общий же принцип наставника сводился вот к чему: на первое место человеку надлежит ставить не удовольствия (как процесс), а удовлетворенность (как завершенность), которая по сути своей более совершенна, при том что более проста. И постепенно Эвангел усвоил мудрое чувство меры, сообщавшее ему, как правильно приготовить и какой порцией подать ту или иную трапезу, дабы она насыщала, а не пресыщала, и дабы, как вы верно знаете, поучал Гален, вставать из-за стола немножко голодным, что по увещанию сего выдающегося врача-философа способствует подобающей работе организма.

Надо заметить, потребность в пище при регулярном питании по урочному режиму весьма скромна. То, сколько человек ест, зависит прежде всего от того, сколько он привык есть (сиречь: сколько ему хочется), и только во вторую очередь соразмеряется с тем, сколько энергии он затрачивает (сиречь: сколько ему требуется). Ибо, как и прочими физиологическими функциями, насыщением заведует мозг, а значит, оно до определенной степени контролируется психически. Мне довелось читать об индийских аскетах, каковые, умерщвляя плоть, съедают по одной пригоршне отварного риса в день, – это, конечно, безосновательно для мыслящего человека, которому нужно подкреплять ментальные силы, соприсушие силам телесным, – но все-таки сей пример тем показателен, что при соответствующем настрое и упражнении организм принаравливается существовать благодаря та-

кой малости.

Воды Лаэсий, напротив, считал должно выпивать вволю: «Ибо, – аргументировал он, – вода очищает организм и освежает душу, да и вообще есть сам субстрат жизни, – ведь удали в живом существе всю жидкость, от него почти ничего не останется; потому-то без пищи, бывает, люди выживают неделями, а без воды не продерживаются и нескольких суток». Впрочем, оговорюсь, что в понимании наставника «вволю» было строго паритетно «в меру», поскольку, вспоминая его высказывание: «До чего бы ни был насыщен воздух, коль приняться чересчур жадно вдыхать, то неизбежно начнешь задыхаться».

Таким образом, мы всегда соблюдали экономию, никогда ни в чем не испытывая недостатка. Нормой нам служила потребность, а не прихоть: «*Кто в жизни себе взял кормилом истинный разум, тот обладает всегда богатством умеренной жизни*»; и у нас стабильно оставалась изрядная доля средств, из отпускаемого моим отцом иждивения, на пищу для ума – книги...

Как раз по окончании сих слов, в спальню с подносом в руках, от коего исходил легкий парок ароматный, вошел Эвангел.

– Всецело поддерживаю такие воззрения, – сказал я. – Но теперь, Себастиан, сколь бы приятно и полезно ни шла наша беседа, вам следует подкрепиться и отдохнуть; постарайтесь поспать. Я проведу вас позднее.

– Конечно, Деон, – отвечал Себастиан, протянув мне руку. – Вы очень добры. Для меня радость и честь познакомиться с вами... Эвангел проводит вас в вашу комнату и подаст обед. Вы – наш друг и гость – вольны беспрепятственно перемещаться по всему дому и пользоваться библиотекой, – там, между прочим, найдете все необходимые принадлежности, если пожелаете написать письмо; отдайте конверт Эвангелу, и он тотчас свезет его на почту.

– Благодарю вас, – кивнул я признательно. – И, Себастиан...

– Да?

– Простите мне мою недостойную реакцию...

– Важно не то, как люди встречаются, но то важно, какими они расстаются, – изрек Себастиан, ясно мне улыбнувшись. – До встречи, Деон...

– До встречи, Себастиан...

II

Отобедав и немного вздремнув (дав отдых глазам) в отведенной мне уютной комнате с бесподобным видом из окна на густо-лесистые кряжи и, овеянные дымкой, грандиозно вздымающиеся меловые хребты гор, словно *написанные божественной кистью на холсте небесном*, я решил осмотреть дом. Он уже не представлялся мне мрачным и угрюмым (скорее умиротворенным), однако взгляду, точно бы в какой-нибудь монастырской обители, ровным счетом не за что было зацепиться: всюду исправная опустелость – никакого убранства, никаких изысков, даже хода часов не ведали эти голые стены; тем не менее скудость обстановки не послужила виновницей водворения нищенского убожества, ибо равным образом не было здесь ни жирных слоев застарелой пыли, ни грязи, ютящейся по углам, ни свисающей лохмотьями паутины. Словом, опрятность была единственной роскошью сего дома.

Но только я ступил в библиотеку – большую светлую залу, отделанную старым дубом, как вмиг очутился в *ином мире*. Плененный дивным зрелищем сотен многоцветных корешков, выставленных в стройные ряды на стеллажах от пола и до самого потолка, замер я (и зрелище сие воспринималось тем впечатляющей на фоне общей сиротливости поместья). То была поистине сокровищница мировой литерату-

ры, содержащая познания многочисленных эпох и народов, таящая помыслы, чувства, фантазии несметных личностей и поколений. И какой бы том я ни раскрывал, везде обнаруживал пометки и маргиналии¹³, оставленные одной рукой – рукой Себастиана. Вплоть до головокружения (подобного тому, какое испытываешь на горных высотах) наглядевшись на это беспримерное, возбуждавшее разбежаться очи собрание книг, альбомов, географических карт и звездных атласов, я прошел к стоящему в глубине залы массивному рабочему столу, на коем благодно царил рациональный порядок. Позади, на стене меж двух шкафов, с полотна в резной раме разверзался бушующий морской простор, взблеском молний озаренный; завороженно оглядев колоссальные, кипящие пеной волны, я заметил среди зеленой тьмы штормового хаоса пятнышко корабля (словно бы серебристая рыбка, рискующая угодить в бездонное чрево левиафана); чудилось, до меня доносятся душераздирающие крики, сливающиеся с ревом ветров и треском снастей, отчаянные мольбы, громом заглушаемые...

Отступив от картины, я сел за стол; воспользовавшись располагавшимися на нем принадлежностями, написал супруге, извещая ее, что поездка моя свершилась благополучно, и ныне я нахожусь близ Амвьяза в горном поместье, хозяин какового, друг доктора Альтиата, нуждается в моем без-

¹³ Маргиналии – комментарии на полях относительно фрагментов текста, либо мысли, вызванные ими.

отлучном присмотре, посему мне долженствует оставаться при нем по меньшей мере три-четыре дня.

Перед тем как покинуть библиотеку, я подошел к окну с глубокой нишей, желая посмотреть вид, из него открывавшийся. На подоконнике солидно возлежала увесистая шагреновая папка; я позволил себе (вернее, это произошло как-то невольно – интуитивный импульс человеческого любопытства) заглянуть в нее. То были многочисленные карандашные эскизы, красочные этюды, акварели и пастели высочайшего мастерства исполнения: с тщательной (и вместе непринужденной) натуральностью изображенные ландшафты, цветы, деревья, животные, насекомые, искусные портреты Эвангела, доктора Альтиата (защемило у меня на сердце) и человека, в котором я по выражению глаз – душевному и умудренному – безошибочно признал Лаэсия. На одном картоне я лицезрел пейзаж, обозримый из окна предоставленной мне комнаты (воистину «божественно»), а на другом – тот (сравнимо бесподобный), что был в данный момент передо мною. Сильнее же всего меня захватила необычайная акварельная картина – причудливая фантазия, живописующая лазурное озеро, с опрокинутым в нем отражением облачных гор и осиянное нежными бликами солнца, воздевши руки коему, на изумрудном берегу в воздушном танце порхает юная дева – *нимфа*, эфирными мазками писаная, с лишь едва намеченными, но неизъяснимой прелести чертами лица (так зачастую недосказанность особенно чарует нас), и

солнечные лучи вплетаются в развивающиеся волосы прядями золотыми... таинственная, завораживающая, вдохновенно-печальная...

Там же, кстати, я обнаружил вырезанный из белого холста «рыцарский герб» в форме щита, на левой половине коего неуклюжей (по всей видимости детской) кистью изображен пышногривый лев, что гордо попирает лапами перекрещенные меч и скипетр, а на правой – огненная птица феникс, над дугой горизонта среди звезд парящая; девиз снизу гласит: «*Sapere aude*» («Отважься знать»).

Итак, сложив все обратно в папку и покинув библиотеку, я разыскал засим Эвангела и передал ему конверт с просьбой поспеть на дневную почту. Немой старец сделал заверительный жест головой, после чего робко обратил на меня взгляд тревожно вопрошающий.

– Ранение само по себе не кажется мне всерьез опасным, – убежденно сказал я и, движимый нежным сочувствием, положил правую руку Эвангелу на плечо. – Себастиан потерял много крови, но он молод и здоров; надлежащий терапевтический режим восстановит его силы... Обещаю, я не покину Себастиана, пока не уверюсь, что угроза миновала.

Эвангел пылко, но бережно схватил мою левую кисть и пожал ее обеими своими; слезная признательность замерцала в его любящих глазах...

Расставшись с добрым старцем, я направился проведать Себастиана. Остерегаясь побеспокоить его, тишайшим ша-

гом подошел я к двери угловой спальни и аккуратно приотворил ее...

– Добрый день, Деон, – тотчас раздался благозвучный теплый голос.

– Я вас не разбудил? – спросил я, ступив в комнату.

– Нет, я читал, – бережно кладя том *in quarto*¹⁴ на прикроватную тумбочку, сказал Себастиан. – Мне так и не удалось вполне уснуть: хотя сознание по временам уносилось в смутные дали забытья, чувства ни на миг меня не оставляли...

– Как ваше самочувствие? – осведомился я.

– Не хуже, – молвил Себастиан, слабо улыбнувшись. – Присаживайтесь пожалуйста, – указал он на стул, на котором сидел я ранее, – давайте побеседуем. Беседа для меня – наилучшее лекарство; даря благотворное отдохновение, она позволяет отвлечься с пользой, не обременяя при сем совесть, как ее обременяло бы безделье, и телесная боль неприметно утихает.

– С удовольствием, – ответил я. – Но только прошу вас, Себастиан, не переутомляйтесь...

– Не волнуйтесь об этом, доктор. Мой разум привык к непрерывной работе и, пожалуй, ему, а соответственно и организму, от него во многом зависимому, во вред скорее пойдет томительная праздность, нежели мерный труд общения.

¹⁴ *In quarto* (лат. «в четвертую [часть]») – печатное издание с размером страницы в одну четверть типографского листа (то есть крупного – «альбомного» – формата).

– Абсолютно нечего возразить вам на данный аргумент, – сказал я шутливо. – Но все-таки, – присовокупил серьезно, – мне бы хотелось, чтобы вы сократили привычные умственные нагрузки как минимум вполовину.

– Конечно, – плавно кивнул Себастиан; и пышная грива его волос шелохнулась атласной волною. – Довелось ли вам отдохнуть с дороги?

– Да, благодарю вас. Я поспал около трех часов... Моя комната пришлась мне очень по душе, в особенности вид из окна: монументальность гор всегда покоряла меня... нет, лучше сказать – всегда подавляла, но так, как подавляет возвышенная идея или величие гения, когда, ощутив собственную малость пред титанами человечества, в тот же момент ощущаешь и некую вдохновенную волю, призывающую над собою воспрянуть...

Себастиан внимательно смотрел мне в глаза, и улыбка, легонько касаясь уголков рта, теплилась в его выразительном взоре; однако, она ничуть меня не смущала, но совсем наоборот – приободряла, давая почувствовать: в том, что я впал в романтический тон, нет ничего инфантильного, ничего нелепого, ибо сказанное мною откровенно и значимо.

– Потом, – говорил я далее, – я осмотрел дом, посетив, между прочим, вашу чудесную библиотеку, представляющую столь замечательный каталог разноплановой и разноязычной литературы. Мне случалось бывать в немалом количестве почтенных домов и лицезреть тамошние библио-

теки, но ваша, признаться, произвела на меня несравненное впечатление; очевидно, оттого, что она собрана не только со знанием (что уже редкость), но с неподдельной любовью, – такое всегда чувствуется.

– Мои книги – мои друзья. Они поистине дороги мне, – сказал Себастиан. – Но люблю я их, разумеется, не сами по себе, не как коллекцию пестрых корешков, не как образцы печатного мастерства или же библиографические раритеты, но как неисчерпаемый клад знаний и идей, каковым они служат. Я люблю книги за их содержание – за их душу... Литература есть зеркало жизни, и, глядя в него в бессрочной своей изоляции, я чувствую себя живым...

Себастиан смолк на несколько мгновений; затем обратился ко мне:

– А вы любите читать, Деон?

– В юности я много и увлеченно читал, – отвечал я, – ныне же, к сожалению, у меня остается прискорбно мало досуга, который я мог бы посвящать чтению, но все-таки стараюсь погружаться в книгу при каждой удобной возможности (будь то медицинский, научный или философский труд, либо художественное произведение), чтобы провести свободное время и спокойно и с толком, – ведь всякая крупница познания удобряет почву нашего рассудка, дабы на ней прорастали высокие, здоровые и плодотворные мысли, без коих жизнь скудна и убога. Следовательно, тот, кто печется о своем духовном здравии, всенепременно любит читать... но

я, таков уж мой долг ex professo («по роду деятельности»), по большей части пекусь о телесных недугах иных, – поэтому и не смею дать вам безоговорочно положительный ответ, какую бы потенциальную аффекцию к тому не питал... – заключил я при вздохе. – Но скажите, Себастиан, литература в вашей библиотеке представлена на стольких языках, неужели вам ведом каждый из них?

– Да, это так, – степенно, но без толики тщеславия подтвердил Себастиан (гласом откровенной гордости – не выспренной гордыни, ибо: *«из всеобъемлющего познания рождается та уверенность в себе, которая не выставляется напоказ, но которую и не скроешь»*). – Лаэсий, справедливо почитавший язык базисом человеческого постижения, утверждал, что нет ничего основательнее для умственности, нежели термины, отражающие отчетливые идеи: «Язык не менее важен для мышления, чем мышление для языка, – наставлял он меня. – Язык фиксирует достижения мышления, между тем как мышление, опираясь на лексический фундамент, выступает движущим фактором эволюций языка. Язык – «система значений» – суть органон¹⁵ разума (непроста греческое слово λόγος («логос») означает вместе и речь и разум). И тот ассерторический факт, что так называемые «дикари» серьезно отстают в интеллектуальном развитии от людей цивилизованных, не о том свидетельствует,

¹⁵ Органон (др.-греч. ὄργανον) – инструмент, средство, орудие, метод.

что у них а priori¹⁶ хуже развит мозг (как голословно декларируют «теории расового превосходства»), но о том, что у них а posteriori¹⁷ хуже развит язык: имея меньший словарный запас, они, соответственно, имеют меньший фонд идей, и наоборот, – понеже первый служит для закрепления второго, а второй индуцирует расширение первого. Ежели человек не выходит за ареал повседневной обыденности с ее немногочисленными, повторяющимися объектами и явлениями, – стало быть, не познает ничего принципиально нового (а такое закольцованное существование ведут не только дикари, но вообще люди недалекие, будь они хоть аристократами в десятом колене, высокопоставленными вельможами или жбанословно преуспевающими дельцами), – естественно, подобный человек не имеет повода обогащать лексикон своих впечатлений, ибо коль нет представления – нет надобности и в понятии, – тогда как познание суть синтез представления и понятия (или малость перефразируя: архи-функция разума – это абстрагирование представлений – формирование понятий – рефлексия, материя которой – язык (аналогично тому, как душа выражается посредством тела)); посему справедливо сказано: *«Границы моего языка – границы моего мира»*. Однако слова – «вербальные знаки» – только указывают на те или иные идеи, но отнюдь не раскрывают их, – то есть не обо-

¹⁶ А priori (лат. «из предшествующего») – знание, усвоенное до опыта и независимо от него (обычно подразумевается врожденное знание).

¹⁷ А posteriori (лат. «из последующего») – знание, полученное из опыта.

значают реальные сущности во всем конгломерате свойств, им присущих, либо качества и отношения в безусловном смысле. Так, *verbi gratia* («к примеру»), произнесение слова «утконос» у лица, видевшего данное причудливейшее животное на гравюре или прочитавшего его описание в статье, а посему имеющего лишь смутное о нем представление, вызовет в сознании соответствующий эффект; при произнесении того же слова у лица, воочию утконоса наблюдавшего, эффект будет значительно явственнее, живее; наконец, у лица, которое не только наблюдало, но и изучало сказанное существо, эффект от произнесения слова «утконос» явит еще более углубленный и комплексный образ. Вот три лица, у каждого своя личная – ограниченная пропорционально степени познания – идея одной и той же сущности (стало быть, и понятие ее). А теперь вообрази весь размах допустимой тут вариации: читал об утконосе, но составил далекое от действительности представление; видел гравюру, изображающую утконоса, но та была весьма ненатуральна; наблюдал утконоса, но на эмоциях или по невнимательности получил чересчур специфическое впечатление; изучал утконоса, но сделал неверные выводы; и, напротив, тот, кто старательно прочитал достоверную статью об утконосе и вдумчиво рассмотрел аутентичное изображение оногo, вполне может знать, что такое «утконос» («*ornithorhynchus anatinus*») совершеннее того, кто его нерадиво наблюдал *ad oculos* («воочию»), тогда как последний, коль все-таки наблюдения его не были празд-

ными или небрежными, вполне может знать, что такое «утконос» совершеннее того, кто его изучал, допустив при этом ряд ошибочных умозаключений (превратная ученость слепее сущего невежества). Что ж, помысли днесь, каково в таком случае семантическое расхождение у отвлеченных терминов (*abstracta*), вовсе не имеющих предметного прототипа (*concreta*), но приходящихся рефлексивными творениями человеческого ума, значительнейший пласт коих составляют этические понятия. Не подлежит сомнению, что у различных народов, поколений, слоев населения и, конечно, отдельных личностей (даже близких людей; даже у одного человека в сменяющиеся периоды жизни) такие слова как «справедливость», «гуманность», «доблесть», «благочестие» (и в меньшей доле – им антитетические) имели, имеют и будут иметь различные, подчас не только рознящиеся, но контрадикторные (причем, нередко, противоречивые и путанные в самих себе) смыслы. Лишь один хрестоматийный пример: для кого-то справедливость состоит в том, чтобы делать добро друзьям и зло врагам, тогда как для иного справедливость – быть добрым ко всем, кто того заслуживает (или по крайней мере не заслуживает обратного), но ни при каких обстоятельствах не быть злу причастным (поелику *справедливое зло* суть *contradictio in adjecto* («противоречие в термине»)). И в сем разноречии морально-интеллектуальных парадигм кроется колоссальная проблема как для человеческого мышления, так, следовательно, и для человеческого взаимо-

понимания. Зачастую люди говорят об одном и том же, но каждый о своем, спорят об истинах, но, на проверку, только-то о словах; а самое прискорбное, что, высказывая нечто, они порой положительно не ведают, о чем, в сущности, высказываются, – ибо вокабулы заучили еще в детстве, когда нежный мозг впитывает информацию сродни губке, но уразуметь значения сложных понятий, никем не наученные, по ходу жизни самостоятельно не озаботились (ведь если образцы многих слов у нас извечно перед глазами, как, скажем, «дверь» или «окно», то с образцами «доблести» и «благочестия» в быту столкнешься крайне, к несчастью, редко), а по-сему в сознании большинства людей призрачно реют лишь смутные и расплывчатые *мнения* касательно оных; тогда как у других, адептов каких-либо учений, концепты таковых терминов пусть довольно конкретны и отчетливы, но, бывает, до того далеки от узуального употребления, что представляются непосвященным темными и диковинными... Что ж, не стоит и распространяться о тех оригинальных коннотациях, каковые исторически сопутствуют лексемам в различных культурах (так, в определенных традициях сердце – вместилище ума – «мудрое сердце», а в определенных – эмоций – «страстное сердце»; слон – символ грациозности или неуклюжести). Достаточно сделать следующее заключение: язык характеризует не только структуру и экспрессию мышления (то есть общий фон), но также оказывает заметное влияние на индивидуальное восприятие и формулирование умозри-

тельных идей».

Поэтому Лаэсий считал, что для человека в моей исключительной ситуации кардинально важно сколь можно пространнее расширять круг своих литературных собеседников (с которыми возможно вести обсуждения, но у которых невозможно просить пояснений), – черпая познания непосредственно из первоисточников – незамутненными и несмешанными. *«Преддверие учености есть освоение языков»*, – с удовольствием цитировал Лаэсий из труда Александра Николаевича Радищева; и далее: *«Освоением чуждого языка становимся мы гражданами той области, где он употребляется, беседуем с жившими за многие столетия, усвояем их понятия; и всех народов и всех веков изобретения и мысли сочетаем и проводим в единую связь»* ... За годы наших занятий наставник обучил меня латыни, древне-и-среднегреческому, а также начаткам арабского; но впоследствии этого стало вовсе недостаточно, и я самостоятельно взялся за другие релевантные европейские, азиатские и славянские языки, дабы суметь на них читать и мыслить. На данный период я весьма свободно располагаю столькими языками, что мне, признаться, несколько затруднительно общаться с вами на родном, так как постоянно норовлю невзначай вставить какое-нибудь иностранное и для вас наверняка непонятное слово, или же вовсе заговорить на смеси из свода доступных мне лексиконов, – а посему как бы приходится служить самому себе переводчиком (отчего и изъясняюсь с некоторой

медлительностью). Суть в том, что мозг мой, плетя мыслительную сеть, задействует лексемы из унитарной амальгамы ведомых мне языков и наречий, – таким образом, с самим собой я непринужденно общаюсь на всех них сразу: слова и выражения с наиболее корректными значениями и семантическими оттенками импульсивно эксплицируются в моем сознании, повинуюсь чувству того, что намереваюсь помыслить, – ведь быстрее мысли только чувство. Хотя и сама мысль в корне своем есть чувство; и мудрый, без сомнения, не тот, кому дано многое знать, но тот, кому дано многое прочувствовать, – ибо важно не то, сколько знаний на себя взваливаешь, постепенно их растеривая да убыли не примечая, но то важно, сколько знаний надежно влагаешь в свою душу, делая их тем самым неотъемлемой частью собственного «Я», – соответственно, чем больше душа принимает, тем больше она становится и тем больше способна вместить. Рассудок – лишь верхушка айсберга человеческого сознания. И, безусловно, прав Гераклит, заявляя, что многознайство уму не научает; равно как и Демокрит, наставляющий, что не всезнание должно развивать, а широту разума – многомыслие. Интеллект – то есть чистое мышление, способность к логическому анализу – ориентирован вовне, мудрость же – то есть мышление личностно-эмоциональное – обращена вглубь; интеллект, базируясь на материальной среде, не сопряжен с нравственным совершенствованием, от коего мудрость, будучи субстанциональным атрибутом ду-

ха, неотделима. И я никогда не стремился к эскалации сугубо интеллектуальных сегментов познания, занимаясь точными науками и изучением языков постольку, поскольку этого требовало духовное продвижение, – ведь наш дух суть ядро разумения, так что без стабильного роста последнего не может быть и речи о неограниченном росте первого. Однако в то время как зрелая мудрость естественно способствует развитию интеллекта, интеллект, коли оному отведено приоритетное положение, способен, ввиду присущей ему аналитической дисциплинарности, противодействовать становлению мудрости, каковая есть путь, а не пункт (и поскольку в самом следовании пути цель ее, то, никогда не досягая, она неизменно к своей цели близка), витая в вечных и неутомимых творческих исканиях, всегда гордая собою, но никогда не удовлетворенная, ибо тот *Светоч Истины* в бескрайнем космосе бытия, к коему она безудержно влечется, столь же величествен, сколь и недостижим...

Себастиан приумолкнул, вглубь себя взирая.

– Прошу извинить, – сказал он, обратившись ко мне, чуть погодя, – я, как это принято говорить, отклонился от темы. Такова манера моего мышления: подобно логической машине, оно во всем усматривает взаимосвязи; и на себе самом, пожалуй, я доподлинно могу доказать тезис, что о чем бы философ не рассуждал, он всегда рассуждает о *едином*... Я стараюсь быть доходчивым и кратким, но, как замечено Авиценной, краткость не имеет границ. Надеюсь, соображения

мои в должной мере вам удобопонятны и не обременительны.

– Я прекрасно вас понимаю и сам не раз задумывался по этому поводу, – отвечал я, испытывая, как общение с сим удивительным человеком сообщает духу моему небывалую уверенность, раздувает тот светозарный пыл мысли, который едва тлел среди стылой золы людского непонимания (когда не то что не услышанным переживаешь остаться, но даже высказаться отчаиваешься). – Ведь мне то и дело приходится сталкиваться с почтенными деятелями науки – *специалистами*, каковые, оказавшись за узкими рамками своей специализации, выказываются полнейшими профанами и мало что стоят (а нередко ведут себя недостойно своего ума: бестолково, вздорно, пошло), как скоро, оторвавшись от рабочего стола, попадают в сумятицу повседневности (они, что называется, «интеллектуалы», но отнюдь не мудрецы; ибо мудрость – не очки, которые надеваешь при серьезных умственных занятиях иль дискуссиях и снимаешь во все «свободное время»). С другой же стороны, сколько в мировых анналах отыщется ярких примеров личностей, не приверженных систематическому обучению, читающих для собственной души, а затхлости кабинетов предпочитающих вольность природы и являющих собою эталоны благородства, самобытности и глубины суждения (в силу того, что своим «Я» образуют иной тип моральной жизнеспособности)... Умный человек не обязательно мудр, но мудрый че-

ловек обязательно умен. Интеллект и мудрость, бесспорно, не одно и то же, как не одно и то же наука и философия; они зиждутся на двух смежных и тем не менее отличных планах разума: интеллект апеллирует к рассудку, мудрость же взывает прежде всего к духу, но между тем, приведенные к гармонии, они черпают в друг друга, равно как наука черпает в философии, а философия – в науке.

– Я очень рад, что вы понимаете меня и, сверх того, принимаете мою позицию по данному вопросу, – как-то по-детски трогательно улыбнулся Себастиан. – Для меня действительно важно, что человек с пронизательным умом, чутким мироощущением и богатым житейским опытом, коего я лишен, соразделяет и утверждает мои спекулятивные выводы. Но ежели, Деон, вам что-либо из дальнейшей беседы будет казаться невнятным или же необоснованным, вы, прошу вас, не смущайтесь и смело прерывайте ход моего рассуждения, дабы уточнить сказанное мною либо изъяснить свое возражение, – это ни в коем случае меня не обидит, но, напротив, я буду вам благодарен, ибо указывать человеку его несовершенство – значит обращать к лучшему. В свой черед, постараюсь излагаться как можно яснее и доступнее, чтобы мне, слишком мало с вами знакомому, не навязать в вашем сознании гордиевых узлов¹⁸, распутывая кои, рискуешь лишь ту-

¹⁸ Гордиев узел – согласно легенде, однажды орел – царственная птица Зевса – сел на оглоблю воловьей упряжи бедного фригийского крестьянина по имени Гордий; пораженный сим знамением, Гордий тут же погнал своих волов к оракулу. Тем временем царь Фригии скоропостижно скончался, не оставив наслед-

же их затянуть, – а поступать по примеру Александра и попросту перерубать оные, не приличествует философу, стремящемуся проникнуть в самую суть вещей – соприкоснуться с первоизданной истиной.

– Конечно, – заверил я. – Мне хорошо знакомо из личных наблюдений, до чего несуразно поступают те невежды, что делают вид, будто им *всё совершенно очевидно*, когда на самом деле это далеко не так (ложь, *per definitionem* («по определению»)), подразумевает знание истины, но – столь же смехотворно, сколь и плачевно – люди по большей части лгут как раз-таки по незнанию оной); и вот самонадеянность или стыдливость, или что, пожалуй, чаще – леность ума, случается, выставляют сих притворщиков в наиглупейшем виде – заслуженное наказание за нерадивость или неуместный стыд; тогда как честно сознающего в том, что он чего-либо недопонял, и потому просящего разъяснения, неправомерно осудят лишь узколобые спесивцы. Поскольку задаваться вопросами (сиречь *вдаваться в ответы*) есть, разумеется, не что иное, как искусство мудрости: *«Умудренный знает и спрашивает, а неуч не знает даже о чем спрашивать»*, – незапа-

ника, и оракул провозгласил: «Новый царь приближается в воловьей повозке!» Когда повозка въехала на площадь, всех сразу привлек сидящий на ярме орел; Гордия единодушно признали царем. И повозку, и упряжь, которую он особым невероятно сложным узлом привязал к оглобле, Гордий посвятил Зевсу; после этого оракул объявил, что тот, кто сумеет развязать этот узел, станет властелином всей Азии. Повозку разместили в акрополе, и там ее веками оберегали жрецы до того самого дня, когда Александр Македонский – будущий владыка Азии – дерзнул разрубить гордиев узел мечом.

мятно гласит восточная пословица.

– Солидарен с вами, – молвил Себастиан (очень серьезно). – Недолжно осмеивать или порицать того, кто, не зная, желает узнать (его похвалить подобает); и должно только пожалеть того, кто, не зная, тщится показать обратное (*«Ибо никто не унижает своего духа так, как тот, кто несправедливо его возносит»*). Невозможно все знать, но возможно каждый день узнавать что-то новое. Чем больше знаешь, тем больше сознаешь сколько не знаешь, – когда нет представления, нет и незнания. Соответственно, чем обстоятельнее познания, тем меньше поверхностной надменности, потому что лишь опытному дано ведать пределы собственных возможностей – лишь ученый усматривает лакуны своей эрудиции...

«Несомненно: глубина мысли делает характер не только сильным, но и кротким, – подумалось мне. – И в этом тонком балансе есть некая божественность, название коей – человечность».

– Со тщанием изучив обширное количество томов, – продолжал Себастиан, – я тем не менее явственно ощущаю тотальную незавершенность моего образования, – ведь за ответами извечно кроются новые вопросы. Перечитывая мудрую книгу во второй, третий – и свыше – раз, обнаруживаю что-то ранее упущенное, ибо общая углубленность ума закономерно ведет к углубленному постижению частных. Как музыканту следует регулярно упражняться в своем ис-

кусстве, так и мудрый должен бесперечь раздвигать сознательные и подсознательные грани своего разума, – затем что сходно тому, как от длительного бездействия теряется сноровка, скудеет и ум, становясь вялым, забывчивым, неподатливым. Статичность и прямолинейность убийственны для мудрости: подобно крови, циркулирующей по сосудам, мыслям надлежит циркулировать по перманентно расширяющемуся кругозору. *«Земледелец потеряет то, что он посеял, коль, бросив семя в землю, он вместе с тем бросил и труды свои».*

Я немало достиг в своем развитии, однако в том нет никаких сверхзадатков – только прогрессивный, воодушевленный труд. Я отнюдь не являюсь одаренным от рождения – «Wunderkind» – «Чудесным дитя», как именуют таких уникалов, из числа коих особо знаменит Кристиан Генрих Хейнекен, или «младенец из Любека»: к году наизусть цитировавший отрывки Пятикнижия; к двум годам умеющий читать и писать, изучая латынь, историю, географию и другие науки; в три года выступивший с лекцией перед королем и удостоенный за то почетного ордена; а в четыре года, по причине истощения от ментального перенапряжения, безвременно опочивший (одними из последних слов его были: *«Vita nostra fumis...»* («Жизнь наша – дым...»)); или же Блез Паскаль, «genius universalis» («универсальный гений»), который в свои восемь лет, не приступив еще к освоению математики и не ведая самых азов геометрии, буквально играючи до-

казал тридцать вторую теорему Евклида... Образование мое на начальных порах подвигалось тяжело и тяжко. До четырехлетнего возраста я не знал ровным счетом ничего; и не то что не умел читать и писать, но даже изъяснялся едва ли сносно. Привыкнув к самой что ни на есть растительной жизни в праздном заточенье, по приезде в сей дом, когда Лаэсий приступил к моему воспитанию, я не отличался ни сообразительностью, ни любознательностью, ни усидчивостью, а был, как того и следовало ожидать, крайне запущенным ребенком – пассивным, боязливым, замкнутым (хотя ввиду чистоты разума обладал удивительной восприимчивостью и незаурядной памятью). Моим единственным желанием было возвратиться «домой» (то есть в запертую комнату, где все привычно) к своей «нянечке» – самому близкому существу на свете (коя истощенными рыданиями при расставании со мной разразилась). И в первые недели после нежданного переселения, я часто впадал в некий самозабвенный ступор, во время которого у меня из глаз, как сквозь сон, выкатывались холодные дымчатые слезы – слезы тоски и отчаянья неизреченных... Множество препон на эклиптике моего просвещения приходилось преодолевать Лаэсию, в полной мере задействуя свои проникновенную мудрость, степенную доброту и радетьельную строгость. Поначалу, под стать Каспару Хаузеру¹⁹ (вы ведь слышаны о загадочной истории сего юно-

¹⁹ Каспар Хаузер – юноша, едва умевший ходить и говорить, объявился в Нюрнберге в 1828 году; впоследствии выяснилось, что, сколько себя помнит, он без-

ши?), что, очутившись в людском обществе, гнушался всякой пищи, кроме той, кою он доселе ведал – воды и хлеба, я бессмысленно противился умственной и духовной трапезе, предоставляемой мне Лаэсием; но со временем, благодаря усердию и искусности наставника, уважение и любовь мне внушавшего, начал понимать ее несравненный животворящий вкус, ощущать то, сколь пустым и тщедушным прежде было мое существование. И чем выше восходил я в сферу постижений, тем труднее становилось мне дышать, но тем сильнее я желал дышать. Цитируя Эпикура: *«Наслаждение мысли достигает апофеоза в размышлении о тех и таких вещах, каковые ранее доставляли сознанию наибольший страх»* ... Божественным откровением на меня снизошли чудеса природы: величие солнца и несметность звезд, эпохальность гор и очарование долин, благоухание зелени и свежесть ветра, мощь водопадов и умиротворенность родников, шептание деревьев и пение птиц; и во всем этом необъятном космосе впечатлений пребывал Я – чувствующий – познающий – свободный – *живой*. Моя душа, дотоле чахнувшая во мраке, была сродни цветку, росой рассвета напоенному...

выходно находился в маленькой темной камере в полной изоляции от внешнего мира; в Нюрнберг его привел, там бросив, некий человек, научивший юношу фразе: «Хочу быть кавалеристом, как мой отец»; при найденыше обнаружили два письма, в одном из которых (якобы написанным его матерью), он именовался Каспаром Хаузером. Очень скоро Каспар стал европейской сенсацией, достиг успехов в обучении и раскрыл художественный талант. А спустя пять лет после своего появления был убит неизвестным.

Словом, мне довелось отведать всю горечь корней обучения, дабы вкусить освежительную сладость его выпевших плодов – открыть для себя сокровенные сады литературы... Изначально наша библиотека была весьма скромна; она состояла из маленького, но отборного собрания Лаэсия, насчитывавшего около двух дюжин томов, нескольких детских иллюстрированных книжек, отправленных мне матерью, а также пары десятков сочинений (в основном дидактических), учебников и словарей, каковые привез доктор Альтиат по заказу наставника. Шаг за шагом приобщал меня Лаэсий к великим таинствам Слова, досконально продумывая каждую ступень посвящения. Огненное дыхание старых книг зажгло мое юное сердце. Отгороженный от всего населенного мира, я пребывал обреченным узником среди нелюбимых гор, но разум мой волен был путешествовать по многочисленным мирам страниц одушевленных, знакомиться с их бессмертными творцами и незабвенными героями, причащаться их мудрости и добродетели или же поучаться на их слабостях, заблуждениях и ошибках. Я нигде не бывал физически, но везде, где бы ни побывал ментально, я побывал с пользой; я ни с кем не общался, но каждый, кому я застенно внимал, за кем с неподдельным сопереживанием наблюдал, являлся личностью выдающейся и содержательной, личностью, знакомство с которой обогащало мой дух. Для меня, отлученного от цивилизации, отчизной стал весь свет и веком моим стало всевремя. Персонажи мифов, басен,

сказок и сказаний; Гильгамеш, ищущий вечной жизни; герои эпосов Гомера; доблестные мужи Плутарха; паладины Артура и пэры Шарлеманя, чьи невиданные приключения подвигов полны; последний истый рыцарь Дон Кихот Ламанчский и его верный оруженосец Санчо Панса, чьи неслыханные подвиги полны злоключений, – вот первые друзья и спутники моего становления... С тех пор как мною овладела жажда чтения, учение давалось мне естественно, ибо я жил саморазвитием, нуждался в познаниях, из скважин текстов черпаемых, как в воде...

Себастиан умолк, погрузившись, казалось, в полузабытье рефлексии; его карие глаза отличались необычайной мягкостью, но самые ядра зрачков были точно базальтовыми.

– Может, мне оставить вас на какое-то время? – бережно спросил я.

– Оставайтесь, Деон, ежели вы не против побыть со мною еще немного, – ответил Себастиан и во взгляде его, ко мне обращенном, покоилась девственно-ясная признательность, а наряду – некая тревожность. – Я задумался о том, что мне следует, – дабы вы лучше меня понимали, – обнажить вам иную сторону того, что дало мне чтение. Литература всегда была для меня не только неоскудевающим ключом знаний, не только Иппокреной²⁰ жизненного вдохновения, но и ок-

²⁰ Иппокрена – мифический родник на горе Геликон (обиталище Муз), возникший от удара копыта крылатого коня Пегаса; служил источником вдохновения легендарных поэтов, из него испивавших.

ном в мир... Лаэсий, выстраивая архитектонику моего разума, разъяснил мне глобальные принципы мироздания и устойчивых социальных порядков, однако остались мириады вопросов, на которые, когда наставника не стало, мне надлежало искать ответы самостоятельно. Впрочем, поначалу я придерживался составленного на несколько лет вперед образовательного курса Лаэсия, и по мере продвижения в сознании моем выкладывалась мозаика, демонстрирующая, каким пазам эрудиции требуется заполнение... Я постигал дух мира в словах, а материю его – в изображениях. Я никогда не видел въяве очень многих вещей (никогда не видел море) и понятия о них получил исключительно из описаний и иллюстраций; вообразить себе современный город для меня адекватно тому, что вообразить античный полис, – я созерцаю их, но схематическими и застылыми – это мертвые города, у которых есть облик, но нет жизнедеятельности, у которых есть ретроспектива, но нет перспективы – есть устойчивое прошлое, но нет текущего настоящего... Таким образом, фасад реальности ширился предо мною, извечно дымкой абстракции подернутым, – смутный и таинственный; и я верил, что светоч просвещения, достигнув зенита, его озарит.

Краеугольным камнем моего самообразования фундаментально значилось самопознание; но познать себя возможно лишь соотносясь с природой в целом и организацией человеческого вида в частности. Изучая сочинения научные и философские, я не пренебрегал историческими, биогра-

фическими и художественными произведениями, – ибо, не имея необходимого представления о социуме – его истоках, формациях, конъюнктурах, путях развития и достижениях (либо регрессах), о человеческих характерах, занятиях, стремлениях, положениях, верованиях, о добродетелях и пороках, радостях и горестях, чувствах и эмоциях, влечениях и страхах, надеждах и разочарованиях, – словом, не имея должного представления о всем том, что движет людьми, которыми в совокупности движется ход истории, необратимо видоизменяющий лик мироустройства, невозможно постижение тех вершин, до коих возносится человеческий гений, и выявление тех омутов, в кои затягивают заблуждения...

Отрешенный от иных себе подобных, я никогда не ощущал себя частью людского общества, но непреходяще чувствовал: я – человек. Для меня всегда было значимо знать: как и чем живут сродные мне по естеству, но отличные по образу. И, заручившись достаточной зрелостью ума, я наконец твердо решил выяснить: что есть человек, какова его натура и куда пролегает его предназначение. Поставив себе такую цель, я принялся исследовать историю человечества.

С древнейших времен, когда люди, ведшие существование мало чем разнящееся с прочими животными, исчерпывающий смысл бытия которых – выжить и оставить по себе потомство, овладели живительно-смертоносной силой огня, сплотились в общины и, познав тайны земледелия, усвоили оседлость, в результате обусловившую относительно надеж-

ное благосостояние и всплеск культурного прогресса, а как следствие – зарождение поселений, затем городов, утверждение социального расслоения, власти и законов (то есть генезис того, что именуется цивилизацией); через те эпохи, когда разрозненный мир становился все более тесным для населявших его племен и народов, каковые под напором вождения к преобладанию и обогащению зачинали между собой нескончаемые войны, попеременно то возвышаясь до небывалого могущества, то низвергаясь в непроглядную бездну, заваленную руинами величия легендарного; до самых наших дней, когда, вероятно, едва ли остался уголок света, не занесенный на карту, а страны ойкумены, *par excellence* («по преимуществу»), обрели более-менее дефинитивные очертания и определенную национальную общность, зиждущуюся на единстве языка, культуры, законодательства, вероисповедания... Таким методом проследив хронологию летописей человечества, я, однако, не нашел ответов на занимавшие меня вопросы; напротив того: в своих скитаниях еще пуще отдалился от оных... заблудился... Я лицезрел мир, в котором для каждой бессмыслицы найдется осмысленное основание – мир, наводненный морем парадоксов: ужасные игры распрей и гнетущая суета благоденствия, бесправность свободы и произвол рабства, беззаконие закона и легитимность беспредела, слабость сильных и мощь ничтожных, довольство бедности и неутолимость богатства, грешность святости и праведность нечестия, коварство любви и просто-

душие ненависти, – и все эти неисчислимы оксюмороны неразрывно переплетаются, лихорадочно смешиваются, плодят друг друга... Судьбы народов представлялись мне ураганом, вслед за которым остается хаос разрухи и опустошения – расчищенное место, где возгорается новый очаг жизни, – порой куда более яркий, но каковому рано или поздно также суждено затухнуть под неудержимым шквалом ветра перемен...

Отступившись от общего, кое мне, – в отличие от Платона, на примере справедливо устроенного государства выжившего справедливость гражданина, – не обеспечило понимания, но лишь усугубило недопонимание, я обратился к частному, – ибо людей создает история, а историю творят люди. На сей раз сконцентрировавшись на биографической и художественной литературе, я зрел, что подавляющая масса народа живет (точнее – выживает) бесцельно, невежественно, почти неосознанно, почти сомнамбулически, влача жалкое и тягостное существование, исполненное труда и забот, повсеместной тоски и эфемерных удовольствий, неизбывных горестей и никчемных утех, зыбких самообманов и непрестанных разочарований, – пока смерть не принесет избавление от всего... Более редкие – *выдающиеся* – персоны, возгораясь пафосной мечтой, бывало, всю жизнь стремились к ее претворению, увлекая за собой одних и попирая других, совершая беспримерные подвиги и учиня вопиющие преступления, купаясь в роскоши и погрязая в убоже-

стве, повелевая и раболепствуя, – и, случалось, пробившись сквозь все перипетии, достигали намеченного, чело венчая *«гордым лавром»*; но как только мечта оборачивалась явью, она переставала быть мечтой – безущербной и самодовлеющей, – никто из сих «героев» или же «злодеев» не смел уповать, что содеянное им не сотрется в пыль вскоре после того, как его самого не станет (не исключено: тотчас же), и вместо того чтобы уверенно владеть действительным, они всечасно остерегались грядущего, равно как встарь, трепеща настоящего, лелеяли будущее... Наконец, те одаренные личности, что всем духом посвящали себя наукам и искусствам, преуспевая в избранной сфере, обыкновенно терялись вне оной: терпя одиночество, непонимание, равнодушие, отверженность, нужду, становясь жертвой зависти, предрассудков, злобы, интриг, гонений, экзекуций, то делаясь нелюдимыми затворниками, то предаваясь оголтелому распутству, погубляя свой талант, страдая меланхолией, сходя с ума, кончая самоубийством... Сколь бы ни выросло дерево, ему не достичь неба; сколь бы ни возвысился человек, он остается человеком... Все явственнее утверждаясь, что и в частной жизни господствует деспотия разлада, я наблюдал, как людей гонит бич желаний, волочат страсти, пьянит честолюбие, изводит корысть, иссушают лень и скука; как люди бесперечь меняют маски, укрывая свое безличье; как они нерадиво заражают общественную атмосферу и сами же дышат этим будничным смрадом... как тщатся жить, способ-

ные лишь прозябать... И при этом я, которому как будто чуждо все людское, ощущал себя неким энтомологом, под лупой исследующим неутомное копошение муравейника – одновременно столь огромного и грандиозного, да столь мелочного и непрочного...

Выдохнул Себастиан.

– К сожалению, – измолвил печально (безутешно), – приходится констатировать: опыт истории учит людей тому, что опыт истории ничему людей не учит... И все же, – сказал засим *иным голосом*, – важнейший урок, который я вынес из своих изысканий, в том состоит, что у темной и сумбурной хроники человечества есть светлая закономерность – это борьба истины против заблуждений – коллизия понимания и безрассудства – и, сколь то ни прискорбно, конфронтация личности и общества, – когда верх в конфликтах зачастую берет ослепленное прошлое, но триумф непременно торжествует прозревшее будущее: *«В этом и проявляется сила истины: ее победа трудна и мучительна, но, однажды одержанная, она уже не может быть отторгнута»*... Испытания возвеличивают героев – герои преодолевают испытания. Единственно разум пролагает человечеству верный путь сквозь хаос бытия, озаряя дремучие извилины и крошечные проломы. История, которая подлиннее всего может поведать что́ суть человек – это *«История Мысли»*.

Себастиан смолк: в глубоком взоре, в себя погруженном, пламенело внутреннее напряжение. Затем он посмотрел на

меня и, тепло улыбнувшись, возобновил свою речь:

– В итоге я бесповоротно уверился, сколь прав был Лаэсий, говоря, что истинная жизнь человека заключена в нем самом: каждый из нас созерцает мир индивидуальным взглядом и воспринимает окружающее не таким, каково оно *само по себе есть*, но таким, каким ввиду собственного эго – *формы созерцания* – способен его воспринять. Ибо впечатления не суть точные образы воспринимаемого или зеркальные эстампы присущих оному качеств, но суть идеи, генерируемые в уме коммуникацией органов чувств с внешними феноменами, и рефлексией синтезируемые. По аналогии с тем, как при чтении человек апперципирует²¹ не наборы букв, но смыслы, ими обозначаемые, так и при созерцании – не самые вещи, но идеи, конституируемые разумом, какой обоудно совокупляет в себе интеллектуальную и психическую энергии «Я», – именно тут кроется зерно различия мнений, а следовательно, истины и заблуждения... При этом Лаэсий ни в коем случае не утверждал, что нет объективной реальности *per se* («самой по себе»), но полагал, что таковая нереальна для постижения. Вот его суждение: «Реальность – это восприятие. Без зрения нет света, без слуха нет звука, без осязания нет осязаемого. Словом, без субъекта познания невозможен объект познания. Там, где никого нет, есть нечто, но нечто сие – ничто».

Человечество в неуклонном прогрессировании до того

²¹ Апперципировать – постигать на основе имеющегося опыта.

усложнило свое существование, безоглядно отдавшись под суверенитет самосознания, что позабыло себя *органически* и невозвратно дистанцировалось от интуитивно-естественной природы, подменив ее натурой рассудочно-искусственной. Стараясь по мере сил восполнять бытийные пробелы, осмысление коих стало неизбежным (и непредсказуемо опасным), люди развивали основанную на своих житейских наблюдениях мифологию, наделяя сознанием стихийные силы природы и, как правило, их персонифицируя, дабы посредством разума сблизиться с тем, от чего посредством того же разума отторглись; и как скоро фантазия и реальность безраздельно сплотились в умах изошренных, люди возомнили, что благодаря магико-религиозным ритуалам могут оказывать влияние на саму природу, управляемую ими же измышленными богами, – так, подобно Еве, сотворенной из ребра Адама, от Разума отродилась единосущная, но тем не менее в сути своей ему антиномичная ипостась – Вера... И век за веком древо человеческое, все выше возносясь кроной к истине, все глубже уходило корнями в заблуждения. По роду своему человек – *«разумное и высшее создание»* – несомненно остался животным, но оборвав прямую связь с природой, практически лишившись тех инстинктивных внушений, каковыми она руководит всем сущим, безнадежно потерялся в самом себе и рассудком не смеет признать (а тем паче – принять) то, *что* он есть, сакраментально веруя в то, *кто* он есть...

Как я давеча говорил: разум – «чудесный и непостижимый инстинкт наших душ», – по-моему, не что иное, как чувство, причем доминирующее над остальными чувствами, доступными нам, но в то же время в значительной степени от них зависимое; а поскольку каждый мыслит инаково, то и чувствует, соответственно, не тождественно прочим, – отсюда, очевидно, и истекают несметные людские расхождения, отсюда и восходит человеческое одиночество. Здесь, – Себастиан окинул кольцевым мановением руки свои голову и грудь, – в нас самих заключен исток Мировой Скорби. Но согласно принципу «*Similia similibus curantur*» («Подобное излечивается подобным») в самом отравляющем источнике должно искать противоядие, – так благотворное действие огня совокупно его истребительной стихии. Раз в силу постигшей наш вид коренной и необратимой метаморфозе, человеческое естество отныне суть самосознание, раз человеческая натура суть разумение, значит, наша рационально-естественная цель состоит в самопостижении и самореализации: «*Naturae convenienter vive*» («живи согласно [своей] природе») – «*Perfice te ut finem*» («совершенствуй себя как цель»).

Как часовых дел мастер знает каждую деталь механизма, с которым работает, так истинный человек, – тот, кто постоянно трудится быть искусным в мудрости – своим прирожденном призвании, – досконально познаёт собственный разум, иными словами, совершенствует оный; ибо сравнимо техни-

ческому прогрессу, ведущему к созданию все более сложных, точных и функциональных инструментов, прогресс ментальный, достигаемый посредством рефлексии, развертывает, изощряет и упрочивает разумение (то есть надо не только размышлять своим умом, но и размышлять о своем уме)... Процесс нашего познания во многом автоматичен, но в принципиальном – произволен: при обычных условиях мы не можем не воспринимать поступающую извне информацию (как зеркало не может не отражать), но притом вольны избирать чему посвящать свой разум (как вольны навести зеркало на конкретный предмет). Именно сознательный выбор, а не чувственная обусловленность, определяет то, кем мы становимся – определяет то, что мы действительно знаем (или действительно верим, что знаем). Но выбор – акт воли, между тем как воля – акт выбора; стало быть, выбирать способен лишь тот, кто решил – сделал выбор – выбирать, а решить это, в свою очередь, способен лишь тот, кто постигает, к чему он стремится – какова его жизненная *миссия* – лишь тот, кто познал себя. Таким образом, познавая себя, человек движется в верном направлении к познанию внеположных ему реалий, познание коих взаимно сопутствует самопознанию.

Разум подобен свету: как прозрачное и незримое солнечное сияние делает зримыми и красочными материальные объекты, так разумение придает отчетливую форму мысленным образам – *фантазиям* – и индуцирует их претворение в

реальность. Из чего явствует, что это разум – чувство осмысленности – резон веры (а не какие-либо врожденные или выработанные параметры физической организации) осеменяет творческую потенцию и порождает подлинные таланты (конечно, певец может обладать прекрасным тембром от природы, а музыкант – эталонными кистями рук, однако ведь истинный талант сказывается не в пригодности и даже не в техничности, но в самом исполнении (как действительный характер обнаруживается в поступках), – ежели исполнение посредственно – зауряден исполнитель (ибо исполнению долженствует целостно превалировать над суммой своих составляющих, сродни лучезарному ореолу, объемлющему светило); так, чтобы быть замечательным художником, мало уметь замечательно рисовать (иначе не существовало бы столь тонкой и столь разительной грани между ремеслом и искусством), – чтобы быть замечательным художником, подобает замечательно выражать свои идейные помыслы, соответственно, иметь таковые, искренне верить в них – искренне верить в себя – беззаветно раскрываться как личность).

Для благородного человека, пылающего неисповедимым огнем осмысленного творчества, жить и философствовать – едино (а посему для него разнородны существование и жизнь). Ибо, постигая себя с искусной откровенностью, человек сознаёт, что как органическая тварь он типичен и ограничен, но верит, что уникален и абсолютен как одухотворенный Творец.

Лаэсий учил: «В каждом человеке обретается Гений – это его созидательное подсознание – средоточье духа – эссенция человечности. Сей Гений есть советник мышления, таинственно-величаво стоящий за его монаршим тронном. Сей Гений есть страж и казначей памяти, тех потаенных сокровищ познаний и впечатлений, коими она, не в мочи их всецело оценить, располагает. Сей Гений есть проводник в мире идей и фантазий, запечатлевающий самые из них знаменательные (и он же распорядитель сновидений, в которых символически приоткрываются наши криптические помыслы). А самое основное – сей Гений есть архитектор личности, радеющий о возведении, капитальности и благоустройстве оной. Словом, Гений суть наше сокровенное «Я», какое знает и понимает нас несравнимо глубже и полнее, нежели то доступно напрямую общающемуся с восприятием рассудку, что в большей ли, меньшей ли мере непрестанно сосредоточен на привходящем анализе. Голос Гения не есть слово; голос Гения – внутреннее чувство – интуиция – прозрение, – его нельзя «прочитать» непосредственно, его необходимо «перевести», а сделать это по силам только здоровому и чуткому разуму, соприсущному мудрости, ибо единственно умудренность способствует названным свойствам. Кто познаёт своего Гения – тот познаёт себя; кто познаёт себя – тот познаёт своего Гения. Оттого-то большинство людей в лучшем случае – добросовестная посредственность; не внимая своему Гению, не научившись его понимать, они не

внимают своей натуре, не понимают себя самое, – и в обратном порядке по сему замкнутому циклу... Гениальный человек – тот, чей подсознательный (сиречь духовный) опыт настолько превосходит сознательный (сиречь интеллектуальный и социальный), что может быть выражен не иначе как через вдохновение – творческий акт; но пребывает приглушенным, неявным в сфере обыденности и притупляется в неуместной среде (как притупляется зрение при сумраке). Потому-то глупца в карнавальной маске, у которого вся позолота напоказ, сразу видно, а мудрого, чья публичная личина проста и бесстрашна, не тотчас узнаешь, коль и способен на это, да и никогда вполне, ибо ум гениального человека подобен шкатулке с двойным дном: откроешь ее – она полна богатства, но самое драгоценное остается прикровенным»...

Разум, облачив человека тяжким панцирем самосознания, замкнувшим его от всего внешнего, дал ему тем самым *палладиум*²² все внешнее превозмогать, – главное укреплять сей панцирь просвещением, не дозволяя недомыслию и тяготам пробивать в нем бреши и уязвлять укрываемую им душу, кою, в свой черед, также надобно усердно тренировать, чтобы она с вольностью и достоинством несла вес ментальной кирасы, – иначе она либо огрубит ее невежеством, либо безумием задушит. «Свобода – здоровье духа», – и дух тем

²² Палладиум – священная статуя-оберег, изображавшая древнегреческую богиню мудрости Афины Палладу; считалось, что пока сей божественный артефакт находится в стенах города, тот пребудет неприступным. В переносном значении – защита.

стойче, чем он самодостаточнее.

В горе люди глупеют, глупеют и в довольстве, умнеют – только в борьбе. Ибо нет победы без борьбы. И мы обязаны, дабы иметь право на звание истинного Человека, бороться – бороться с собою всего превыше – в самих переживаниях своих черпая силы, сходно тому, как заблудший среди глухих, суровых гор путник в собственном отчаянье обретает сверхчеловеческую волю до последнего издыхания ступать вослед надежде спасения (ибо борьба с судьбой также прежде всего – борьба с собой). Только став достойным имени Человека, достойным той исключительной мощи интеллекта, что в нас заложена, той широты духа и тонкости чувств, кои присущи нам, только заслужив неподдельное самоуважение, познав свои значимость и ответственность, единственно став благим и мудрым для самого себя, своим бдительным наставником и чутким учеником, честным другом и верным соратником, сумеешь стать таковым и для иных, тебе сродственных.

Невозможно коренным образом изменить мир к лучшему, покуда неизменны те, кто в нем главенствуют, покуда люди не усвоили Долг Человека – Долг Личности. Когда у Аристотеля спросили, чему же важному научила его философия, он ответил: *«Я следую добровольно тому, чему другие повинуются в страхе перед законом»*. И как некогда сказал мне Доктор Альтиат: *«Государство – это хищный зверь в наморднике. Изначальный смысл любого законодательства не*

в предоставлении прав (понеже универсальный закон природы – *естественное право* – гласит: «Выживает кто как может» – «*Bellum omnium contra omnes*» («Война всех против всех»), – то есть вменяет индивиду полную волю), напротив, смысл любого законодательства – в налагании ограничений («*Si vis pacem, para bellum*» («Хочешь мира, готовься к войне»)), – так всякая пядь на участке гражданской свободы покрывается как минимум равной площадью гражданского повиновения; и человеку, сему пожизненному вассалу социума, допустимо безвозбранно пользоваться персональной независимостью исключительно в зависимости от сторонней власти («*Si non esset lex, non esset peccatum*» («Если бы не было закона, не было бы прегрешения»)). «*Общественный Договор*» есть не что иное, как ущемление каждого ради всех: «*Salus publica prima lex esto*» («Общее благо должно быть первым законом»). Равенство перед законом – неравенство по справедливости. Ибо закон безлично печется о практической пользе и карает вредящие оной действия, видя в сем свой настоятельный интерес, однако личностная нравственность и благие намерения простираются за горизонтом видимости закона, попросту неинтересны ему (как скупщику неинтересно искусство), – *id est* («то есть») закон судит преступления *qua* («как») акцидентальные²³ следствия, меж тем

²³ Акцидентальный – привходящий, несущественный; например, ученость у человека – это акцидентальное свойство, а разумность – субстанциональное (эссенциальное).

пороки, эссенциальные причины, неподсудны закону (чудное олицетворение коего, клянусь шкурой Марсия, – царь Мидас с ослиными ушами²⁴). Право (юридическое, я разумею) суть отрицательное понятие – не справедливость непосредственная цель его, а только недопущение несправедливости; и принуждение – акт *de facto* («по факту») негативный – исходное его позитивное средство; в этом право («легальность»), как нечто лишь производно моральное (блюдущее не дух, но букву блага), *toto genere* («кардинально») разнится с добродетелью – долгом человечности, чье понятие (так как подлинная мера нравственности – не в сдерживании, а в возвышении) положительно и первично, ибо не вынужденное оборонение от несправедливости утверждает добродетель, но в вольном водружении справедливости ее утверждение – ее подвиг – ее истина – ее свобода. Орудия закона – устрашение и наказание; орудия добродетели – доблесть и милосердие. Закон – это дремлющий дракон, что стережет Грааль общественности, взимая дань насущных жертв; тогда как добродетель можно уподобить странствующему рыцарю, чья десница, направляемая принципами просвещен-

²⁴ Мидас – мифический фригийский царь, который однажды судил музыкальное состязание между богом искусств Аполлоном и сатиром Марсием, отдав победный венок последнему, за что Аполлон, возмущенный неспособностью царя оценить его божественное искусство, наделил Мидаса ослиными ушами. Засим Аполлон призвал в судьи Муз, в итоге отдавших ему несомненное предпочтение. Марсия же, кичившегося изощренностью своей безвкусной игры, Аполлон наказал тем, что заживо содрал с него шкуру и подвесил ее на сосне в знак пошлой поверхностности противника.

ного разума («кодексом чести») и девизом «*Honestum per se expetendum est*» («Честь желанна сама по себе»), самопожертвенно искореняет нечисть заблуждений на перепутьях человечества, себе стезю вперед пролагая».

Душа обязана быть своим собственным цензором. Писанные законы ничто, ежели в презрении законы неписанные. Никакие правила, никакие обычаи, ни боязнь кары, ни перспективы загробного воздаяния не сделают людей человеческими, – ибо человечность – в сознательности воли, – и любой толчок почвы пошатнет их, любой всполох очага опалит, резкий поворот колеса Фортуны собьет с пути, ложный блеск прельстит, сгущающаяся тьма заставит бежать; блуждая средь мирского сумрака, не обрящут просветления, ибо, слепо ища света и тепла окрест, не заглянут в самое себя, где исподволь угасает божественный пламенник человеческого духа – *Огонь Прометея*...

Себастиан едва уловимо (а потому особенно проникновенно) вздохнул:

– Мне не понять людей, Деон... Не ведая куда и зачем бредут, знать не желая, снуют они неприкаянными тенями по самоучиненному царству иллюзий, извечно разрушающемуся вследствие неустроенности своей и вновь с безрассудным упрямством возводимому. Мне не понять людей... и все же я один из них. Эта сопричастность – самое знаменательное, что есть во мне, и самое прискорбное... Подчас становится тревожно и горестно оттого, что, пока я безраз-

дельно предан внутренней жизни, жизнь вовне проносится мимо, тает за окном, сродни пурпурным облакам заката... А потом я задумываюсь о том, что такое эта *жизнь вовне* – «ларец Пандоры»²⁵, заполненный всевозможными превратностями, бедами, мытарствами, сокрушениями, под бременной насыпью которых безысходно теплятся фантазия, надежда, мечта; и смятенность моя ощутимо рассеивается... Но по прошествии времени чувство сие возвращается, словно недуг, коему нет исцеления... Даже до меня, огражденного от цивилизации цепями гор и лигами лесов, затворенного в *башне из слоновой кости*, доносится безумолчный вой Мировой Скорби...

– Не сомневайтесь, – молвил я, – вой этот слышим всем и все его трепещут, – посему люди инстинктивно оглушают себя; но куда ужаснее зреть многоликую мглу, нависшего над землей Рока, черной вязкой жижей расплывшуюся по каждой улице и в каждый дом просочившуюся, – посему люди

²⁵ Ларец Пандоры – согласно древнегреческому мифу Пандора («всем-одаренная») – прекрасная, но легкомысленная женщина – была создана по велению Зевса, дабы отомстить мятежному Прометею за то, что он похитил олимпийский огонь и вручил его людям. Зевс преподнес Пандору в дар – в качестве супруги – недалековидному брату Прометея Эпиметею. От Эпиметея Пандора узнала, что у них в доме находится ларец, ранее принадлежавший Прометею, который ни в коем случае нельзя открывать. Но не устояв перед любопытством, Пандора все же заглянула в ларец, и все человеческие несчастья, в нем заключенные (так Прометей оберегал людей), вырвались наружу, закружились, словно осиный рой, и обрушились на мир. Боль, болезни, старость, страсти, пороки, безумие – охватили род людской. И когда Пандора в испуге захлопнула крышку, то на темном дне осталась лишь надежда.

инстинктивно себя ослепляют. Невежество, страсти, пред-
рассудки, тщеславие, суетность, леность, апатия – служат им
орудиями самоизувечения. Это защитный рефлекс эндоген-
ной недостаточности на экзогенные раздражители. И, само
собой разумеется, люди не способны постичь, что, малодуш-
но обезображивая себя, они обезображивают настоящее и
будущее всего своего рода, сверх того – всего живого... Я
врач, я лечу соматические заболевания, но пред духовной
пандемией человечества мое искусство бессильно...

III

С минуту мы безмолвствовали.

– Деон... хочу просить вас... – при явной, а потому откровенно милой застенчивости произнес Себастиан, – если, разумеется, вы не против... для меня действительно важно, чтобы вы рассказали о себе... чтобы я имел возможность лучше узнать вас...

– Конечно, – бодро изъявил я согласие, думая приободрить тем Себастиана. – Пусть скромная биография моя отнюдь не сходственна увлекательно-назидательным жизнеописаниям Плутарха, полагаю, мы все-таки сумеем извлечь из нее стоящие выводы, – ведь не только вам будет, смею надеяться, небесполезно ознакомиться с моей «историей», но также и мне целесообразно послушать себя, поскольку в водовороте повседневной деятельности, перемежающейся бытовыми заботами или редкими часами отдохновения, едва ли возникает активный помысел обозреть чреду минувших дней, звено за звеном восстанавливая цепочку событий, приведшую к тому, кто ты ныне есть; а между тем таковой анализ, – можно утверждать с определенностью, – исключительнейшим образом положительно сказывается на самопознании.

Что ж, начну, как полагается, с самого начала... – произнося сию вводно-бестолковую реплику, я ощущал, что

несколько родею с непривычки о себе распространяться, но чем более впоследствии вдавался я в воспоминания, благодарно-внимательным взором Себастиана обогреваемый, тем менее памятовал о себе настоящем – тем естественней и привольней струилась моя речь. – Я родился двадцать восемь лет тому назад и был (да и остался) единственным ребенком в семье. Мой отец – высокопоставленный банковский служащий, неподдельно гордый своим солидным положением, а посему изначально желавший, чтобы и я последовал его достохвальному примеру («по отцовским стопам»). Часто, мальчиком, водил он меня к себе на службу, чая с ранних годов привить мне авторитетное представление о банковском деле и eo ipso («тем самым») возбудить симпатию к оному. Но как это нередко случается между родителями и детьми – судьба строптиво двинулась не по намеченной колее. Все то, что наблюдал я в банке, удручало меня и отвращало: длинные, скисше-нетерпеливые очереди клиентов; снующие туда-сюда высокопарные господа-сотрудники в строгих, придающих угловатость движениям костюмах; вороные спины клерков, сгорбленных за писчими столами, громадные кипы бумаг с нескончаемыми, головокружительными столбцами цифр, гипнотически-несмолкаемый скрежет перьев да периодические покашливания в гробовой, стылой тиши, – уйма прозаичного пафоса и никакой поэзии. Мне же, согласно моей натуре, хотелось чего-то совсем иного: куда ярче, вольнее, живее, возвышенной... Я мечтал о чем-то *Прекрасном*...

Вначале (лет, пожалуй, тринадцати) я решил сделаться поэтом и с легкой руки сочинял множество стихотворений, каковые, не успев просохнуть, чудились мне восхитительными шедеврами расцветавшего дарования. На ажиотаже я бросался декламировать их всем, кого близко знал, удовлетворяясь более или менее поощрительного внимания (что называется: «на отвяжись»). Однако унылая натянутость похвал друзей и родственников чутко ощущалась мною, и по прошествии немногого времени я разочаровывался в своих непризнанных творениях, уже стыдясь читать их не то что посторонним, но даже самому себе (хотя, быть может, стихи мои не были так уж плохи, а попросту никому не интересны). Потом я вознамерился стать художником, но в сем искусстве, требующем обстоятельной подготовки, успехи мои оказались не в пример посредственнее (по крайней мере мне было проще в этом удостовериться, как людям вообще проще постигать визуальное), посему довольно скоро я от живописи почтительно (и, само собой, несколько обиженно) отступился, так и не создав ни единого мнимого шедевра. С музыкой, увы, тоже не сложилось: со своего первого занятия фортепиано, куда (после долгих уговоров отца оплачивать мне обучение) направлялся, точно на праздник, я вышел озадаченным и подавленным, поскольку инструмент показался мне чрезвычайно трудным в освоении, а нотная грамота – непонятной, *эзотерической*; в довершение всего, учитель был хмур, надменен, нуден, раздражителен (будто на-

бивая себе и своему мастерству цену, – понеже отец, считая музыку чем-то бестолковым, *нестоящим*, подыскал кого подешевле), да к тому ж сей «маэстро» (явный алкоголик) неопрятен был и нечистоплотен, как и самая его неприятная обитель, где давал он частные уроки, второй из коих оказался для меня не лучше, а на третий, дивясь (вернее – *ужасаясь*), как это возможно нечто общее между прекраснейшим искусством и сим гадким типом, я предпочел не являться... Короче говоря, один за другим увлекали меня разномастные замыслы, которые отец мой брезгливо нарекал блажью, и которые рано или поздно сам я принимался воспринимать за пустые причуды. Таким образом, до пятнадцати лет, когда уже вплотную близился момент избрать свое призвание, я все никак не мог определиться, серьезно рискуя, не разрешив в срок сию апорию²⁶, угодить в отцовские силки. И вот, неожиданно произошло решающее событие...

В ту пору у меня был лучший друг, мой ровесник; однажды на исходе лета (при пришествии первых – тревожно-умиротворенных – дуновений осени) мы с ним дотемна загулялись за городом; поднялся промозглый ветер, следом хлынул ледяной ливень; пока мы добрались до своих домов – вымокли до нитки и продрогли до костей. Вестимо, оба простудились. Я провел в постели дня четыре и, совершенно выздоровевший, полный рвущихся на волю сил, поспешил

²⁶ Апория – противоречивая ситуация (положение), представляющаяся логически безвыходной.

проведать друга, инфантильно полагая разумеющимся, что и он уже в досталь окреп и готов к новым приключениям. Когда же его матушка, показавшаяся мне печальным приведением той, какой я ее знал, сопровождала меня в зашторенную, сумрачную комнату, то я, будучи в некоем отуманенном замешательстве, не сразу набрался духу признать покоящийся на белесом пятне подушки иссера-желтый страдальческий лик, венцом слипшихся волос окаймленный. В лихорадочном потрясении взглянул я в безутешные глаза его матери и засим пристыжено, – ибо мне стало до глубины объятай трепетом души стыдно, что я здоров и бодр, – подступил, точно б покаянный преступник, к одру своего несчастного больного друга. Я спросил его: «Как ты?» И в ответ с тихим усилием он вымолвил, что неважно... В отрешенно-скорбных глазах его – с повергающей ясностью узрел я – зловеще зияло доселе мне неведомое жерло смерти. Разразившись слезами и чувствуя, что не могу сего стерпеть, обуянный паническим припадком я выбежал вон.

Несколько дней провел я в неотступной протрации; терзаемый кошмарами наяву и во сне, почти не спал, и кормить меня приходилось с принуждением. Как вдруг к нам в дом явилась младшая сестренка моего друга, – по коему я скорбел, будто по уже почившему, в любую минуту ожидая весть о кончине его, – и с внезапной радостью пригласила она меня в гости. Принимая лекарства, выписанные иным врачом, что заместил предыдущего, и держась режима, им назначен-

ного, друг мой быстро (*чудодейственно*) пошел на поправку и пребывал ныне в куда лучшем здравии и настроении. С воскресшей улыбкой порозовевших уст приветствовал он меня (точно затлевшаяся лампа его души возгорелась с новым жаром), и в последующий час мы зачарованно строили планы на остаток каникул.

И тут, дабы проведать своего юного пациента, прибыл тот самый *чудесный доктор*. Лишь завидев его высокую, статную, величавую фигуру и осиянное спокойствием благородное молодое лицо, – словно предо мной предстал паладин из баллады, – я воспылал вдохновенным благоговением. Чудилось, что с приходом сего «Героя Жизни» повеяло теплом, и светлой прозрачности преисполнился пасмурный воздух. Когда же, позволив мне присутствовать, доктор проводил осмотр и мерным бархатистым голосом задавал другу вопросы касательно самочувствия, а тот, отвечая, глядел на него с невыразимой признательностью и безграничным пиететом, как на всеблагого спасителя, я, озаренный чудом добра, интуитивно принял свое призвание... свое Предназначение... Полагаю, вы догадались, что этим необыкновенным врачом был не кто иной, как доктор Альтиат.

– Да... – опустив веки, улыбчиво прошептал Себастиан. – Я вижу его... Прошу вас, продолжайте...

– Узнав сверх того, что доктор Альтиат наравне с врачебной практикой занимается преподаванием, я принялся тактично склонять свою матушку к тому, чтобы она повлияла

на отца, и он дозволил бы мне поступить в медицинский лицей (надо пояснить, что, помимо профессиональных интенций на мой счет, наличествовало и побочное осложнение: отец отличался завидной крепостью организма (по всей видимости, в силу своей педантичности, каковая относительно житейских привычек доходила у него едва не до ритуальной скрупулезности), а посему питал к докторам, – в чьих услугах никогда всерьез не нуждался, уповая, чтобы так оставалось и впредь, – мнительную неприязнь). Матушка поначалу встретила в штыки мою «негаданную затею», находя врачевание *ремеслом* в высшей степени противным, скверным, макабрическим, и пыталась отвратить меня от него такими *неделикатными* словами, как кровь, желчь, судороги, стоны et cetera («и так далее»); а один раз, бледнея в лице, даже отважилась изречь самый страшный довод – неизбежное и многократное лицезрение смерти, «когда буквально ощущаешь на себе ее стынущее дыхание». Но я невозмутимо выказывал полнейшую решительность и был готов во что бы то ни стало отстаивать свою мечту до победного конца. В итоге матушка сдалась, как скоро (после ряда *осад*) мне удалось инспирировать ей, что искусные врачи – люди респектабельные и состоятельные, – а я, при своем великом рвении, непременно добьюсь в избранном мною деле больших успехов и славного общественного статуса удостоюсь; меж тем как в банке, ввиду моей апатичности к этому поприщу, мне сулит до самой пенсии оставаться каким-нибудь захудалым

счетоводом... Итак, вместе мы аккуратно подступились к отцу...

Он рвал и метал. Чего и следовало ожидать. С багровым презрением, как саблей рассекая воздух указательным пальцем и прыща кипящей слюной, отзывался отец о докторах – поголовно «садистах» и «шарлатанах», кои, по его слову, либо обхаживают чернь в замшелых клиниках, либо бегают по частным домам, что «аптекарских рецептов почтальоны». «Когда человек болен – то бишь находится в дрянном состоянии, тогда-то врач для него, бесспорно, царь и бог! – разводил рацеи отец, драматично-досадливо размахивая правой рукой, с левой, за спину чинно заложенной. – Ну а когда у человека все в порядке, когда он полон сил и благоденствует – то бишь находится в превосходном состоянии, то кто для него этот самый врач? Кто? Скажите-ка мне на милость?! Кто же? Никто! Вот кто! Никтошечки никто! И баста!.. Другое дело банкир... – при сих словах отец, словно бы произнося их он вдыхал мирру, моментально умиротворялся, опускался в кресло и с чуждой благостью, цветущей во взоре, закидывал ногу на ногу. – Тут все иначе... – раскрыв свой серебряный портсигар, убежденно закуривал он. – Тут все, я бы сказал, несравненно иначе... – молвил неспешно, *паточно-тягуче* (точно б смакуя каждое слово). – Когда человек в нужде, банкир для него – луч надежды во тьме долговой ямы; когда преуспевает – сподвижник и опора! Вот солидная, досточтимая профессия! Вот чем живет

и дышит здоровый мир!.. Кто там из древних мудрецов заявил, что деньги – это жилы всего сущего?! Кто бы ни был, а был-таки прав! Чертовски прав! Кто ж посмеет с тем поспорить? Кто ж тут дельно возразит? Без денег в этом мире делать не-че-го! Без денег нет ни счастья, ни свободы, ни удовольствий, ни просвещенности, ни покоя, ни уважения, ни любви! Словом, не бывает без денег достойной, нравственно-опрятной жизни! – изрек отец сентенциозно, ус покручивая. – Человек, коли у него за душой ни гроша – дикий, омерзительный зверь – вшивый пес дворовый, ни на что не годный, никому не нужный и кем хочешь третируемый, а никак не порядочный представитель цивилизованного контингента, каковым ему надлежит быть. *«Лишь осел золоту солону предпочтет»*, – корректно зарегистрировано стародавней поговоркой. Так и выходит, что деньги везде и во всем, что они, как связующие жилы, по которым циркулирует ток действительности. А ежели деньги – жилы всего сущего, то банк, вне сомнений, – сердце и разум. Вот оно как! Вот каково положение банковских сотрудников! Вот какова беспримерная ценность их достославной миссии! Мы – жрецы златого тельца, – заявляю я гордо, – единственного бога, которого можно воочию узреть и пощупать, единственного бога, творящего подлинные чудеса, единственного бога, пред которым всяк и каждый преклоняет колена иль хороводы пляшет, и которого ни один блаженной еретик-фанатик, болезнью

Святого Франциска²⁷ прокаженный, что бы он там не морализировал зычно о «пагубе богатства», не дерзнет-таки отрицать! Ибо это такое божество, которое ни где-то якобы посиживает себе извека на облаке да тайком за нами наблюдает, что-то там, дьявол его разбери, промышляя, а такое божество, которое прямо здесь – среди нас, такое, с которым мы всякий день соприкасаемся, о котором всякий день думаем и на которое всякий день молимся – божество материальное, как и мы сами. Всесильный Зевс с златою цепью²⁸! И не дурак был старик Гомер, вручая Вседержителю бразды из столь мягкого металла, – ибо деньги решают всё: «*Pecunia obediens omnia*» («Деньгам все повинуется»). А что же делаем мы, финансовые служащие? Контролируем сего «*Отца смертных и бессмертных*», иначе ведь Он шутя опроки-

²⁷ Болезнь Святого Франциска – бедность; выражение вошло в поговорку, поскольку сей монах (а равно, организованный им нищенствующий «Орден францисканцев»), приняв обет бедности, держался строжайшей аскезы. По легенде Франциск Ассизский (1181-1226 гг.), происходивший из зажиточной семьи, «заболел» своей доктриной, когда однажды проезжал верхом мимо прокаженного, и внезапный порыв сострадания внушил ему спешиться с лошади, дабы расцеловать несчастного.

²⁸ Всесильный Зевс с златою цепью – в «Илиаде» Гомера Зевс предлагает остальным олимпийским богам помериться с ним силой: спустить с Олимпа (небесного града высших богов) золотую цепь, которую он будет удерживать за один из концов, а все остальные боги и богини станут тянуть ее вниз. «Но совлечь не возможете с неба на землю вседержителя Зевса, сколько бы вы ни трудились! Если же я, рассудивши за благо, повлечь возжелаю, – с самой землею и с самым морем ее повлеку я... столько превыше богов и столько превыше я смертных!» Так он вешал, – и молчанье глубокое боги хранили.

нет землю вверх тормашками!.. Вот послушай-ка правдивую оказию. Заявился, значит, однажды Манса Муса, богатейший человек в истории, с караваном груженных золотом верблюдов в Каир, да принялся щедрой рукою раздавать свои капиталы налево и направо (что называется, «сорить деньгами» безбожно). И чем же сие непомерное «излияние великодушия» обернулось? Потопом! Бедственным потопом! Многолетним обвалом рыночной экономики! Так-то вот! Мир держится на деньгах, тогда как деньги держатся банковской системой – Олимпом благоденствия... А теперь узри великие деяния сего столь же могущественного, сколь и древнего Бога, чью неисповедимую мощь мы должным образом регулируем. Именно благодаря Нему рационально устроен мир, у людей есть работа, есть кусок хлеба и крыша над головой, есть досуг и безопасность, – поелику именно Он – несущий столп закона и общности. Именно благодаря Нему строятся дома, дороги, мосты, плотины, тюрьмы, больницы, школы и так далее и так далее (не забываем, *однако ж*, и церкви); именно благодаря Нему свершаются научные достижения, возводятся памятники архитектуры и создаются шедевры искусства, – поелику именно Он – стимул и основа цивилизации! In summa («в общем»), как довелось мне где-то прочесть намеренно: *«Ум – это рычаг, способный перевернуть земной шар, но точкой опоры ему служат – деньги»*, – и сие, сын мой, святая истина... Так что же, учитывая все сказанное и несказанно многое в придачу, может

быть величественнее и благотворнее денег, каковые, – как подметил некий умник, – *в свернутом виде* представляют собою все вещи? И что в таком случае может быть страшнее и постыднее их отсутствия? Без денег человек – ни-что. Никакое здоровье не скрасит убогую жизнь нищетолюбия: у кого в желудке пусто, забывает все свои думы; кто мерзнет в отрепье, ничего иного не чувствует. Да и врачей, *nota* («заметь»), не существовало бы как таковых в природе, коли бы их труд оставался неоплатным, – каждый бы лишь о себе помышлял и заботился. А посему, сын, о деньгах надобно ревновать в первую очередь. И ежели попечение о расстройствах больных дело, соглашусь, небесполезное, то вообрази, сколько пользы в попечении о благосостоянии здоровых – тех, в ком сила – тех, за кем будущее!»

И в конце таких и подобных чуть ли не ежедневных тирад, истомленный пылом красноречия отец вкрадчиво вопрошал меня, хранившего молчание во все время его речи: «Ну что же, сын? Убедил я тебя? Отступился ты от безрассудной, от ребяческой своей блажи?» В ответ со стоической твердостью во взоре я отрицательно покачивал головой. Тогда отец болезненно прикрывал веки, медленно распластывал ладонь и, знаменательно повременив несколько мгновений, с гулким хлопком припечатывал себя по лбу; засим безмолвно удалялся... Ему ничего не оставалось, как уступить моему «*мальчишескому меднолобию*», моему «*взбалмошному фантазерству*», удрученно при сем сокрушаясь, что мы

оба еще об этом горько пожалеем...

В положенный срок я поступил в лицей. Учился с большим энтузиазмом, прилежно посещал лекции, ведя подробные тетради записей, много читал и размышлял, не пропускал ни одного занятия в клинике. Педагоги были мною очень довольны, горды, и поощрения сих маститых лиц заряжали меня вящей верой в себя; но все же ни один из преподавателей не внушал мне столь вдохновительного впечатления, как мой давний кумир – доктор Альтиат. Только вот с ним, к прискорбному моему потрясению, отношения у нас слагались вовсе не так радужно, как мне дотоле грезилось. Узнав доктора ближе, я обнаружил, что этот человек – светоч врачебной мудрости и духовного благородства, каковым он запечатлелся в моем представлении, – в действительности мрачен и замкнут; и его углубленный взгляд с оттенком грусти созерцал меня в ином свете, нежели благодушные взоры его коллег... Привыкший к заслуженным похвалам и отличиям, я не мог уразуметь, в чем, собственно, дело, и что конкретно побуждает того, чье одобрение для меня имеет особое значение, проявлять ко мне сдержанную холодность, притом как будто большую, чем к другим ученикам, и наипаче ощутимую, поскольку, будучи взыскательным и сухим, он не остро словил в мой адрес свою знаменитой *сократической иронией*, меж тем как прочие хорошенько прочувствовали на себе хлесткость словесных розог «черного доктора» (так прозвали Альтиата лицеисты, как за хмурый лик (он часто шутил,

но редко улыбался и никогда не смеялся), так и за то, что бес-
сменно облачаясь в черное, носил «траур по человечеству»).
Тогда я не мог постичь причины установившейся между на-
ми строгой дистанции; но теперь понимаю: позиция доктор-
а исходила из того, в чем, как мне казалось, он отказывал
мне – из искренней симпатии, из кровного сочувствия. Док-
тора Альтиата всерьез заботил склад моего характера; и ту
романтизированную воодушевленность, с какой относился я
к искусству врачевания, он почитал не то что неуместной, но
прежде всего опасной, и не для пациентов, а лично для ме-
ня... Доктор зрел на челе моем роковой перст обреченности
– точно такой, каким был отмечен он сам...

– Вам, юный Асклеиад²⁹, – как-то, когда по завершении
урока мы оказались наедине, обратился ко мне доктор Аль-
тиат в несколько ироничном тоне, но даже без тени улыб-
ки, – вам, несомненно, представляется, что не за горами вре-
мена, когда вы начнете чудодейственным образом *спасать*
людские жизни: нести в этот мир исцеление от мук и страда-
ний, избавлять отчаянье, упреждать скорбь. Порой так и бу-
дет... *отчасти*. Но порой будет иначе. Нередко вам придет-
ся беспомощно отступить пред натиском *тысячерукой смер-*
ти, ибо у вас – при всем мыслимом мастерстве и мужестве –
не найдется должного орудия ей воспрепятствовать; ибо все

²⁹ Асклеиад – потомок древнегреческого бога врачевания Асклепия (Эскулап – у римлян); к роду Асклеиадов – потомственных врачей – принадлежал Гиппократ.

живое родится с тем, чтобы умереть, ибо жить и умирать, in essentia («в сущности»), одно и то же. «Первый наш час дает нам и последний», – как издревле гласят философы. И хотя далеко не всем дано жить, но все – все без исключения – подвержены гибели, – она уравнивает каждого: «*Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres*» («Бледная ломится смерть одной и той же ногою в лачуги бедных и в царей чертоги»)… Когда у именитого Герофила³⁰ спросили, кто, по его мнению, суть прекрасный врач, он ответил: «*Тот, кто способен различать возможное и невозможное*». Всегда помните, вы – только человек. Вы сумеете исцелять многие заболевания, утишать боль и даже раздувать едва теплящийся уголек бытия, но не сумеете вытравить непреходящую смерть, – максимум – слегка отсрочить: «*Одно лишь в мире постоянно, вечно – непостоянство, бренность всех*».

Вам ныне, конечно, покажется и прекрасной и правильной мысль, что воскресить мертвого, – буде человеческому гению откроется таковая возможность, – есть великое благо. Но вспомните миф о божественном врачевателе Эскулапе, сыне Аполлона. Мифы мудры – в них зиждется вековая мудрость; мифология, если позволите, являет собой нерушимый фундамент мировой культуры – неистощимый ключ человеческой мысли. Так вот, как вам, полагаю, известно,

³⁰ Герофил – древнегреческий врач (335-280 гг. до н. э.), одним из первых заявивший, что центром нервной системы является головной мозг, и написавший много трудов (ныне утраченных) по всем разделам медицины.

Эскулап дошел в своем врачебном искусстве до таких высот, что дерзнул воскрешать умерших, за что и был в итоге покаран молнией Юпитера, горсткой праха осыпавшись, – ибо не должно тщиться идти против природы, в которой правит разумный порядок, пусть нам, *людям*, он характерно и представляется «несправедливым». Ведь мы привыкли почитать смерть за безусловное зло, по какой-то никем не объяснимой причине почитая жизнь за безусловное благо. С этим ничего не попишешь, это у нас здесь, – доктор плавно приложил руку к груди, – как и у всего живого. Однако ничто живое не воспринимает жизнь и смерть так малодушно, как воспринимают их люди, которые, сколь это ни парадоксально, превосходят все земные творения душевной глубиной и силой рассудка. Но ведь не сосуд мы ценим сам по себе, а то как он сработан и чем наполнен, да притом, – что не менее важно, – не попорчен ли изъяном; людской же разум традиционно слеплен из бог ведает откуда взявшихся а priori и запружен черт знает какими а posteriori, да еще и течет, что бочка Данаид³¹. Посему отнюдь не удивительно: самое рациональное существо в своем поведении – самое нерациональное в

³¹ Данаиды – согласно древнегреческому мифу у царя Бела было два сына близнеца – Эгипт и Данай. Когда Бел умер, братья поссорились из-за наследства. В качестве жеста примирения Эгипт предложил поженить пятьдесят своих сыновей на пятидесяти дочерях Даная. Во время свадебного пира Данай тайно раздал острые булавки, которые его дочери спрятали в прическах, и в полночь каждая (кроме одной) вонзила свою булавку в сердце супруга. После смерти девушек, судьи загробного мира Аида обрели их вечно носить воду в кувшинах, тщетно заполняя дырявую бочку.

своих поступках...

А доводилось ли вам видеть, с какой мирной покорностью угасают животные, с каким смирением и будто даже облегчением принимают они смерть, словно бы в сон погружаясь?.. Может, вы считаете, животные не ведают, что есть гибель («*Animal non agit, agitur*» («Животное не действует, [но] претерпевает»))? В таком случае вы заблуждаетесь. Это мы, люди, ничего не ведаем ни о жизни, ни о смерти, потеряв все, что вкореняет природа, да вконец запутавшись в своих метафизических хитросплетениях, – уповая на бога, которого не способны любить, и кляня дьявола, которого не способны ненавидеть. У животных же есть предопределенный природный замысел – *qualitas occulta* («сокровенное качество»), начало коему кладет рождение и предел коему ставит кончина; и замысел сей, формулируемый старой доброй латинской фразой «*hic et nunc*» («здесь и сейчас»), прямой стезей пролегает через все их существование; по замечанию Шопенгауэра: «*Животное верно нашло свой путь в бытие, как верно найдет путь из него, а пока оно живет без страха и заботы перед уничтожением: его питает сознание, что оно есть сама природа и как природа нетленно*». Животным незачем гадать о смысле бытия или же выводить из умозаключений бессмысленность ононого; им незачем выдумывать блаженство или муки небытия, прогнозировать его длительность или же тщиться вообразить невообразимо мертвую вечность – *nihil negativum* («отрицатель-

ное ничто»); и, *demum* («наконец»), они бесконечно далеки от специфицирующей человеческой нелепости, что вероятно (и даже *conditio sine qua non* («необходимо»)) нечто за-предельное – сверх бытия и небытия. Короче говоря, всем не наделенным *Ratio Perfecta* («Совершенным Разумом») существам довольно *Mundus Sensibilis* («Мира Чувственного») и совершенно ни к чему *Mundus Intelligibilis* («Мир Умозрительный») (впрочем, в протест тем, кто декларирует, дескать, животные не постигают *«природы бога»*, я уверенно, – если не сказать – *свято*, – заявляю, что животные как раз-таки *non plus ultra* («более чем») постигают *«природу бога»*, ибо для них два этих раздельных термина – «природа» и «бог» – одно абсолютное *откровение свыше*, коему они ретиво повинуются, иначе же, на библейский манер выражаясь, *«истребится душа из рода своего»*). «Выживать и размножаться» – такова подлинная Воля Природы – такова присная Догма Бога – такова *Vita Veritas* («Правда Жизни»). (Чересчур – *невыносимо* – *simplex* («просто»), не правда ль?..) Зablуждаться, обманываться, коснеть в невежестве – все это сугубо людской удел (*«доброму коню отнюдь не худо от того, что не искушен он в грамматике»*), – для людей приобретение сего *опыта* естественно, но естественно тому сродни, как естественными рассматриваются патологии, свойственные человеческому организму и фактически неизбежные при социальной – *полноценной* – жизнедеятельности. Животные же рождаются с тем путеводным прямолинейно-безошибочным

знанием – унитарным искусством – исконным постижением жизни и смерти, кое мы высокомерно называем инстинктом. *Res ipsa loquitur* («вещь говорит сама за себя»): так пчела, едва покинув замурованную колыбель сот и оказавшись среди огромного, динамирующего лабиринта улья, уже ощущает свое урочное положение и свое назначение, к претворению коего тотчас же приступает, вливаясь в энергичное единство пчелиного полиса; так черепашка, вылупившаяся из яйца в кладке на побережье, лишь различив первые блики света и услышав призывный шепот волн, немедля устремляется, по песку неразвитыми лапами гребя, к морю, ибо уже предощущает нависшую угрозу и то, где *secundum naturam* («согласно природе»), ей надлежит пребывать; так еще незрячий кукушонок, только-только проклевавшийся сквозь скорлупу, – неоперившееся существо, в котором исключены какие-либо преднамеренные действия, а подавно проявления агрессии, – рьяно принимается выталкивать из гнезда (куда был подброшен матерью) крохотные яички камышевок, содержащие его конкурентов за выживание, – ведь уже через две недели он будет в три раза превосходить свою заботливую мачеху размером, и, значит, ему понадобится вся пища, какую та сумеет раздобыть. А что вы скажете о капусте (и, клянусь Диоклетианом³², это научно доказано), о

³² Диоклетиан – римский император (284-305 гг.), который после двадцати лет стабильного реформаторского правления (стоит заметить: до него за полвека сменилось 26 императоров (ставленников от армии) – почти все пали насильственной смертью), полностью отстранившись от государственных дел, занялся

безмозглом кочане капусты, что, будучи осаждаем гусеницами, испускает особый запах, привлекающий ос, каковые сих гусениц пожирают?.. Вот вам пару простых примеров: *sine miraculo, naturaliter* («без чудес, естественно»); мы можем сколько угодно им дивиться или ужасаться ими, но никогда не сможем их вполне осознать – это *вне* нашего понимания...

Природа, в коей непримиримая вражда и всепрощение слиты воедино, всегда стремится к Абсолюту; люди же бытуют ограничениями, ибо безграничность нашей воли суть ограниченность нашего восприятия. В природе нет ничего незначительного – все в ней согласуется с необходимостью – «*consensus naturae*» («согласие природы»); люди же по большей части незначительны, поскольку их разум – их *natura* – не постигает, что для него необходимо, в чем его *consensus*. Словом, человек – «*animal rationale*» («разумное животное») – безвозвратно отрешен (или, вернее сказать, абстрагирован) от природы, но и свое собственное естество – «*natura intellectualis*» («умственная натура») – для него, как правило, мутное зеркало: *«Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в нашей душе то, что по природе своей всего очевидней».*

у себя на вилле огородничеством. Вскоре в Империи начались осложнения, и приемники Диоклетиана пришли просить его вновь взять бразды правления в свои руки, на что тот ответил отказом, заметив, между прочим, что если бы они видели, до чего хороша капуста, которую он вырастил, то не стали бы докучать ему со своими глупостями.

*«Ибо из тварей, что дышат и ползают в прахе,
Истинно в целой вселенной несчастнее нет человека...»*

Люди рождаются вовсе беспомощными, перепуганными, рыдающими, и умирают, обыкновенно, точно такими же. Жизни – страшатся, смерти – трепещут; в потемках безинстинктивной нерешительности коснеют меж двух сходящихся огней, не зная куда податься, буридановым ослам³³ сродни, доколе не канут тленом, опомниться не успев; то на коленах вымаливают всевышние силы о продлении тягостных пыток, то истошно призывают потустороннего жнеца единым махом скосить их безнадежные мытарства. Вот каких людей вам придется бесперечь *спасать* (коль вам по нраву данное слово). Не жизнь, даже не существование – лишь суетный призрак бытия. Мумии с извлеченными мозгом и сердцем, да набальзамированные паралогизмами и контрадикциями, – *«мыслящие тростники»*. Нимфы, коим не стать имаго³⁴. Quia («ибо»), по Платоновой аллегории, откармливают многоликое чудовище и льва³⁵, грызущихся меж собою,

³³ Буриданов осел – философский парадокс, названный по имени средневекового философа Жана Буридана: «Если осел будет стоять между двумя одинаковыми равноудаленными стогами сена, то скорее умрет от голода, чем примет решение, с которого из них начать трапезу».

³⁴ Нимфа и имаго – две стадии развития насекомых с неполным превращением (например, цикад). Нимфа – личиночная, неполовозрелая стадия. Имаго – взрослая стадия, на которой особь становится способна к размножению и, обычно, обретает крылья, – иначе говоря, достигает своего природного совершенства.

³⁵ ... по Платоновой аллегории – из диалога Платона «Государство»: «Мы создадим некое словесное подобие души <...> – зверя, многоликого и многоголо-

человека же морят голодом. . . Врачевание суть сизифов труд. Вы будете исцелять мелкие недуги, унимать хронические болезни, восстанавливать телесную крепость, залечивать раны, но ни одного из своих пациентов, клянусь Стиксом³⁶ (*клятвой, которой и боги трепещут*), вам не сделать истинно здоровым – ни одного вам не спасти. Приготовьтесь к этому! Ибо не быть здоровым тому человеку, у кого недужен основополагающий элемент, средоточие – дух, или же – разум (что лично для меня – unitum («едино»)). «*Mens sana in corpore sano*» («Здоровый дух в здоровом теле»).

Смертен дух, бессмертен ли, – этого никто доподлинно не скажет; но то, что он доминирует над телом (по крайней мере по природному предумысливанию) и, пронизывая его вдоль и поперек, коррелирует собой все атомы, – это можно утверждать наверняка (хотя бы ввиду того, что разные по характеру разумения люди по-разному ощущают одну и ту же боль

вого [– страсти]. <...> И еще создай образ льва [– гнев] и образ человека [– разум]... Хоть здесь и три образа, но ты объедини их так, чтобы они крепко срослись друг с другом. Теперь придай им единый облик – облик человека <...>. В ответ тому, кто утверждает, будто такому человеку полезно творить несправедливость, а действовать по справедливости невыгодно, мы скажем, что тем самым, собственно говоря, утверждается, будто полезно откармливать многоликого зверя, делать мощным и его, и льва, и все, что ко льву относится, а человека морить голодом, ослаблять, чтобы те могли тащить его куда им вздумается, и он не был бы в состоянии приучить их к взаимной дружбе, а вынужден был бы предоставить им грызться между собой, драться и пожирать друг друга...»

³⁶ Стикс – река в загробном царстве Аид, через которую переправляются души мертвых; клятва Стиксом считалась нерушимой для богов, как нерушимо то, что пересекая сию реку душа навеки пребудет в Аиде.

и по-разному переносят аналогичные тяготы, а равно в различной степени наслаждаются удовольствиями). Врач лечит тело, но cura animarum («попечение о душах») вне его компетенции. Меж тем все вождения, неумеренное пристрастие к коим является наиболее частым фактором соматических нарушений (ведь не смерть же убивает, а жизнь), повинуются душе... Предпишите пациенту существенно снизить количество потребляемой пищи, чтобы вся витальная энергия не расточалась на переваривание, чтобы не задыхаться под весом собственной туши: «*Gula punit gulax*» («Обжорство карает обжору»); предпишите отказ от алкоголя и курения, каковые – *contra naturam* («вопреки природе») – сбивают механизм организма с естественного ритма и непоправимо его корродируют, тем самым подвергая деградации эффективность церебральных процессов и перцептивных способностей; предпишите больше отдаваться благотворному досугу и размеренному покою, вместо того чтобы бешено кутить и буйствовать (да так, клянусь Бромием, что и сатиры³⁷ устыдились бы); предпишите спать ночью, а не при свете дня, и *non ultra* («не свыше») восьми-девяти часов, а не по двенадцать-четырнадцать; *per et magnam* («в общем и целом»), предпишите соблюдать во всем меру и не опрокидывать поставленный природой барьер необходимого: «*Abstine*

³⁷ Сатиры – в древнегреческой мифологии козлоногие антропоморфные существа, известные своим распутством и пристрастием к пьянству; наряду с менадами составляли свиту божества виноделия Диониса (Бромия).

et sustine» («Воздерживайся и терпи») (ибо как говорится: «*Ничто не бывает подобающим наперекор Минерве*»³⁸). Станет пациент вас слушаться? Станет исправно исполнять ваши наказы? Может, и станет, ежели ему очень уж худо, да и то совсем не факт (привычка тем сильна, что становится натурой); а лишь чуть окрепнет – придет, так сказать, в себя, – тотчас отринет все то, что принесло ему желанное исцеление, будто бы впредь обрел неуязвимость, и *de novo* («вновь») занырнет в родимую яму разнузданности (вымытая свинья, по известной пословице, спешит в грязи извляться), покуда Харибда³⁹ сия окончательно его не сокрушит... Подвох в том, что если телесные заболевания заставляют прочувствовать превосходство здоровья, каковые заболевания есть ощутимый недостаток оного, то вот недуги души, симптомом коих обычно служит преизбыток, находя мнимое удовлетворение в эксцессах, тому не способствуют («*Diligite inimicos vestros*» («Возлюбите врагов своих»)), – и только здравомыслящий – *in aliis verbis* («иначе говоря»), добродетельный – понимает собственное превосходство против разлагающей немощи безрассудства, – ибо кривое по-

³⁸ Древнеримская пословица, гласящая о том, что человеку не должно идти против своей природы (разумности); Минерва (Афина у греков) – богиня мудрости.

³⁹ Харибда – в древнегреческой мифологии морское чудовище, которое трижды в день всасывает в себя огромное количество воды, а потом с неимоверной силой выпускает ее обратно; таким образом, как то описано у Гомера, Харибда поглощала проплывавшие мимо корабли.

знается посредством прямого... Ergo, вы будете исправлять следствия, но не причины. «А что пользы рубить ветви сорных зарослей, оставляя в недрах коренья?»

Сродни Кассандре⁴⁰ будете вы изрекать роковые пророчества, которым никто не захочет верить: люди, ut regulae («как правило»), не желают исцеления, а желают только приучиться сносно существовать со своими *болячками*. Коль же возьметесь нотации читать, вам не словом, так делом, не сомневайтесь, возразят: «*Ne sutor ultra crepidam!*»⁴¹ («Да не судит башмачник выше сандалии!») Извольте, дабы указывать, как жить, есть у нас политики и клирики: первые диктуют нам послушание закону гражданскому, вторые – божьему, – «*Labora et ora*» («Трудись и молись»), – в этом и состоит, значит, людская нравственность (ибо прежде всего мы – граждане и христиане); вы ж, сеньор доктор, нам в свой черед потребны, чтобы радеть не о том, как жить и благоденство-

⁴⁰ Кассандра – согласно мифу, однажды дочь троянского царя Приама Кассандра уснула в храме; ей явился бог Аполлон и обещал научить ее искусству ясновидения, если она разделит с ним ложе. Кассандра, приняв от него дар, в остальном отказала. Тогда разгневанный бог сделал так, что никто не верил пророчествам девушки. И когда впоследствии Кассандра предсказывала падение Трои, сограждане ее не послушали.

⁴¹ «*Ne sutor ultra crepidam!* – согласно легенде, древнегреческий художник Апеллес выставлял законченные работы в открытой беседке и сам, скрываясь за картиной, выслушивал замечания зрителей. Однажды некий башмачник отметил, что на сандалии изображено одной петлей меньше должного. На следующий день, возгордившись тем, что указанное им упущение исправлено, башмачник стал критиковать изображение ноги. Тогда разгневанный художник вышел из укрытия и воскликнул: «Да не судит башмачник выше сандалии!».

вать (ведь кто ж обращается к врачу, будучи в здравии?), а о том, как не мучиться и не умереть, – поелику одно с другим (то бишь жизнь и смерть), на наш взгляд, не взаимосвязано, но напротив же – взаимоисключающе». Вот вам обывательская парадигма во всей своей узколобости – *argumentum ad populum* («аргумент к народу» – большинство всегда право). *«Homo sum et nihil humani alienum puto!»* («Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо!») – гордо провозглашают сии *самоистязатели*. Могильный памятник Сарданапала, хлопающего в ладоши⁴², – их кумир. На вас же они, поверьте, будут взирать, как на того, кто, вопреки поговорке, заводит речь о веревке в доме повешенного. И вам, клянусь собакой⁴³, придется пристальнейшим образом надзирать за своими пациентами, допрашивать с не меньшей проницательностью, какая требуется следователю, ибо нередко они будут бессовестно лгать вам в глаза, что-де всецело повинуются врачебным предписаниям, и, коли вы их, которым подавай *«Быстро, приятно, надежно»*⁴⁴, вовремя не уличите, по соб-

⁴² Могильный памятник Сарданапала, хлопающего в ладоши – в городе Анхил, основанном мифическим ассирийским царем Сарданапалом (ставшим нарицательным образцом роскоши и сластолюбия), находился могильный памятник, изображающий Сарданапала с кистями рук сходящимися в хлопок; а снизу была подпись: «<...> Ты же, путник, ешь, пей и забавляйся. Все прочее в жизни не стоит и этого [то есть шума от хлопка в ладоши]».

⁴³ Клянусь собакой – такой клятвой часто клялся Сократ, подразумевая, по всей видимости, египетского собакоголового бога Анубиса – проводника в мир мертвых.

⁴⁴ «Быстро, приятно, надежно» – девиз знаменитого древнегреческого врача

ственной нерадивости погибать. А кого станете вы винить? Их? Нет. Себя. Исключительно себя. Точно отец, не уследивший за младенцем. И никакие сентенции вроде: *«Медицинское искусство состоит из трех компонент: болезнь, больной, врач. Больной обязан противостоять болезни совместно с врачом»*, – не утешат вас... *Secundum eundem modum* («в связи с этим») вспоминается рассказ Плутарха об Эпаминонде⁴⁵, который в разгар всеобщего празднества уединенно прохаживался, хмурый и задумчивый, и, кем-то замеченный, на вопрос, что он делает в глухом одиночестве, ответил: *«Думаю. Дабы вы могли развлекаться и ни о чем не думать»*...

Между тем такому человеку, как, скажем, Катон Утический⁴⁶ – стойкому, воздержному, словом, что называется,

Асклепиада Вифинского (около 125 – 40 гг. до н. э.).

⁴⁵ Эпаминонд – военный и политический деятель древней Греции, глава Фив и Беотийского союза. Эпаминонд (410/418-362 гг. до н. э.) получил образование под руководством философа-пифагорейца Лисида и наравне с развитым умом отличался высоким моральным авторитетом. Самое значительное свершение сего полководца – «Битва при Левктрах» (сражение фиванцев против спартанцев), которая изменила стратегическое положение в Греции, навсегда подорвав военное доминирование Спарты (именно при вторжении Эпаминонда в Пелопоннес спартанские женщины впервые за 500 лет увидели близ своего города (у которого никогда не было стен, ибо спартанские мужи – его стены) огни костров вражеских лагерей (впрочем, завоевать Лакедемон Эпаминонд так и не сумел).

⁴⁶ Катон Утический – древнеримский политический деятель и философ-стоик (95-46 гг. до н. э.), отличавшийся закаленным телом, волевым характером и благородным нравом; противостоял в гражданской войне Цезарю, а когда тот разбил войска союзников, со стоическим спокойствием пронзил себя мечом в грудь

праведному – врач нужен разве что при критической ситуации; в остальных же случаях он перебарывает недуги (как правило, редкие и легкие) *sui juris* («самостоятельно»), правомерно полагаясь на мощь закаленного тела и тонкую координацию со своим организмом... Но, – *crede experto* («верьте эксперту»), – подобного, обладающего *fortitudo moralis* («нравственной доблестью»), человека, клянусь неприкосновенной бородой Эль Сида⁴⁷, днем с огнем не сыщешь, в то время как: «*Stultorum infinitus est numerus*» («Число глупцов бесконечно»).

Знать о благе и знать благо (то есть резонно направлять волю к оному) – не одно и то же. Всякий *нищий духом* сознает (ежели он вообще что-либо сознает), что при приложении некоторых усилий вполне доступно таковым не быть, – но не испытывая к сему, ввиду тех или иных факторов, деятельного побуждения (словом, ставя низшие побуждения над высшими), он и не стремится к улучшению своего пла-

(цитируя Сенеку: «Сколько в нем силы духа, сколько уверенности среди общего трепета! Ведь ему понятно: он единственный, о чьей свободе речь не идет; вопрос не в том, быть ли Катону свободным, а в том, жить ли ему среди свободных».)

⁴⁷ Эль Сид (или Сид Кампеадор) – кастильский военный и политический деятель времен Реконквисты (отвоевание земель на Пиренейском полуострове у арабских захватчиков – мавров), герой испанских народных преданий, поэм, романсов, знаменитейшим литературным памятником из которых является «Песнь о моем Сиде». Эль Сидом («Господином») Родриго Диаса де Вивара (1048-1099 гг.) прозвали мавры, над которыми он одержал ряд побед, тогда как соотечественники именовали его Кампеадором («Победителем»). В то время среди военных бытовал обычай в шутку или издевку дергать друг друга за бороду, но борода великого Эль Сида оставалась неприкосновенной.

чевного положения (только-то, коль казус не вконец безнадежен, бесперечь себе каркает: cras-cras! («завтра, завтра!»)) То бишь: «*Video meliora proboque, deteriora sequor*» («Вижу лучший путь, худшему следую»). Как неразумному дитя маленький, но близлежащий предмет кажется больше, нежели предмет крупный, но отдаленный, так типичные представители человечества чаще всего принимают за вящие блага те, что являются сиюминутными: «*Лучше синица в руках, чем журавль в небе*», – aeterna veritas («вечная истина»).

Доктор тяжело вздохнул и, неотрывно глядя мне в глаза, заговорил строже, но, – чувствовал я, – притом задушевнее:

– Послушайте меня, Деон. Вы сумеете подать людям жизнь, но не сумеете подать им добрую жизнь. Вы сумеете поднять их на ноги, но не сумеете приучить твердо на них держаться; не сумеете придать их согбенным, искривленным осанкам благородного достоинства; не сумеете искоренить полипы недомыслия и лишаи развращенности; не сумеете снять бельма с незрячих очей. Вы будете оказывать благодеяния, а взамен получать прискорбную неблагодарность. Ваши добродетельные стремления расшибуются о толщи людского невежества, рассеются пред засильем привычек, увязнут в загустелой порочности, как тараны увязают в набитых мякиной мешках. Ваша сила обернется вашим бессилием. Ваша гордость пребудет вашим унижением. Ибо поприще врачей сродни ратному поприщу странствующих рыцарей: «*Помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания,*

a ne ix мерзости». Вот сужденный вам путь. Приготовьтесь к нему... или отступитесь, пока не поздно.

– Я готов, – самоотверженно отвечал я. – Пусть будет так, как вы говорите, – для меня значимо одно: избранный мною путь – путь добра.

– «*Virtus non territa monstris*» («Доблесть, не уstraшенная чудовищами») ... В том-то вся ваша проблема, Деон... – с печальной теплотой улыбнулся доктор Альтиат, и доселе пронзающе-стальной взор его заметно смягчился. – Вы по темпераменту своему более поэт, нежели ученый, – мыслите столь возвышенно-примитивными – *мифическими* – категориями, как *bonum et malum* («добро и зло»). Но ни добра, ни зла (кои суть ноумены⁴⁸ – *фантазии*) в природе не существует (*sub specie aeternitatis* («в виду вечности»)). Природа внеморальна. Черный цвет – не более как лишенный света белый. И день и ночь равно необходимы для мирового порядка. А жизнь и смерть безраздельны для всего сущего в круговороте бытия непрерывном, – ибо покуда бессмертна смерть, бессмертна и жизнь. «*Natura non contristatur*» («Природа не страдает»). Все живет для смерти и умирает для жизни. Травоядные служат пищей хищникам, но хищники между тем (зачастую, надобно отметить, устраняя именно самые слабые – старые и больные – особи) благотворно контролируют по-

⁴⁸ Ноумен – то, что исключительно умозрительно (то есть существует как чистая идея), в отличие от феномена – того, что постигается чувством (то есть существует как физический предмет или явление).

пуляцию травоядных, поскольку, где нет меры – там избыток закономерно перерастает в недостаток, – соответственно сему механизму выживания так же и численность хищников должна быть пропорциональна количеству потенциального пропитания, а стало быть, напрямую от него зависит; охотники и жертвы неразрывно связаны – непременно друг другу: кровные враги и верные соратники, – вымирание одних фатально вымиранию других. Таков рациональный эквilibrium⁴⁹ мироздания, исключаящий идеи жестокости и милосердия, честности и лжи, допустимого и недопустимого, et cetera, – выставив взамен один всеобъемлющий и неопровержимый аргумент *omni denudatum ornamento* («без всяких прикрас»): *Естественность*... Как гласит гиппократов афоризм: «*Природа достаточна во всем для всех*». Но мы же «Люди» – «*Summum Genus*» («Высший Род»); мы отвергли целокупный закон природы, заменив его несметным множеством переменчивых установлений рассудка – моральных и социальных – и *eo ipso* («тем самым») подпали под зависимость веры. Мы собственноручно выковали свою натуру, как кузнец кует мечи и орала. Наш дух – наше руководящее начало – разум. Наша жизнь – наука – искусство. Мы суть *res cogitans* («вещь мыслящая»). И для нас, как сказано Сократом, есть одно только благо – знание и одно только зло – невежество. А посему, по определению Спинозы, деятельность, согласная законам человеческой природы, зовется добродетелью.

⁴⁹ Эквilibrium – равновесие, баланс.

тельно... Избранный вами путь – путь добра, возглашаете вы. Положим. Но к добру он вас не приведет, как и всякая внешняя тропа; к добру ведет лишь внутренний путь личностного самоисцеления – *natura medicatrix* («естественное исцеление») – от той духовной патологии, коя внедряется в нас с первыми ростками сознания (с первой улыбкой), тому сродно, как в жизни исконно заложен зародыш смерти... Однако ж, Деон: «*Quae vero ignis non sanat, insanabilia reputari oportet*» («Что не исцеляет огонь, следует считать неисцелимым»); не мне вас разубеждать, коли некогда я не решился разуверить самого себя. «*Alea iacta est*» («жребий брошен»). Следуйте намеченным курсом, ежели истинно веруете, что он вам предназначен, дабы, как писано в моей настольной библии, «искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными превратностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет»; только остерегайтесь, чтоб вас не занесло в такие пучины, откуда вы уже не сумеете выплыть, где среди бушующей тьмы потеряете самое себя... Твердо помните: как вам не воскресить мертвого, не возродить вам и того, кто, не научившись жить, привык умирать; неминуемая смерть и подлинная жизнь вне вашей власти – в вашей власти единственно ваша сознательность и долг, который вы блюдете. «*Мера величия человека – добродетель, а не успех*»... Так будьте же подобны тому искусному родосскому кормчему, в шторм прокричавшему: «*Посейдон! Иначе как на верном пути ты этот корабль не потопишь!*»

На том завершился наш первый и последний откровенный разговор. Чем старше и опытнее я становился, чем обстоятельнее узнавал общество и самого себя, тем чаще вспоминал слова наставника и тем явственнее усваивал их жестокий, но справедливый завет.

«Я надеялся по мере сил своих делать добро – это было самой прекрасной, самой безумной моей мечтою».

С годами, когда врачебная практика моя шла полным ходом, я, занимаясь лечением пациента, зачастую стал ловить себя на мысли: «Правильно ли я поступаю, продлевая сию безнадежно жалкую участь? Разве не лучше б для него как можно скорее променять свое полное страданий и треволнений небытие на небытие вековечного покоя? Разве не легче стало бы его близким, ежели бы с них спало это тягостное бремя?» В бытность свою лицеистом я и вообразить не мог, что мыслимо задаваться такими *кощунственными* вопросами. Но с той наивной поры я многое изведal. Наблюдая мучимых летальным недугом, с последних сил хватющихся за соломинку существования и обреченных вот-вот сорваться в пропасть бесчувствия, я сокрушался над их бессмысленной агонией, служащей наглядным отображением моей немощи... Я опустошенно негодовал, когда лицезрел, как людей, которых ничему не научила жизнь, ничему не учит и смерть, каковой они принадлежат уже почти безраздельно... Врачуя пропащего пьяницу, по чьей вине семья терпит тяжкие лишения и сносит уничижающий позор, иль возвращая

крепость разнузданному буяну, бесперечь затевающему мордобои в кабаках, а дома колотящему жену и губящему психику своих малых детей, иль затягивая срок правления «домашнего деспота», что использует болезнь свою как наостренный наконечник той указки, которой нещадно тиранит родню и челядь, с ним под одной кровлей проживающих, я ужасался, что мой долг, – и долг не столько профессиональный, сколько этический, – понуждает меня сохранять такие вот паскудные жизни – людей по имени – нелюдей по нраву – вместо того чтобы оставить их угасать или вовсе (я не желаю таиться от вас) самолично затушить чадящий жар их существования... во имя высшей справедливости... Но пусть даже в сих доводах рассудка заключалась некая сверхморальная сила – у меня не хватало духу ее принять... Ибо я постиг: злых людей нет – есть только заблудшие, измученные, несчастные, обезумевшие... словом, больные... неизлечимо больные...

Так я и стал исподволь вникать в самую суть грозных предварений доктора Альтиата. «Вперед! *Igni et ferro!* («Огнем и железом!») Боритесь с ветряными мельницами!» – крепко пожимая мне руку, сказал он, сей *рыцарь печального образа*, в день моего выпуска из лица, когда я наконец дал «Клятву Гиппократата»... Не к здоровой и счастливой жизни возвращал я подавляюще, но к злосчастному прозябанию, к тяготам голодной бедности или же пресыщенной роскоши, гнету подъяремного труда или же оголтелой праздности, пароксизмам страстей, глухоте скудоумия, слепоте са-

мообмана. Не искру надежды воскрешал я в людях, но тьму безысходности; избавляя их от страха небытия, я вновь вверял им бытия страхи... И даже... даже леча детей, я, точно помешанный, случалось, терзался думой садняще-неотвязной: «Что ждет их? Достойная жизнь или ничтожное, постыдное, может, преступное существование, погибели достойное? Что творю, не ведая исхода? Как смею посягать на неисповедимую волю фатума?.. Но как осмелюсь не противостать *злomu року*, покуда то в моих возможностях? покуда здрав разум? покуда вера жива?»

Потеряв пациента, я уже не мог, как встарь, пролить жгучих слез облегчения, но преисполнялся мутного мрака, среди коего вспыхнувшие чувства меркли в онемелой пустоте, отмирали в гробовой стуже... И все-таки не мог я сдерживать слез, когда созерцал, как молодой муж нежным поцелуем касается лба очнувшейся от горячки супруги; когда созерцал, как отец и мать обнимают свою преодолевшую кризис болезни юную дочь и в ликующем восторге не помнят самое себя, – я не мог сдерживать очистительных слез отрады, взирая на сии моменты человеческого счастья, позабывши в экзальтации своей, теплотворной волною нахлынувшей, об их зыбкости... об их обреченности... И, ослепленный блеском иллюзий, я уверялся сердцем воспрянувшим, что истинно следую *путем добра*... Но проходил лишь краткий срок, как сомнения опять окутывали скорбным саваном мнимо прозревшую душу, наглухо застилая просвет, в нее едва пробивший-

ся. Миновали месяцы, и я узнавал, что тот человек, столь недавно рыдавший над беспамятной супругой, орошавший ее пылающую длань слезами любви и поцелуями вечной верности, и, казалось, норотивший испустить дух сей же миг, как ее не станет, тот самый человек, невзначай сошедшись с некоей блудницей, в исступленной одури бросил свою давеча забеременевшую жену на произвол судьбы... и она покончила с собой, дабы, как ею сказано в предсмертной записке, *«уберечь свое дитя»*... А та девушка, за которую во время ее затяжной болезни так отчаянно переживали родители и выздоровление которой для них, почитавших жизнь дочери смыслом своего существования, служило эпитомией благополучия, та самая девушка, не минуло и полугода, связалась с дурной, беспутной компанией и из отчего благословения обратилась отчим проклятием, сведя родителей своих одного за другим в могилу, а следом – себя...

«Врач созерцает ужасные вещи, соприкасается с отвратительным и через чужие страдания пожинает личные горести», – такова преамбула одного из трактатов *«Corpus Hippocraticum»* («Гиппократова Корпуса»), снова и снова в моем уме прорезавшаяся...

В юности мне чудилось, что я буду спасать многих, но с годами я убедился, что не могу никого спасти. Моя миссия воплощала *«парадокс тевмесской лисицы»*⁵⁰. «Как исце-

⁵⁰ Тевмесская лисица – согласно древнегреческому мифу, чудовищная неуловимая лисица, которую наслал разгневанный бог Дионис, дабы та опустошала

лить даже одного, когда необходимо исцелить всех до единого, чтобы раз-навсегда нейтрализовать пагубу человечества – нечеловечность?» – почасту скорбел я бессонными ночами наедине с собственной сокрушенностью – в лихорадочных объятиях меланхолии. Провидческие слова доктора Альтиата денно и нощно довлели надо мною, и я замечал, как сам становлюсь ему подобным: как черные споры скепсиса всё неистребимей расползаются у меня в душе, смурой тенью отягчается мое лицо, блекнет взор, увядают силы и сухостью проникается речь, – как я, обуреваемый вихрями бытийного ненастья, отрываюсь от людей и неудержимо несусь в дремучие дебри себя...

фиванские земли, и которую можно было умиловить, только жертвуя ей каждый месяц младенца. И вот однажды из Афин в Фивы прибыл доблестный муж по имени Кефал. Амфитрион, царь Фив, узнал, что у того есть охотничий пес по кличке Лелап, божественной волей наделенный способностью никогда не упускать свою жертву. Узрев в этом шанс на спасение от неуловимой лисицы, Амфитрион попросил Кефала натравить на нее своего чудесного пса. Таким образом возник парадокс, вызвавший горячие споры среди небожителей. В конце концов, не придумав ничего лучшего, раздосадованный Зевс превратил и лисицу и пса в каменные изваяния. Отсюда «Парадокс тевмесской лисицы» – фатальная невозможность окончательно достичь цели при всем возможном старании.

IV

– Но вам явился ясный лик Весны... – произнес Себастиан, мило в глаза мне глядя.

– Да... – молвил я на почти бесшумном выдохе, ощущая, как губы распускаются улыбкой. – Астри – моя супруга.

– Красивое имя... – задумчиво прошептал Себастиан.

– Да... – вновь выдохнул я, и улыбающиеся губы мои закололо дрожью, от сердца восходящей. – Когда мы полюбили друг друга, это имя было для меня не только неизъяснимо прекрасным – сакраментальным; я свято лелеял его в своих сокровенных мыслях и не решался произнести всуе, но единственно обращаясь к той, кому оно принадлежит...

– Было? – переспросил Себастиан, в меня всмотревшись.

Я молча опустил голову, собираясь с духом объясниться.

– Вынужден признаться вам, – продолжил вполголоса (поскольку говорить в обычном тоне не хватало дыхания), – как сумел признаться самому себе, что ныне наша любовь... стала иной... Не подумайте, будто я в чем-то виню Астру... как не должен обвинять и себя... Это... это всечеловеческая проблема. Губительное несовершенство общественной среды и конвенций построения взаимоотношений... Не было никакого разочарования, никаких серьезных ссор или обид, кои служат закономерным уделом неразборчивых браков. Ничего такого я, искренно любящий и уважающий свою же-

ну, всецело доверяющий ей, и помыслить не смею; соответственно, между нами не отыщется и следа явных или затаенных упреков, лжи, сомнений, презрения. Мы несказанно дороги друг другу. Крепчайшие струны нашего союза знаменует нежная гармония. Однако... проявился едва уловимый и тем не менее непреложный диссонанс... некая обертонная отчужденность... Я люблю Астру всем сердцем, но... святотатственно так говорить... но когда любовь становится данностью, когда она нисходит с эфира на землю... когда любовь приобщается... – произнесение следующего слова потребовало от меня абиссального вдоха – густого и холодного, – обыденности... возвышенной, благой, но все же обыденности... она утрачивает свою первоначальную определенность, каковую нельзя ни осмыслить, ни выразить речью подавно. Это, пожалуй, сравнимо с тем, если бы человек, преодолев невероятное расстояние, очутился на Луне и обозрел ее такой, какая она есть без волшебного сияния, коим Солнце ее озлащает и кое возможно созерцать только на отдалении, – безусловно восхитительную и необыкновенную, но лишенную былой мистической ауры. Примерно то же происходит с возлюбленными: чем они ближе, чем уверенней и откровеннее их отношения, тем меньше в оных фантазийной мечтательности и наивной непорочности, тем меньше совершенной вдохновенности... Повторюсь, это не плохо само по себе. Это естественно (как взросление). Неизбежно... Но чем сильнее предчувствуешь полноту счастья,

тем сильнее исполняешься скорби от невозможности того, что сулит чувство... И тогда неотвратимо обнаруживается... не разочарование, как я уже сказал, а именно некая отчужденность... Ибо, познав несбыточность мечты, прекращаешь мечтать... остаешься один на один с собственной действительностью...

Я умолк на несколько секунд, испытывая, как озноб недосказанности мой дух пробирает; засим молвил:

– Языку сердца не свойственна краткость. Изреченные мысли значительно теряют в своем эмоционально-смысловом диапазоне, и то, что оглашает чувства столь полнозвучно, столь затруднительно передать словесно, – сходным образом бывает непросто напеть витиеватую мелодию, которая с виртуозной выразительностью играет в голове... Вышесказанного мною недостаточно. Оно наверняка (я чувствую это) окажется искаженно воспринято вами. Мне необходимо начать сызнова, дабы, сколь это в моих способностях, постараться дать верный свет своему темному изложению.

Себастиан смотрел на меня с глубоким пониманием. Я продолжил:

– По всей вероятности, мы сами являемся своим истоком любви, а наши возлюбленные не порождают в нас какие-либо высокие чувства, но оплодотворяют те, что уже посеяны нами. В самом деле, немислимо, чтобы дюжинные люди познали истинную любовь, всю безбрежность которой не вместить их хилым грудям, как водоему не вместить моря, – уде-

лом им может быть лишь страсть, обреченная на скорое отмирание уже в самом своем зачатке (если гниют корни, загнивают побеги). Равно как непозволительно допустить, что человек возвышенной природы найдет убожество в низменном вожделии, лишенном подлинных чувств. Недаром древние афиняне почитали двух Афродит – Небесную (Уранию) и Всенародную (Пандемос), или как ее еще называли – Пошлую. Первая из богинь покровительствует тем избранникам, чьи окрыленные души, соприкоснувшись, сочетаются в органичном единстве («одна душа в двух телах»), в кратчайший срок становясь друг другу ближе, чем кто-либо еще на этом свете, словно бы им посредует некая древняя память, таимая в *secretum secretorum* («тайная тайных») подсознания. Вторая же богиня распространяет свою власть без разбора, поскольку стремление любить и быть любимым заложено в каждом из людей; и пусть стремление сие не есть инстинктивная насущность животных к продолжению рода, потому как ему сопутствует мечта о счастье взаимной близости, но все-таки оно не причастно нетленному Абсолюту, – и лишь только гроздь любви сорвана, она начинает скисать... Наша с Астрой любовь, – неколебимо верю, – освещена благословением Афродиты-Урании...

Мы познакомились три года назад, когда я взялся следить за шатким здоровьем отца Астры (именитого пианиста и композитора), периодически навещаясь к ним в дом, и при первой же встрече прониклись неведомым, бесподоб-

ным чувством родственной соприсущности, таинственными узами нас соединившим. Я точно позабыл, кто я есть, и стал тем, кем созерцала меня Астри: хмурость лица развеялась, оттаяла строгость черт, залучился взгляд, – ибо в душе моей взошла утренняя звезда – Венера... Это было некое все- сильное вдохновение: просветляющее, обращающее мысли вспять, воспаривший дух истинно детской – *эфирной* – радостью насыщая... Реальность стала походить на *фантазию*. И жизнь овладела мною с той властной неуловимостью, с какой утешенное сердце предается сладостному сну... Астри – очаровательная и вдумчивая, умная и чувствительная, спокойная и веселая, талантливая и скромная – *удивительно прекрасная* – представлялась мне олицетворенным идеалом – сверхъестественным созданием – ангелом, с небес сошедшим... Я ничуть не задумывался о том, что влюблен, я только чувствовал, что *люблю* – полно и беззаветно; ибо когда воцаряется Любовь, рассудок благоговейно склоняется перед Нею, ибо Любовь – Богиня и, как всякое божество, Она живет верой... То же самое свершалось в Астре (иначе быть не могло). Отец девушки, в свой черед, не остался слеп к внешнему преобразению дочери, смекнув, что я продолжаю часто проводить его, уже вполне окрепшего, ради Астры. Этот добрый человек, много лет как овдовевший, счел меня достойным перенять священную опеку над своим прелестным дитя, а посему в мои визиты либо усаживался музицировать за пианино, либо находил различные поводы для отлучки,

намеренно устраивая все так, чтобы мы с Астрой подольше оставались наедине... Сидя рядышком в гостиной близ уютно шепчущего камина, пока за окном благостно реял снег, с чарующей непосредственностью беседовали мы обо всем, что было дорого нам, обо всем, что определяло наш духовный облик, ежечасно различая новые и новые созвучия в мотиве тождественного влечения; и только об одном мы даже не помышляли заводить речь – о наших чувствах, о нашем счастье, о нашей любви, – сие была настолько самоочевидная истина, обсуждать которую оказалось бы равносильным обсуждению факта, что мы дышим (а оттого по временам, слившись взорами – *наяву грезя* – мы подолгу молчали – *вместе*)... Так наши дружные, умильные беседы утвердили у нас в умах то, что с самого начала неизреченно утвердилось в душах: *мы созданы друг для друга...*

По прошествии трех месяцев от первой встречи, не испросив у Астры изустного согласия, но уверенно располагая взаимностью чувств, я обратился к ее отцу с просьбой руки и сердца его единственной дочери. Он растроганно обнял меня, прослезился и нарек сыном. Я был счастлив. Я не мог поверить своему счастью... Но... но то что, приняв *социальные обязательства*, я получил твердый залог его воплощения... Как бы охарактеризовать это?.. Сей залог словно бы материализовал неисповедимость нашего с Астрой блаженства, сделал оное осязаемым... осязаемым и уязвимым... С того дня все пошло иначе. Любовь утратила свою непостижимую без-

раздельность, свою неземную беспредельность... внешний мир примешался к ней... Объявление помолвки, знакомство семейств, поздравления друзей и близких, свадьба, – казалось, что множество лишних людей под благовидным предлогом восторженно вторгаются в *лишь для нас* сотворенные Сады Эдема и хлопотливо топчут столь же хрупкие, сколь и неповторимые цветы, в нем распустившиеся, спроста угощают нас, невинных, терпкими плодами познаний, беззастенчиво обрывая их с древа нашего счастья... Вся эта чуждая суэта... И вот, вынужденные перестать быть самими собою, – ибо сие вне заповедного оазиса нашей *Фантазии* стало нереально, – мы растерянно начали играть «образцовые роли» жениха и невесты, мужа и жены. Мы будто утрачивали покровительство Афродиты-Урании, подпадая под влияние ее приземленной ипостаси. Наша семейная жизнь слагалась замечательно, но неминуемо потускнела та небесная благодать, коя озаряла наши любящие души...

Я вновь смолк и вновь испытал, как приступ недосказанности пронимает меня; тогда я решил, что следует попробовать сменить *ракурс обзора*, и, руководствуясь сей интенцией, возобновил свою речь:

– Вам определенно известны стереотипные образчики любовной лирики, но, полагаю, вы остались убережены от знакомства с вульгарно-романтическими песенками, кои наш век плодит в каком-то диком переизбытке и кои более чем оправдывают знаменитую реплику: «*Глупость, кото-*

рую нельзя сказать, можно пропеть»; отнюдь неутешительно даже, что забываются они под стать той скоропостижности, с какой нарождаются («*quod cito fit, cito perit*» («что скоро делается, то скоро уничтожается»)), – ведь как раз таков основной фактор паразитизма: мизерность компенсируется количеством. Нет и не может быть никаких сомнений, что подобные творения – гимны Пошлой Афродите – искажают и извращают священный эйдос⁵¹ Любви, кощунственно обсыпая его тем прахом, из которого восходят помыслы и эмоции их сочинителей. Легкомысленно и превратно (а чаще всего бездарно к сему же) облекая фантазию любви в материю поэтической формы, они тем самым делают ее прозаичной, тривиальной, плоской, грубой, низводят с горних высей на брэнную землю, – аналогично тому, как божества древних бардов представляли слушателям во плоти, подверженные дольным порокам и обольщениям... Суть в том, что люди зачастую не разграничивают взаимоисключающие понятия, безрассудно почитают одно за иное – с непредумышленной предумышленностью совершают *ignoratio elenchi* («подмена тезиса»). Не имея знания Любви, но заручившись надуманным о ней

⁵¹ Эйдос – прообраз, идея (форма, сущность, замысел, цель). В философии Платона эйдосы – умопостигаемые объекты трансцендентного (сверхчувственного – нетленного – небесного – божественного) мира, представляющие собой идеальные идеи (или прообразы) предметов материального мира, служащего лишь смутным отражением первого – его низшей, преходящей проекцией, в которой ничто не истинно (то есть – устойчиво и самотождественно), но все пребывает в непрерывном изменении: зарождении, становлении, гибели.

мнением, почерпнутым из заурядного опыта страсти, они нарекают свои вожеления чувствами, свою увлеченность – вдохновенностью, свое исступление – зовом сердца; будучи не более как влюбленными, стгоряча провозглашают себя *любящими*, хотя, по правде, и не способны любить, ибо слишком тщедушны, слишком мелки и ограничены для столь великого блага – столь возвышенного искусства (сродни ремесленникам, что наспех малюют убогие копии бессмертных шедевров). Пораженные внезапной вспышкой, они подстрекают свои эмоции, насильно доводя себя до экстаза, но как только испаряется затемнение, как только возвращается ясность ума, рассеиваются и фантомы чувств. Они тшчатся верить своим безумным придумкам, тшчатся уверить других, но горечь разочарования заведомо поднимается со дна прожавелой чаши хмельных грез, отравляя то, что, будь оно подлинно тем, чем его почитают, оказалось бы недоступным порче.

Любовь преисполняет мышление безупречной трезвости, а не опьяняет необузданным пылом; ласкает душу умиротворением, а не душит сумасбродной неумемностью; поселяет в сердце благодатную уверенность, а не кровососушую ревность; не лихорадит тело, но словно высвобождает из него, не содрогает твердь под ногами, но словно возносит над нею, даруя несравненное ощущение физической невесомости и внутренней свободы... Любовь не есть банальная страсть, не есть томительно-упоительное влечение, не есть простая

эмоциональная потребность, а *нечто* несоизмеримо вящее – *фантастически реальное* – *сверхъестественно человеческое*... *нечто*, что немислимо описать словами... *нечто*, постижимое лишь совершенной верой... *Нечто Божественное*...

Очи Себастиана мерцали переливчатым блистанием, пламени свечей подобно, и на устах лежал прозрачный отсвет растроганной улыбки. Я продолжал:

– Понятно, что, не ведая идеала истинной Любви – сего парагона⁵² всех благ и добродетелей души человека, но повсеместно наблюдая ее тленные инкарнации – дефективные суррогаты, люди ищут не то, что воображают найти и, находя, обретают не желанное блаженство, но муки фрустрации. Именно из данного симптоматичного недоразумения происходят нападки на якобы двуликое естество любви, что, с одной стороны, сулит все прелести счастья, а с другой, налагает проклятие агонизирующей тоски и злобы безразличия. Если бы те, кто заявляют подобное, познали (были бы *способны познать*) непогрешимость Любви, то не стали бы понапрасну клясть тот эфемерный мираж, каковой представлялся воспаленному сознанию животворящим родником, утоляющим жажду духа, а оказывается, когда к нему припадаешь, сухим песком, на зубах скрипящим, что горьким комом в груди оседает.

Так, уразумев неисполнимость любви (точнее неиспол-

⁵² Парагон – образец совершенства.

нимость влюбленности претвориться любовью, – поскольку быть рядом и быть *вместе* – далеко не одно и то же), люди начинают ненавидеть. Ослепительная вера обращается глухим неверием, яркий жар чувств – стылым пеплом бесчувствия, взаимное притяжение – ответным отторжением, лепет – криками, поцелуи – плевками, объятия – рукоприкладством. Ложное царствие любви и упований становится сущим террором вражды и страха. Люди бесперечь предают друг друга, истязают, унижают, сводят с ума, убивают. Каждый винит иного, но никто не осудит самое себя, – ведь всякий сугубо в себе видит коварно обманутую жертву... Дело же в том, что, вступая в близкие отношения, люди помышляют только о прельстительных выгодах, какие те сулят, но вовсе не задумываются о серьезной ответственности – о *долге*, который они налагают... ибо сей долг есть все тот же *долг человечности* – долг малопонятный, а посему малозначащий в среде людской...

Но чего жаждет человеческое сердце? Оно жаждет целостности. Покуда человек не отыщет свою «вторую половину», он одинок и потерян в духоте народной суеты, где все ему чужие, и он всем чужой. Пусть он окажется князем мира, извечно окруженным бесчисленной свитой льстецов, в чьих душах столько же искренней привязанности, сколько благородства в помыслах, – он будет сходен Дедалу⁵³, окруженному

⁵³ Дедал – согласно древнегреческой мифологии, легендарный изобретатель, инженер, архитектор, скульптор, художник и кузнец, создавший множество

оживающими статуями; он даже может забываться, мистификацией обольщенный, верить, что посторонние воистину его видят, слышат, понимают, но косвенная, а вместе неотвязная дума о кошмарном одиночестве не прекратит неусыпно преследовать его, сродни неумолимой Эринии⁵⁴, – то являясь в самой гуще толпы, то в задумчивой тиши, то на дне бокала, то на ночном ложе... И только светозарная связь с родственной душой способна вывести из беспросветного лабиринта сего наваждения...

До Астры я ощущал себя именно таким – расколотым, неполноценным. Несмотря на многочисленные знакомства и пару хороших друзей, несмотря на активную занятость и заслуженный авторитет, несмотря на здоровье, несмотря на достаток, несмотря на все *блага земные*... уныние от личностной затерянности, от духовной сироты, от невозможности облагодетельствовать родимого человека сакральным теплом любви и обоюдно принять тождественную благодать, омрачало мое существование длинной тенью меланхолии... Когда делаешь что-то – пусть нечто важное, пусть, пожалуй, даже великое – без путеводной мысли о любимом человеке, без вездесущего соприсутствия в душе родственного образа, то всё, – стоит ненароком угодить в ловушку рефлекс-

различных инструментов, произведений искусства и построивший знаменитый Кносский лабиринт. Великолепные статуи, сконструированные Дедалом, могли двигаться и казались живыми.

⁵⁴ Эринии – древнегреческие богини мести, олицетворение мук совести; преследовали виновных, избегших наказания, и истязали души нечестивцев в Аиде.

сии, – кажется пустым, ничтожным, напрасным. Я мог сколько угодно взывать к собственному достоинству, дававшему мне силы оставаться верным себе, к собственной значимости, вменявшей мне следовать принятому долгу, но глас мой, отразившись дрогнувшим эхом, смолкал среди глухих потемок святилища души, и лишь едино-горящая лампада надежды хранила меня от того, чтобы впасть в транс отчаянного самозабвения, каковой либо перерождает самую суть человека, либо влагает в него *ключ черного исхода*... Конечно, немало таких, кто находит стимул не замечать быструю, но тягостную череду сменяющихся восходов и закатов, с головой нырнувши в бурную деятельность, перемежающуюся отдышками праздности. Но я иной: с юных лет я предуготовлял себя к жизни, а потому не желал мириться с существованием. Жить же для меня значило: соразделять все чувства и эмоции, все мысли и впечатления, покой и радость, заботы и печали с любимым человеком – неделимо близким, в котором при индивидуальной самобытности вдоволь душевного простора для союзного единообразия... И лишь я узнал Астру, уверился в редкостной беспорочности ее натуры и тончайшей гармоничности наших характеров, как тотчас признал в обращенных на меня очах, зарею пробуждения блестящих, знамение Судьбы...

Я не ошибся в супруге... но ошибся в себе. Я полагал, что, сподобившись счастья, сумею его оберечь... я заблуждался. Сохранить в первозданности допустимо только то, что

неприкосновенно, только то, что изолированно от тлетворных миазмов, витающих в социуме, – когда любовь есть таинство, ведомое лишь двоим, к нему причащенным, и ни на миг не нарушаемое суетой извне. Чтобы жить, необходимо дистанцироваться от существования. Ибо жить – *жить по настоящему* – возможно исключительно в себе и в тех, кто нас взаимодополняет. Но в таком случае мне с Астрой надлежало искать тихой гавани на необитаемом краю света, немедленно порвать все связи и обязательства с прошлым, дабы всецело принадлежать настоящему – всецело принадлежать друг другу – всецело *нам*... Не стану говорить за Астру, достаточно сказать по поводу меня: я не смел себе этого позволить, не смел решиться на подобный шаг. Я избрал свой путь, и ничто не могло бы вынудить меня сойти с него... даже собственное счастье, счастьем Астры единосущное... И дело тут вовсе не в малодушном страхе предать самого себя, поправ персональные принципы, – напротив же, я вижу больше эгоизма в том, что остался на своем месте, нежели если бы его покинул в чаянии обеспечить надежное благо той, чье благо должно быть для меня превыше всего. Нет, я не отклонился с поставленного курса, преследуя *белого кита одержимости*, потому, что не мог иначе, свято преданный своей миссии. Ибо то свойственно человеку – страдать за людей, и питать жалость к тем, кто водружает крест его мучений. Ибо вера, что он способен преобразить мир к лучшему, никогда не затухает в человеке. Он знает, что один он слаб,

но также знает, что есть и другие, ему родственные; и если каждый, сдавшись отчаянью или благоденствию отдавшись, сложит свой стяг, оставит поле вечной брани за светлое будущее, то те добрые намерения, коими он предводительствовал, беспорядочно рассеются и падут. Ведь коль даже человек не испытывает ответственность за многих, обязан испытывать ее за немногих – за тех, кто, пусть далек физически, но близок духовно, невзирая на житейские и этнические различия; сверх того, в не меньшей, – а верно, и в большей, – степени долженствует помнить о тех, чей час противостоять несовершенству подлунного мира еще не пробил, о тех, кто придут на смену и отважно поднимут тяжкие щиты, искони отстаивающие свободу духа...

Я сделал обильный вдох, омывающей прохладой растекшийся в груди, и, чувствуя, что наконец могу подвести ту черту, ради которой пришлось выстроить столь рапсодическую композицию, продолжил:

– Вполне предсказуемо, в то время как я служил общественному благу, мое личное благо терпело ущерб. И дело тут вовсе не в необходимости разлук: периодические расставания не то что вредны, но, по-моему, полезны, удовлетворяя свободе личности, которую нельзя сковывать даже узами сердечной привязанности, ибо без личностной свободы человек обречен утрачивать собственную индивидуальность, что в конечном итоге приведет к тому, когда пара не просто сольется воедино, но *амальгирует* настолько, что оба супру-

га почти перестанут ощущать разницу между собою, а соответственно, примутся относиться к своей второй половине с той привычной ординарностью, с какой относятся к себе, – напротив, самый близкий тебе человек должен быть самой большой для тебя загадкой, именно в силу сокровенной близости (ибо постижение любви – в ее *непостижимости*); а кроме того, без нежного сожаления прощаний не бывает чудесной услады встреч... Словом, цитируя Сервантеса: «У добрых супругов две души, но воля едина»... Преткновение заключалось в ином: я возвращался к Астре тем, кого она ждала, но не таким, каким она ожидала. Переступая порог, я не мог стряхнуть с себя прах тяжелого дня, тому подобно, как отряхивал пыль с обуви. И хотя, оказавшись среди уюта домашнего очага, постепенно оттаивал, сердце мое не прекращало зябко подрагивать... Астра бессменно восхищалась мною – моей, как она говорит, «героической самоотверженностью»; а я, в свою очередь, всегда восхищался ее пониманием и заботой; и, казалось, с каждым днем мы все ближе, все родимее, все дороже... но сие сближение и разделяло нас. Мы старались защитить друг друга, уберечь от избыточных переживаний, безмолвно терпя неизбывную тоску, что червем подтачивала сердцевину нашего союза; и из самых благих побуждений, из самой беззаветной любви мы слаженно возводили меж собою оплот отчужденности. Каждый из нас в тайне жертвовал собственной кровью во имя счастья другого, но *Счастье* приемлет лишь бескровные приноше-

ния чистосердечия... А в этом мире... в этом скорбном мире... невозможно слить осадок души... сия амфора непосильно тяжела для нас... неподъемна...

Мой голос замер на вздохе. Поникла голова. А затем я почувствовал: кисти моей коснулась рука Себастиана, – и от сего сочувственного пожатия на сердце у меня тотчас же отлегло. Я заговорил опять:

– После ваших недавних слов о неизбежной замкнутости человеческой природы, я, очевидно, стал лучше сознавать суть сей проблемы... И самое замечательное здесь, что вы не открыли для меня ничего принципиально нового, но просветили факелом истины те закоулки души, куда я не раз заглядывал, лишь смутно различая, что в полумраке крылось; или, прибегая к другой метафоре, вы распахнули клетку моего подсознания и выпустили из нее мысли, кои, сложив крылья, в ней доселе томились... И многое из того, что мною сейчас было сказано, я, – более чем уверен, – не смог бы выразить еще на рассвете... и не перед кем иным, кроме вас... Вероятно, о нечто подобном писал Платон, утверждая, что знания – это припоминания...

– Суть в том, Деон, – молвил Себастиан, легонько кивнув мне, – насколько могу судить, людям крайне непросто постичь то, что им непричастно, что выходит за рубежи их духовного опыта, – в таком случае это ничего не говорит их чувствам, и оные остаются непробудными, равно как и ментальные процессы, с ними сопряженные. Поэтому человеку

долженствует безустанно стремиться прочувствовать все релевантные аспекты окружающей яви, как бы запечатлев их эмоциональные отображения в своей душе, где из зачаточной перцепции под воздействием эмпирии и дискурсивного анализа они вызревают в полноценные убеждения (схожее и в изучении языков: существенно знать не точный перевод слова либо выражения (такового может попросту не быть), а, исходя из интуитивного тезауруса, улавливать смысл, идею – чувствовать *семантическую ауру*). Ум запоминает многое, но душа, по-видимому, ничего не забывает. И когда человек вбирает в себя новые осознания (то есть размышляет, философствует), то прозревает именно изнутри, ибо реагент истины уже заложен в разуме, бездействуя до срока, пока с ним не синтезирует соответствующая экзогенная реакция. Таким образом, складывается следующая ситуация: множество людей доживают до старчества незрелыми духовно, а закономерно – умственно; в то время как некоторые совсем еще молодые личности основательно превосходят старших в обоих сих взаимозависимых сегментах сознания, – как правило, это те юноши и девушки, которым пришлось многое выстрадать, но которые ввиду насущной склонности к рефлексии (и отсюда развитой душевной стойкости) сумели не только превозмочь гнет переживаний и тоски, но осмысленно преобразовать его натиск в силу обратного сопротивления, что, поглощая урон, закаляет дух, – сродни тому как сталь становится крепче и эластичнее от попеременного погружения в

огонь и воду.

Вы, Деон, именно такой человек. Вы – Настоящий Человек. Вашу жизнь пронизывает череда сомнений, но как раз сомнения выделяют людей как уникальный вид, и ориентируют личный путь индивида. Знание Природы – всего живого – едино и непогрешимо, ибо детерминировано актуальностью. Но человек, словно листок, сорванный бурей веков с мирового древа, не соприсущ сказанному Знанию, не сращен с ним имманентной потребностью. Он свободен в своей воле сомневаться. А сомнение есть первый шаг к истине, ибо оно – первый шаг от заблуждения. Сомнение, – в позитивном же смысле – *удивление*, – суть краеугольный камень мудрости... Впрочем, сомневаться ультимативно во всем, хотя и может показаться весьма разумным (вспомните Пиррона с его кредо, что непогрешимое знание недоступно, и как следствие – приверженность радикальной атараксии⁵⁵), сомневаться во всем все-таки не подобает, поскольку тогда человек критически ограничивает себя, будучи обращен лишь к одной стороне своей дуальной природы – рассудку, пренебрегая второй – рискованной, но могущественной силой – верой, коя суть неисчерпаемый исток творческих исканий. Дабы соблюсти баланс, должно, чтобы в каждом со-

⁵⁵ Атараксия (греч. αταραξία – «невозмутимость, хладнокровие») – термин, введенный Демокритом, а впоследствии перенятый философами скептиками (основоположником школы которых был Пиррон (360-270 гг. до н. э.)) – неколебимый душевный покой, достигаемый мудрецом посредством отрешенности от всего привходящего.

мнении лежал зародыш веры и в каждом убеждении – зародыш скепсиса. Верить – не значит не сомневаться. Верить – значит быть уверенным при сомнениях. Шторм волнует поверхность моря, но глубины его пребывают в покое.

И вы, Деон, неустрашимо верны себе вопреки полчищам неразрешимых дилемм, осаждающим твердыню вашей души. Вы подобны тому человеку из древней притчи, который обнаружил на побережье еле живого пирата, чудом уцелевшего после кораблекрушения, приютил его в своей хижине и выходил; люди порицали сей поступок, ратуя, что разбойник заслуживал гибели; спаситель же отвечал им: *«Я сделал это не ради человека, но ради человечности»*. Притчу сию поведал мне Лаэсий, однажды, когда речь у нас зашла о докторе Альтиате. Поэтому вы совершенно правы, считая, что при наружной строгости доктор питал к вам глубокое сочувствие: он распознал в вас родственную душу и желал удостовериться, сумеете ли вы преодолеть предстоящие испытания, хотел предостеречь, смахнувши с ресниц ваших пыльцу юношеских грез. Всякий раз с уважением и отчей озабоченностью рассказывал мне о вас доктор Альтиат, проча, что вы станете выдающимся врачом, но, исцеляя других, все пуще будете усугублять собственную хроническую болезнь – человечность.

Доспех вашего духа прочен, Деон; однако в нем по самому центру зияет брешь – отметина доблести – чрез кою вы вдыхаете веяния мира, будь они исполнены витальной све-

жести иль удушливой гари. *«Дела добродетели невозможно свершать, не страдая или не наслаждаясь. Срединного пути нет. Ибо добродетель проявляется в движениях чувств...»* Вы обречены страдать, но, несомненно, в своих страданиях обретаєте утешение – благу ю мощь, дабы им противостоять, – так яд служит основой противоядию. Ваша человечность неумно знобит вас, но в то же время поддерживает чувство жизни, ибо именно в ней зиждется весь смысл и вся воля подлинно разумного бытия, – ибо именно человечность – цель его – его альфа и его омега.

Никогда, несмотря ни на что, не роняйте веры в свою человечность – в свой личностный долг – веры в себя, поскольку то равносильно отречению от добродетели; добродетель, процветая в человеческой душе, делает ее актуально благой и потенциально счастливой, – живем же мы не чем иным, как душою, – значит, только по воле добродетели благой и счастливой может стать наша жизнь и только по вине пороков ее постигает обратная участь. Ибо искусство добродетели – наука разумности – суть природа человека – логос⁵⁶ его бытия. *«Следовательно, для человека соблюдение личного долга – это всеобщее и единственное условие достой-*

⁵⁶ Логос (греч. λόγος) – очень сложное греческое слово, имеющее множество значений, поскольку, будучи важнейшим философским и теологическим термином эпох античности и средневековья, обросло большим количеством семантических аспектов. Прежде всего логос – это слово, речь, смысл, суждение, понятие, суть (начало/причина/принцип), отношение; затем логос – это человеческий разум, а отсюда – Логос – Верховный Разум – Бог.

ности быть счастливым, а эта достоинство есть то же самое, что соблюдение личного долга»...

Древнекитайский мыслитель Кун Цю, более известный по своему латинскому прозвищу как Конфуций, учил, что только тот, кто человечен («Жэнь»)⁵⁷, способен любить людей и только тот, кто человечен, способен их презирать; при всей кажущейся разноречивости данного утверждения в нем заключена монолитная истина, так как лишь тот, кому собственное благонравие позволяет любить – созерцать и восхищаться прекрасным духовным обликом человека, лишь того оно правомерно вынуждает презирать людей, чьи смурные души любви недостойны, – ибо суть презрения не в том, чтобы ненавидеть человека за то, кто он есть, но в том, чтобы жалеть его за то, кем он не сумел стать. Ergo, презрение не противоречит гуманности, но исходит из нее: оно – своего рода острая форма жалости, вызванная невозможностью оставаться безразличным (говоря иначе, презрение – *изнанка* любви); просто презрение часто путают с ненавистью, а кардинальная разница такова, что первое облигато благородству, последнее – низменности, – и равным образом, как благородный человек по своей натуре не может не презирать (поскольку то значило бы проявлять бесчувствие), так не может он и ненавидеть (поскольку то значило бы проявлять неразумие). Глубокомыслие безраздельно глубокочув-

⁵⁷ «Жэнь» – высшая добродетель из пяти постоянств конфуцианства, заключающаяся в любви к людям, добронравии, терпимости, милосердии.

ствию, и коли мудрый с виду кажется апатичным, это именно потому, что глубокое чувство не ищет поверхностного выражения, как глубокая мысль не высказывается походя. Если же мудрый преисполнится ненависти к заблуждающемуся, ему придется, по справедливости, возненавидеть всех и каждого (от мала до велика), а в том числе (и в первый черед) – себя самого, – ведь непорочных людей нет, как нет предела совершенству. *«Добродетель никогда не позволит себе укрощать пороки, перенимая их образ действий, – гнев для нее заслуживает порицания, ибо сам он ничем не лучше того, против чего восстает»*, – замечает Сенека в трактате «De Ira» («О гневе»). Созвучно гласит «извечная дхамма⁵⁸» Буддизма: *«Ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она»*. Следовательно, у мудрого – кто волен добродетелью – не может быть врагов, – поскольку как любовь и дружба – чувства сугубо обоюдные, так сугубо обоюдно и то, что им оппозиционно – вражда, каковая есть негативная духовная зависимость; по слову апостола Павла: *«Не испытывай ненависти к врагу, понеже, возненавидев, станешь уже отчасти и рабом его. Никогда твоя ненависть не будет лучше мира души твоей»*. Поэтому личный долг благородного (благородный долг личности) – проявлять милосердие, верно координируя привходящие отно-

⁵⁸ Дхамма – центральный в буддизме многозначный, комплексный термин, который (происходя от индуистского понятия «дхарма») может обозначать: «правило», «учение», «путь», «разум», «добродетель», «истина».

шения с себе присущим достоинством, – ибо мудрый знает: прощающий всегда выше прощаемого и нередко снисхождением своим возвышает того; но обвиняющий далеко не всегда выше обвиняемого и зачастую надменностью своей унижает обоих.

«Кто путь заблудшему приветливо укажет,

Тот как бы лампу от своей зажжет.

Другому свет подав, себе не светит хуже».

Кроме того, недопустимо возлагать всю ответственность за духовное невежество и интеллектуальную ограниченность, за анемичную невосприимчивость чувств и обостренную мятежность страстей на каждого отдельного индивида, но надобно учитывать, что львиная доля проблемы приходится на общественную взаимосвязь – на сию фатальную круговую поруку, когда всякий, будучи обязанным нести ответственность за себя, нерадиво возлагает ее на постороннего, в силу воспитания даже не мысля, что может быть иначе (но: *«Найдется ли человек, чья беспечность навлечет беду только на него одного?»*); когда, как при расстреле, ряд стрелков по сигналу спускает курок, – не ведая боевым патроном заряжено ружье или же холостым, – и как скоро оседает облако дыма, невольные исполнители сего действия все до единого предстают палачами, однако формально среди них нет ни одного убийцы (виновен лишь тот, кто сознает свою вину). *«Неведение служит общим и неизменным оправданием всем недостойным поступкам»*... Добродетельный

ополчается против злоторных явлений, а не против злополучных людей.

Вы, Деон, явственно воспринимаете скорбную неустроенность мира; вам не понаслышке знакома горестная потерянности личности в народной среде; безуклонно следуя своей стезей, вы то и дело режете о тугие нити судьбы, что неразличимой паутиной переплетают социум; вы мужественно отстаиваете право оставаться справедливым, откровенным с собою, а посему презираете там, где неприемлема любовь, и любите там, где нет места презрению, – ибо любить всех значит не любить никого. Индивидуализм не есть единоличие, а отчужденность не равнозначна безразличию. *«Недолжно уподобляться дурным оттого, что их много; не должно ненавидеть дурных оттого, что им не уподобляешься».* Лаэсий наставлял: «Величайшую заповедь: *«Возлюби ближнего своего как самого себя»*, – надо понимать не в узком, но в широком смысле: люби в лице людей человечество, каковое твой личный долг любить в своем собственном лице, – иными словами: будь человечен – уважай себя. Если же говорить о любви к ближнему в исключительном – *совершенном* – смысле – любви родственных душ, то сия любовь *уже* не является предметом морального настроения (рациональной воли), а, возносясь из оногo, что светоносный жар от огня, предстает безусловной (естественной) необходимостью, коя суть *зенит свободы* (не человечность ее цель, она – *цель человечности*), соответственно, не нуждается в запове-

ди (как высшие законы природы невозможно регламентировать правовыми нормами, но последние необходимо соотносятся с первыми, в чем и изъясняется свободная воля рас­судка, благоразумием именуемая)».

Вы, Деон, знаете *почему* ступаете вперед, хотя не знаете *зачем*; но останавливаться нельзя, нельзя пятиться назад – паническая нерешительность лишь загонит в непролазные трясины смятения; надлежит смело продвигаться на просвет зрелой, сознательной веры – веры в достоинство своего разума, проникнутого добродетелью, и в свою избранную миссию – долг человечности; и коли вера чиста, коли возвышенна, тропа жизни, куда бы она не завела, не окажется тупиковой, не обернется петлей разочарований, не затеряется в тумане тщеты...

Я не смею давать вам каких бы то ни было напутствий, кроме одного непреложного совета: беспрестанно растите над собой, и тогда будничные вихри, что прежде колебали вас, сокрушатся о могучесть вашего духа; и пусть однажды, резко обрушившись, неистовый житейский ураган снесет вас с корнем, несгибаемому дубу подобно, – лучше так, нежели сродни трепещущей тростинке льнуть долу да смиренно ждать затишья; ибо в первом случае подлечит высокая жизнь под тяжелой кроной личностного величия, во втором – приземленное, суетно-бессмысленное прозябание.

«Если трудность предпочесть успеху – это вправе называться человечностью».

Себастиан смолк. Некоторое время мы вдумчиво взирали на друг друга с сопредельным чувством некоей отрадной печали, что в один и тот же момент преисполняет тоски и воодушевления; что теснит душу, поселяя в ней стойкость, и порождает надежду во чреве отчаянья.

– Благодарю за беседу, Деон, – произнес засим Себастиан, – услышанное от вас очень важно для меня... мне необходимо все обдумать... Надеюсь, завтра мы продолжим наш разговор. Теперь же не стану задерживать вас долее; вам нужно отдохнуть.

– То же самое касательно вас, – сказал я, пожимая Себастиану руку, – постарайтесь уснуть. Сон – лучший поводырь выздоровления... Тревожусь только, – уже шагнув к выходу, обернулся я, – как бы не доставил вам огорчения своими излияниями, ведь мне, доктору, следовало поддерживать в вас безмятежную бодрость, а не нагнетать ненастные думы.

– Что вы, Деон... – трогательно улыбнулся Себастиан. – Сквозь мглу повествования я непрерывно различал неугасимо-яркий луч достоинства вашей природы, и сей луч согревал мне сердце... Воистину: как соль хранит чистыми воды морские, так благородная скорбь хранит чистой душу... Я невыразимо рад, что мы наконец познакомились, и, безусловно, простреленное плечо стоит того, чтобы узнать вас, – с этими словами Себастиан чуть слышно усмехнулся (впервые за все время). – Нет, Деон, не подумайте, я не шучу, – серьез-

но молвил он, умеряя улыбку (поблескивал его взгляд). – Я едва ли умею шутить; для этого требуется особая практика, которой я, к сожалению, не располагал в должной мере... – и вновь улыбнувшись, еще серьезнее результировал: – Я счастлив нашему знакомству, невзирая на обстоятельства, послужившие его предпосылкой.

– Я взаимно счастлив нашему знакомству, Себастиан, – отвечал я (спонтанно положив правую длань на сердце). – И благодарен, несказанно вам благодарен за все то, что вы мне сообщили, равно как и за все то, что я сообщил вам... Вы не просто человек, – сказал я, намекая на зачин нашей встречи, – вы – *Необыкновенный Человек*. Когда я внимаю вам, гляжу на вас, ощущаю невероятную силу вашей духовной ауры, меня преисполняет гордость, охватывает заряд вдохновения, – словом, все истинно человеческие чувства пламенеют во мне, озаряя собою, словно звезды, неизведанный космос моего «Я»...

V

Придя к себе в комнату, я присел у окна. Вечерело. Горы – «*престолы вечные снегов*» – лоснились в шафранном зареве заката. Застыло дремали леса. Стекловидное око луны таинственно выглядывало из-за скалистых массивов. Землю облекали сумерки безмятежия... Удивительная тишина...

Долго я так сидел, забывшись взором и испытывая, как во мне протекают некие, – пока еще неявные, но явно благотворные, – преобразования. Чудилось: пламень души, подернутый пеплом и тлевший под ним доселе, разгорается с новой, небывалой мощью. А когда ж очнулся от сей целительной грезы, глаза мои полны были слез, скатывающихся по лицу и на грудь ниспадающих... теплых слез душевного облегчения...

В ту ночь я не спал, витая между явью и сновидением, вновь и вновь переживая – в протяженных мгновениях этого неопределенного, а посему беспредельного состояния – впечатления минувшего дня; и чистый, глубокий голос Себастиана вещал во мне столь внятно, столь полнозвучно, что Морфею⁵⁹, надо мной ворожившему, никак не удавалось его затушить, – ибо то был *глас пробуждения*...

⁵⁹ Морфей – в древнегреческой мифологии божество сновидений.

Но внезапно я будто сорвался в черную пропасть, вмиг посреди смятенного морока действительности очутившись. Эвангел, аккуратно покачивая меня одной рукой за плечо, другой удерживал подсвечник, гулко разгонявший предрасветный сумрак окружения.

– Что такое? – встрепенулся я. – Себастиану хуже?

В ответ старец утвердительно потряс головой; блики пламени высвечивали в его глазах тревогу, подобно тому как безмолвные зарницы вспыхивают среди громовой пучины туч.

– Буду через пару минут, – заверил я.

Эвангел кивнул с признательностью, несколько разредившей тень его взволнованного лица, поставил свечу на стол и удалился...

Когда я прошел в покои Себастиана и к нему приблизился, он не уловил моего присутствия: веки были сомкнуты, и глаза под ними лихорадочно петляли. По всему его телу пробегали судороги, учащенно вздымалась грудь, трепетали губы. Но стоило мне коснуться разгоряченного лба, как очи Себастиана разомкнулись и с незамутненной ясностью в меня вгляделись.

– Деон... Эвангел не дал вам выспаться? – спросил он слабым полусшепотом.

– Ваше состояние ухудшилось... – молвил я.

– Пожалуй, – согласился Себастиан, тяжело дыша. – Пока я

владел собою, недуг не мог мной овладеть... но расслабление спустило его с узды...

– Позвольте дать вам опия в каплях, – предложил я. – Это снадобье облегчит ваши страдания и обеспечит крепкий сон.

– Нет, Деон, благодарю вас, – с твердой мягкостью отказался Себастиан. – Скоро я усну самым крепким сном, какого только можно пожелать. Ныне же мне необходимо пребывать в полном сознании... Эвангел, – обратился он к стоящему у изножья кровати старцу, – во сне я видел Лаэсия... Мы находились по противоположные берега реки... то была необычайная река: вода ее темна и недвижна, и вместе так чиста, что чудилось, будто звезды, кои сплошь усеивают гладь, не отражаются в ней, но возлежат на поверхности... словно лилии ночные... И Лаэсий, раскрыв объятия, призвал меня перейти эту мистическую реку вброд.

Эвангел схватился левой рукой за сердце, а правую простер к Себастиану, точно моля не кидаться в стремнину.

– Я часто вижу сны, – бесстрастно продолжал Себастиан. – Но то был не простой сон... такая в нем заключалась явственность, какая не присуща самой реальности... Лаэсий сказал мне, что мое время пришло... что пора преодолеть водораздел вечности...

Эвангел склонил голову (безутешную покорность выражая).

– Помни, друг мой, – гласил Себастиан, – не то главное – сколько проживешь, но то – как проживешь. Я знал лишь

благость умственного труда и нравственного просвещения, не ведая ничего, что могло бы отвлечь меня от моей экзистенциальной цели, отрешить от моей подлинной натуры, разобщить с моим логосом. Существование мое было недолгим, но обширной была моя жизнь, ибо она измеряется не временем, каковое есть форма без содержания – душою, каковая есть содержание формы... *«И как с пользой проведенный день ниспосылает здоровый сон, так плодотворно прожитая жизнь дарует мирную смерть»*... Не Лаэсий обращался ко мне в сновидении – я сам – мой дух, себя познавший... моя воля... Я уверен, что готов воспринять последнее откровение бытия – самый неразрешимый его секрет... (и, вероятно, оттого неразрешимый, что нет в нем никакого секрета)... – фантомный взблеск мелькнул в темных зрачках Себастиана. – Весь мой восходящий путь постижений вел меня к сему бездонному обрыву – космосу забвения, в который гляжу с замиранием, но без страха... Ибо я всегда помнил: искусство жить и искусство умирать – одно и то же искусство...

Эвангел стоял все также прямо и бесшумно. Он не плакал, не стонал; ни один мускул не дрогнул на его понуренном лице; смирно свисали руки.

– Послушайте, Себастиан, – сказал я с вескостью (себе внушить стараясь), – у вас нет достаточных оснований делать столь поспешные и столь категоричные прогнозы. Как врач могу заверить вас, что интенсивная лихорадка – это борьба

организма, исход которой не предопределен заранее. И вам, будучи в расцвете лет, напротив бы, стоит полагаться на свои молодые силы, нежели утверждать их обреченность.

– Вы не понимаете, Деон, – кротко возразил Себастиан (светлая улыбка брезжила во взоре, но лишь едва губ касалась, лик неизъяснимой трогательности исполняя). – Вы не способны сознать, что значит проводить дни и годы наедине с собой; в заповедной тиши произвольно, но неусыпно прислушиваясь к току жизни, через все естество проходящему... Мое изолированное развитие способствовало тому, что я, пожалуй, чрезвычайно тонко для человеческого существа постиг свой организм, бесперечь вникая в механизм его слаженных процессов... Сейчас я внятно чувствую, как с необратимостью истекает витальная энергия, и маятник жизнедеятельности методично умеряет свой ход. Но прежде всего: испытываю настроение неземного покоя и убогостворения... Смирение... Освобождение...

С минуту, прикрыв веки, Себастиан молчал.

– Эвангел... – молвил он тихо (и притом громогласно). – Ты готов?

Немой старец поднял лицо, твердость взглядом выказывая.

Я пребывал в растерянности. За всю свою практику ни разу не довелось мне лицезреть, чтобы кто-либо признавал смерть с такой осмысленной решимостью, сорвав на подгнившем корню цветок надежды, последний лепесток кое-

го обыкновенно опадает в тот самый миг, когда гаснет последний луч сознания. Я не ведал, что возразить, как опровергнуть спорную предрешенность, ибо не смел усомниться в самопознании Себастиана, точно так, как не смел в нем усомниться Эвангел. Мы непререкаемо верили этому исключительному человеку, поскольку мысль его, казалось, была чужда заблуждений, а слово не допускало неправды.

– Деон, – произнес Себастиан, сочувственно на меня глядя, – я неустанно сражался за жизнь – за свободу; но теперь, отстояв право быть человеком – исполнив свой личностный долг, мне следует сложить копья, дабы открытой грудью встретить неизбежное, как встречают желанное... А что может быть желаннее для живого существа, нежели абсолютные мир и покой?.. Я не говорю о презрении к смерти, – то значило бы презирать жизнь, – я говорю о готовности к ней, каковая есть стремление жить. Уверенный в своей смерти – уверен в себе – уверен в жизни своей. Но кто страшится небытия, тот страшится бытия, тот, невольник умирающего, не уразумел, пределов добра и зла не познавши, что все необходимое по природе – благо. А дабы истинно понять это, дабы принять откровенно, должно вести разумную жизнь, свободе единосущную, кою в противном случае тоже невозможно благу сопричислить... Почему столь несправедливо рождение величают благословением и проклятием нарекают кончину? Ведь рождение человека, который в будущем не оправдает своей человечности, превратившись в чудовище,

что изрыгает смерчи безумия, кровавый раздор и армагеддон разрушений несущие, скорее стоило бы именовать проклятием, равно как погибель его – благословением. Если же человек жил доброй жизнью, то добрым приличествует называть и тот момент, когда он впервые узрел свет, и тот, когда он зрел его в последний раз; какова бы ни была смерть (за исключением, ежели ею наотмашь пресекается свершение насущного долга), коль добродетельный остался верен себе, она, своевременная, не причинит ему боли, не заронит в цельную душу ни страха, ни раскаянья, и мудрый предастся ей с тем же отдохновением, с каким встречает сон... Не по смерти обретает он заслуженное воздаяние – в самый миг ее; ибо, взяв все, что мог, все, что смог, оставляет, – не с равнодушием – с благодушием, без трепета – с верой, – ибо вольным отходит... умиротворенным... *живым*...

Произнеся заключительные слова, Себастиан перевел взгляд к окну, за которым в лилейной дымке, окутавшей горы, робко проявлялся розовеющий лик Авроры⁶⁰; и после непродолжительного молчания едва слышно выдохнул:

– Светает...

И умолк в созерцании божественного явления...

– Сейчас я прошу вас обо мне не беспокоиться, Деон, – погода покойно изрек Себастиан, мне в глаза убежденно взорвшись. – Мы увидимся с вами позднее; нужно время, чтобы превозмочь полонившую меня немощь и в должной мере

⁶⁰ Аврора – в древнеримской мифологии богиня зари.

возобладать над собою.

Видя, что я не решаюсь отступить, Себастиан молвил (с мирной непреложностью):

– Доверьтесь мне, Деон.

– Вы не желаете, чтобы я оказал вам помощь? – проговорил я сквозь стиснутую гортань.

– Желаю. Но не теперь... и не посредством врачебного искусства, – ответил Себастиан.

– Как скоро я могу прийти проведать вас? – спросил я, сдерживая вздох, подступивший к сердцу.

– Я дам вам знать... А пока мне бы очень хотелось (поистине важно для меня), чтобы вы прочли это... – Себастин слегка приподнялся и, взяв с прикроватной тумбочки свиток бумаги, перевязанный нитью, протянул мне.

– Конечно, – приняв тот, кивнул я.

– До встречи, Деон...

– До встречи, Себастиан...

VI

Я вернулся к себе. Опустившись на стул у окна, отворил раму и, глотнув морозного воздуха, исторг выдох, обжигающий душу. Златая квадрига Гелиоса⁶¹ медленно воспаряла над горами, и алые кони, в нее запряженные, разгоряченно мчатся, отбрасывали на склоны пурпурные тени, под коими истаивал туман ночи.

«Неужели Себастиан желает, чтобы этот рассвет стал для него последним? – смятенно размышлял я. – Почему он отказывается бороться со смертью и не позволяет мне вмешаться – постараться спасти его? Что делать? Как внушить ему обратное? Коим образом направить его волю в иное русло?.. Но имею ли я право перечить утвержденному им решению, навязывать то, что он не почитает для себя надлежащим? Разве в моих силах сдвинуть гору здоровой непоколебимости сего человека? Разве способен я прозреть до самой абиссали океан его духа?..»

Из груди моей изошел незвучный, протяжный стон; беспомощно опустилась голова. Тут я вспомнил, что, едва сжимая, держу в руке свиток, данный мне Себастианом. Я аккуратно снял нить, тот скреплявшую, и, развернув листы, ис-

⁶¹ Гелиос – в древнегреческой мифологии бог (точнее титан) солнца; олицетворяя собой дневное светило и его путь по небосводу, представлялся в образе возницы на золотой колеснице (квадриге).

писанные изумительным каллиграфическим почерком, всем сознанием погрузился в чтение:

«Каждый человек – история. Прослеживание жизненной фабулы, называемой судьбою, позволяет диахронически рассмотреть события, суждения и поступки, которыми выписана личность, и тем самым постичь суть оной. Вы познакомились с Эвангелом, но не узнали его. Поэтому я решил, что с моей стороны будет правильно должным образом представить вам своего доброго друга и отца, поведав трагическую историю его становления. Мое повествование будет базироваться на подробных воспоминаниях Эвангела, записанных им после того, как Лаэсий обучил его грамоте; однако конспектировать я буду по памяти, ставя своей целью дать сжатый, но емкий и достоверный пересказ, придав изложению упорядоченную структуру, каковой лишены разрозненные записи Эвангела.

Эвангел родился в предгорном поселении наподобие Амвьяза, у северной оконечности страны. Родители его – зажиточные крестьяне – занимались земледелием и животноводством. Он был старшим ребенком в семье, имея брата на два года младше. С юных лет дети служили подспорьем родителям в помалу разраставшемся хозяйстве, а посему их образование, как дело бесперспективное, не пошло дальше начальных уроков грамматики и арифметики у сельского пастора: братья с трудом могли читать по слогам, писать же не умели вовсе.

Возмужав, Эвангел женился на одной из местных девушек – легкого и простодушного, а вместе серьезно-рачительно-го нрава. Они выстроили себе уютный дом на околице деревни, подле вечнозеленой хвойной рощицы. В первый же год брака у них родился сын, который привнес в их и без того идиллические взаимоотношения еще большую близость, нежность и отраду. Характер у Эвангела был кроток и любвеобилен; его дух по своей предрасположенности, подкрепляемой безыскусным религиозным благочестием, неуклонно тяготел к добру и правде, сторонясь сомнительного и дурного. Эвангел желал одного: покойной честной жизни в семейном кругу. Но рок судил иначе.

Не прошло и трех лет с той даты, как Эвангел справил свадьбу, когда неожиданно началась война, ныне известная под заглавием «Война славного начала». Король, вознамерившись возвратить господство над исстари спорными северными провинциями, утраченными в неудачное царствование его отца, объявил тотальную мобилизацию: наряду с тысячами молодых крестьян, вербуемыми по всей стране, двадцатиоднолетний Эвангел и его девятнадцатилетний брат оказались приневолены вступить в ряды «Непобедимой Армии» генерала Аполинара Громовержца, и под стягом гения сего выдающегося полководца, не ведавшего поражений, оставить родное селение, покинуть своих близких – враз расстаться со всем, что дорого сердцу (и, весьма вероятно, *на-всегда*).

Стратегия генерала Аполинара была стратегией «молниеносных атак», как сам он их называл, делая акцент на слове «молниеносный», поскольку этому приземистому, к той поре порядком располневшему, но бессменно бравому и энергичному командиру на величавом белом коне, Пегасом нареченном, очень уж нравилось уподоблять себя Юпитеру, а свое главное оружие – артиллерию – огненным перунам. И солдаты в действительности почитали пафосного генерала за некое божество, отчего и получил он свой агномен⁶² «Громовержец». Таким образом, человек сей – выходец из мешанского сословия, но по-дворянски гордый и честолюбивый, который, со скромного чина канонира вскачь прорываясь по карьерной лестнице к самой ее вершине, не будучи еще и тридцати пяти лет, занял пост главнокомандующего, навеки оторвавшись от своего прошлого «сына портного», под стать тому, как Вильгельму Бастарду удалось войти в историю под именем Вильгельма Завоевателя⁶³.

⁶² Агномен – личное прозвище у римлян; нередко присуждался за какие-либо деяния (обычно военные) и считался официальной частью имени (например, покоритель Карфагена, государства в Северной Африке, полководец Публий Корнелий Сципион удостоился агномена «Африканский»).

⁶³ Вильгельм Завоеватель – герцог Нормандии, осуществивший завоевание Англии в 1066 г. Он был незаконнорожденным, но единственным сыном правителя Нормандии – герцога Роберта II Великолепного (известного также, как «Роберт Дьявол»). Когда Вильгельм, по смерти отца, вступил на престол, знать дала ему прозвище Бастард (Незаконнорожденный), но благодаря захвату Англии, Вильгельм вошел в историю не как нормандский герцог сомнительного происхождения, а как первый нормандский король Англии – Уильям Завоеватель.

Лишь немногие не соразделяли всеобщего восхищения (до одержимости подчас доходящего) *чудотворной иконой* победоносного военачальника; блистательный ореол славы, того венчавший, виделся этим немногим кровавым заревом, а его многочисленные победы – неискупимыми преступлениями. Одним из таких инакомыслящих, чье сердце не билось в такт военным барабанам, являлся Эвангел. Он не мог осознать, в силу каких резонов людям, друг друга не знавшим и не сделавшим друг другу ничего плохого, надлежит биться насмерть. По какому праву единицы власть имущих распоряжаются жизнями тысяч подданных? Почему амбиции немногих губят настоящее многих?.. Он не хотел уходить на чужие территории – он хотел оставаться дома; он не желал брать в руки ружье и саблю – он желал орудовать лопатой и граблями; для него отвратительно уничтожение – для него благостно созидание; ему не нужны лихие «подвижки» и ратная «слава» – ему нужны добросовестный труд и бестревожный покой; не любо ему взирать на то, как генерал чинно гарцует меж подтянутых строев – ему отрадно любоваться своей милой женой и малюткой-сыном. Вся его мирная, беспечальная жизнь была у него насильно отнята: дабы он сделался захватчиком и убийцей; дабы он безвольно служил пушечным мясом; дабы, вместо того чтобы засеять вспаханное поле злаками, он сеял разрушение на полях батальи – из служителей Цереры⁶⁴ перешел в ликторы⁶⁵ Мар-

⁶⁴ Церера – в древнеримской мифологии богиня плодородия.

са⁶⁶ («Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши – на копья»). «Безумие!» – бесперечь оглашал немой крик сознание Эвангела, неумным бураном надрывая грудь. И что за ужас, и что за сокровенную боль он испытал, когда на плацдарме священнослужитель освящал воинское оружие, как прежде у божьего алтаря на мир и любовь освящал смиренные души... Эвангела казнила сама мысль причинять вред людям, но на войне одно внеморальное правило, один незаконный закон, одна антифилософия: убивай или будь убитым, – один *нечеловеческий инстинкт*. С каким облегчением принял бы Эвангел смерть – только бы не стать частью сего кошмарного действия – только бы отречься «причастия зверя»; но он не смел, ибо жизнь его принадлежала избранной им супруге и их сыну, которым Эвангел дал клятвенное обещание вернуться. И вот он вынужден творить зло во имя блага. Что может быть сего прискорбней?..

[In verba magistri («словами [моего] наставника»): «Война – это явление, бесспорно заслуживающее наименования варварства, поскольку суть то, на чем строятся отношения диких сообществ (то есть таких, у которых нет ни прописанного законодательства, ни политико-социальных институтов, и чья примитивная этика зиждется на алогистическом базисе обычая и культа); но война между цивилизованными

⁶⁵ Ликторы – римские государственные служащие, которые, сопровождая высших магистратов (вельмож), осуществляли парадные и охранные функции.

⁶⁶ Марс – в древнеримской мифологии бог войны.

– просвещенными – нациями уже не может, по справедливости, называться «варварством», ибо сия дефиниция будет в отношении таковой – эвфемизмом».]

Между тем ход кампании осуществлялся по заданному сценарию, и даже превосходил возложенные ожидания. Армия под вдохновляющим командованием генерала Аполинара Громовержца продвигалась с поразительной стремительностью, давая сокрушительные бои противнику, один за другим захватывая укрепления и подчиняя населенные пункты: «*Veni, vidi, vici!*» («Пришел, увидел, победил!»). По истечении без малого трех недель с начала вторжения вся четверть века назад утраченная территория была оккупирована (или как предпочитали выражаться – эмансипирована). Генерала Аполинара воистину боготворили: в честь его свершений давались придворные пиршества и по всей стране организовывались народные гуляния, сочинялись дифирамбы, пелись баллады, проводились молебствия, в ночное небо оглушительно взмывали салюты, затмевавшие собою звезды. Громовержец грезился необоримым героем, чуть ли не полубогом сродни Ахиллесу. И ему не составило труда убедить правительство продолжить войну, на волне успеха бурным валом хлынув вглубь вражеских владений до самой столицы, дабы увенчать августейшую главу короля второй короной, а свою собственную – лаврами бессмертия (хотя, как свидетельствуют хронисты, в тайне Аполинар тщеславно зарился на оба означенных трофея: «*Quod nihil illi deerat ad*

regnandum praeter regnum» («Ибо недоставало ему для царствования лишь царства»)).

Генерал разработал тщательный план наступления, долженствующий в самые краткие сроки привести его к абсолютному триумфу. Были учтены все веские обстоятельства, продуманы многочисленные потенциальные проблемы; и только один фактор оставался вне стратегических соображений Аполинара Громовержца – Фортуна.

Однако, как казалось, сия двуличная богиня и не помышляет прекращать сопутствовать своему фавориту, словно бы заслоняя его эгидой⁶⁷, гонящей неприятеля вспять. Успех за успехом, победа за победой – таков был *предначертанный* удел генерала Аполинара и его верных войск.

Однажды после осады и взятия очередного города, ужиная в тамошней ратуше в собрании своих приближенных – своей «свиты» – своего «пантеона» – генерал произнес следующую роковую фразу (впрочем, с лукавой ухмылкой и торжественно занесенным над головой бокалом): «Я так удачлив, друзья мои, что, право же, начинаю страшиться собственного счастья! Как бы сами боги не позавидовали мне, как некогда позавидовали они Поликрату⁶⁸!» Один

⁶⁷ Эгида – легендарный щит древнегреческой богини Афины Паллады, который внушает ужас всякому, кто на него взглянет.

⁶⁸ Поликрат – тиран греческого островного полиса Самос, правивший приблизительно в 530-е – 520-е гг. до н. э. Поликрат вел агрессивную политику завоевания и во всех его рискованных начинаниях ему неизменно сопутствовала удача. Тогда его союзник египетский фараон Амасис написал Поликрату письмо, в ко-

из офицеров воскликнул: «Так умилючим же небожителей!» – и выплеснул вино из своего бокала на пол⁶⁹. Подняв одобрителный смех, остальные последовали его примеру. Лишь Громовержец, как и подобает божеству, самодовольно принял возлияние («Сила его – бог его»).

Рядовым солдатам было не до веселья. Поход длился четыре изнурительных месяца. Грянули осенние холода. Утолив голод скудным пайком, солдаты дрогли в палатках, стараясь уснуть на сырой, студеной земле, покуда снаружи заунывно скулил ветер. Многие гадали о своих многодетных семьях, на произвол судьбы брошенных, терпящих нужду и голод, или вспоминали товарищей, в недавних баталиях павших. Эвангел потерял младшего брата; но в отличие от большинства горюющих, он не свирепел на врагов, поскольку понимал: «враги» – это они – армия Аполинара – захватчики; ибо единственная правая война, – коли вообще позволитель-

тором говорил о том, сколь ревнивы к человеческому счастью небожители, и давал совет принести самую дорогую для себя вещь в умилючительную жертву богам. Поликрат не пренебрег советом друга. Был у него смарагдовый перстень с печатью, в золотой оправе, который он постоянно носил. Отплыв на корабле далеко от острова, Поликрат снял перстень и на глазах у всех своих спутников швырнул в море. И вот, спустя пять или шесть дней некий рыбак поймал необычайно большую красивую рыбу и решил, что это будет достойный подарок Поликрату. Слуги тирана, выпотрошив рыбу, нашли в ее брюхе тот самый смарагдовый перстень. Поликрат понял, что это божественное знамение. Вскоре тиран был схвачен врагами и распят.

⁶⁹ Возлияние вина – религиозная традиция в ряде античных государств (в том числе Элладе и Риме), заключающаяся в возлиянии вина на алтарь или на землю перед началом трапезы в жертву богам.

но называть насилие правым, – это оборонительная война, либо освободительная. Не скорбь по убиенному брату лишала Эвангела сна, терзала надорванное сердце, но скорбь по давеча убитому им, Эвангелом, юноше, окровавленный призрак кого стоял у него в застылом взоре. Сей юноша был не первым, чью жизнь по вынужденности пресек Эвангел, но он был первым, кто, умирая, смотрел ему прямо в глаза, и в чье *убийство* Эвангел не мог – не смел – не поверить... То случилось в разгар жаркого боя, когда армии сошлись врукопашную. Беспорядочно – налево и направо – разили лезвия, сыпались искры, хлестала кровь, летели отрубленные конечности и головы; спереди напирал враг – сзади теснили свои. И в этом людском месиве, в этом безвидном хаосе, взгроможденном из нечеловеческих криков и воплей, диких телодвижений, лязга стальных клинков, ружейных залпов, грохота орудий, взрывов шрапнели, разметающих землю в клочья и в куски тела солдат, Эвангел лицом к лицу столкнулся с прелестным юношей (казалось, ему не было и восемнадцати), в чьих голубых зрачках, страхом мятущихся, брезжил отблеск невинности; на несколько секунд два молодых человека, обреченных к непримиримой, смертельной вражде в силу разной расцветки униформы, замерли в неопределенности; но вот правая рука юноши нерешительно подалась назад, совершая замах, дабы упредить который, Эвангел, зажмурившись, сделал отчаянный выпад и вонзил сабельное острие в горло нежеланного противника (*«Ибо все, взявшие*

меч, мечом погибнут»). Тот, обронив свой клинок, схватился за руки Эвангела, судорожно сжимавшие обагренную рукоять, и беспомощно опустил на колени; из раны его, жутко клокоча и пенясь, плескала кровь. Юноша неотрывно взирал на своего палача, впивался ему в глаза меркнувшим взглядом, но без злобы, без осуждения, а с каким-то запредельным сожалением, с какой-то непостижимой тоской, будто отходя во Вневремя он различал горести грядущего и преисполнялся скорбного всепрощения...

Будучи в описываемую пору человеком глубоко религиозным, Эвангел свято верил, что Бог не попустит свершиться нечестивым замыслам государя: сделать другой народ своими рабами, – но истребит оны намеренья карающей десницей возмездия, как в старину наслал Он казни египетские⁷⁰. Сия неотвязная мысль внушала Эвангелу покаянное утешение и вселяла мятежный ужас.

Надвигалась зима. Генерал Аполинар все упорнее торопился вперед, игнорируя истощенность солдат, нехватку продовольствия (поскольку враг активно применял тактику «выжженной земли»), неудовлетворительность экипировки и острый дефицит фуража, приведший к повальной гибели

⁷⁰ Казни египетские – согласно библейской легенде, когда фараон не позволял Моисею увести свой народ из Египта (вернее: «Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей»), то Яхве десять раз насылал казни (бедствия): обращение речной воды кровью, нашествие жаб, мошек, песьих мух, мор скота, воспаления с нарывами, разрушительный град, нашествие саранчи, осязаемая тьма, смерть всех египетских первенцев.

ли лошадей. «Для воина главное – боевой дух, – невозмутимо возвещал Громовержец. – Боевой дух моего войска – Я. Покуда я на коне, на ногах будет войско» (также, известно, он любил говаривать: «*Стадо оленей во главе со львом грознее, нежели стадо львов во главе с оленем*»). С самого старта войны Аполинар рассчитывал на генеральное сражение, коего командующие неприятеля умело избегали, продолжая слаженное, хладнокровное отступление да стягивая воедино свои армии, тогда как генерал лелеял настичь и разбить их поодиночке. Между тем арьергардные бои велись с переменным успехом («Я слишком велик для мелких стычек!» – бушевал, мечая искры из глаз, Громовержец); в то время как селяне, уничтожая посеы и уводя скот, во множестве уходили в леса и горы, где сформировывали партизанские отряды, нешуточно вредившие оставленным гарнизонам, на подмогу которым приходилось отсылать подкрепления. Кроме сего, одна за другой возникали проволочки: то запаздывал подвоз провианта, то дождь размывал дорогу, затрудняя передвижение, то враг чинил различные помехи, дабы задержать и деморализовать полки Громовержца.

Но когда Аполинар зашел фатально далеко, для противника пробил час сосредоточить основные силы и дать наконец решительный отпор.

Генерал же до того *свято* доверялся своей счастливой фортуне, никогда его всерьез не подводившей, что, дабы поскорее миновать территории, каковые отделяли его от завет-

ной цели, он, вместо избрания окольного, но торного маршрута, порешил ринуться форсированным маршем напрямую – через лесистую и болотистую местность, пренебрегая существенной опасностью, какой чреват был данный переход. Аполинар жаждал «исторического подвига». «Мы двинемся столь молниеносно, что враги, всю занятые охраной больших трактов, даже не успеют опомниться, как, проскочив сию глушь, мы окажемся в выигрышном положении (не так ли Великий Александр, пересекши безводную пустыню, застал врасплох беспечных маллов⁷¹ у самых стен их города?); тогда им лишь слезы лить останется, что, не успев нас подловить, они сами попадут в наши клещи!» – императивно заявил Громовержец в ответ на робкие сомнения своих советников, присовокупив напоследок: «Риск – суть войны и ее ключевое оружие. Внезапность – величайшее преимущество. Тому, кто боится рисковать, лучше бесславно тягать плуг в холщовой рубахе, нежели носить мундир и эполеты – знаки доблести. Ганнибал тоже рисковал, переходя через Альпы (не деревья – скалы свергая на своем пути!), но битва при Каннах⁷² с лихвой окупила все преодолен-

⁷¹ Маллы – независимое индийское племя, не пожелавшее добровольно подчиниться македонскому владычеству. Александр Великий нагрянул на город Маллов со стороны пустыни, тогда как те ожидали его прибытия со стороны реки, а посему были застигнуты врасплох и после ожесточенной осады покорены.

⁷² Битва при Каннах – крупнейшее сражение Второй Пунической войны, произошедшее 2 августа 216 г. до н. э. близ города Канны на юго-востоке Италии. Карфагенская армия Ганнибала нанесла сокрушительное поражение превосхо-

ные им препятствия: ни до, ни после не знал могущественный Рим столь сокрушительного поражения!» Шквалом аплодисментов поддержал старший офицерский состав пылкую речь своего непогрешимого вождя. План был единогласно принят. Но над лучезарной головой генерала Аполинара Громовержца уже собирались грозовые тучи.

Первые два дня перехода прошли как нельзя лучше: почва была суха и устойчива; дивизии продвигались слаженно и скоро; разведчики докладывали, что присутствие неприятеля по периметру не замечено; на небе не было ни облачка. Но на третий день в два часа пополудни неожиданно пробил крупный льдистый град, после которого до самого заката дождь то унимался ненадолго, то разражался вновь. Ночь была очень холодной, в промозглом воздухе стояло гнилостное зловоние болот. К утру многие солдаты слегли с лихорадкой и грудным кашлем. Генерал Аполинар дал распоряжение безотлагательно продолжить путь: пусть те из больных, кто могут идти или держаться в седле, перемещаются собственным ходом, те же, кому совсем худо – укладываются в телеги. На протяжении изнурительного дня передвижения по мокрому и вязкому бездорожью (в грязевых топях кое-го, солдаты, случалось, теряли свою обувь) хворь все пуще распространялась, охватив к вечернему бивуаку едва ли не

дащей ее по численности римской армии (50 тыс. против 90). Приблизительно 50-70 тыс. римлян пали на поле боя (включая консула Павла и восемьдесят сенаторов) или были захвачены в плен; карфагеняне понесли потери менее чем в 10 тыс. человек.

четверть армии. Генерал также испытывал недомогание, при этом артистично демонстрируя всем своим видом, что оно налицо, но ничуть его не заботит, – ведь вообще не отличаясь завидным здоровьем или дюжей физической силой, Аполлинар с дебютных ступеней своей военной карьеры подражал *exempli gratia* («в качестве примера») Цезарю, который, как известно, будучи весьма хилым по конституции, являл легионам эталон выносливости и отваги, черпая неистощимую энергию в собственном честолюбии.

В первой половине следующего, четвертого, дня перехода, – когда с самого рассвета в мрачной атмосфере, тревожно шелестя листвой, витало дурное предчувствие «затишья перед бурей», – зловещим воем поднялся ураганный ветер, заставляющий гнуться и стонать деревья, а следом грянул ледяной ливень, со снегом смешанный. Солдаты едва могли продвигаться: шторм бил в грудь и сек лицо, затуманивал влагой глаза; лошади громко ржали в беспокойстве, плохо слушаясь наездников; пушки и обозы увязали в размокшем торфе. Началась суматоха. «Вот оно – близится! – возгласил в душе Эвангел, от суеверного ужаса сотрясаясь. – Кара Господня!» («*В вихре и в буре шествие Господа*»). Генерал отдал приказ остановиться. Истекло свыше часа, покуда сей катаклизм помалу унялся. Под гнетущей моросью измаянные, продрогшие, хворые полки возобновили ход, ввиду стесненной местности перемещаясь неприемлемо растянутым строем; туман сгустился такой, что видимость прости-

ралась не дальше чем на три шага («Нечто мистически-страшное призрачно реяло в удушливом воздухе»). Однако по заверениям проводников: еще до наступления сумерек они должны были наконец достичь открытой территории. Как вдруг с левого фланга, где ландшафт покато возвышался пространственным лесистым холмом, раздались пушечные залпы – массивный огневой вал. Армия генерала Аполинара угодила в засаду (позднее генерал узнает, что поспей он всего восьмью часами ранее, – а так бы оно непременно и было, не воспрепятствуй тому погода, – его дерзкому маневру ничто бы не угрожало). Канонада ни на минуту не смолкала, подрывая шеренги снарядами, изрешечивая картечью или обваливая на них сломленные деревья; взвихренные комья земли черным, тяжелым градом обрушивались на головы живых и погребали останки мертвых. Солдаты колыхались в панической растерянности. Кони резво вставали на дыбы, опрокидывая всадников. Артиллерия – первостепенное оружие Громовержца – была дестабилизирована, бесполезна. Вдали сквозь едкий пороховой дым стало различаться движение – спешно разраставшаяся темная масса. Вскоре отчетливо донеслась команда «Пли!» – бесперебойной дробью загрели ружейные выстрелы. Эвангел, выронив из рук карабин, стоял как вкопанный и сипло молился. Сослуживцы подле него, трепещуще целясь наугад и подстреливая зачастую своих же, один за другим падали наземь. Между тем силы арьергарда, находящиеся вне обстрела, начали са-

мовольно ретироваться. Горнист играл перестроение. В этот момент с тыла ударила вражеская кавалерия, учиняя беспощадную сечу. С непокрытой головой объезжал Громовержец смятенные ряды на своем Пегасе, среди чадного сумрака белоснежным пятном мелькавшим, призывая солдат собраться с мужеством да не посрамить воинской чести. «Ваш генерал с вами! – взывал он, тщась перекричать вопли отчаянья. – Мы победим!» Но никто ему теперь не верил. Все обращались бегством, безумным страхом гонимые, – кипящий, неконтролируемый водоворот паники. Под слепым табуном сапог и копыт глухо стонали раненные, что корчились в предсмертной агонии иль иступленно ползали в залитой кровью грязи. Сбитый с ног рассыпавшимися в разные стороны солдатами, Эвангел внезапно опомнился (или, что вернее, дался всеобщему помешательству) и по примеру остальных опрометью метнулся прочь. Дальше он ощутил лишь оглушительный миг взрыва: нахлынувший тайфун мрака с адским ревом поглотил его во мгновение ока...

Очнулся Эвангел в лагере военнопленных. Он едва ли сообразал, кто он есть, а тем паче – где и почему находится. Его одолевали перманентные головные боли, частые приступы тошноты, кровотечения из ушей и носа; целыми днями он лежал на койке, почти не шевелясь, в могильную апатию погруженный. Исподволь память начала фрагментарно восстанавливаться, воскрешая пред его духовным взором резко-натуральные кошмары минувшего полугодия и до

неправдоподобия яркие грезы былой мирной жизни, которой уже никогда не быть прежней, ибо никогда не быть прежним ему самому. Горячие слезы, словно раскаленный свинец, нестерпимо резали глаза, но не могли пробиться наружу, опять в груди оседая, шипами вонзаясь в сердце, – и на губах ощущался горький привкус крови. Эвангел не знал, сколько дней или недель прошло, пока пребывал он в этом летаргическом полусне. Когда же окрепший мозг дал ему импульс пробудиться и, с трудом приняв сидячее положение, он взглянул на сестру милосердия, все это время о нем заботливо пекущуюся (несмотря на то, что он был приведен на земли ее народа, дабы убивать и опустошать), Эвангел растроганно улыбнулся ей и вымолвил: «Спасибо...» – но сердечное слово это не прозвучало – только несколько раз бесшумно сомкнулись и разомкнулись губы. Контузия сделала Эвангела немым.

Между тем вконец поникшие духом остатки «Непобедимой Армии» генерала Аполинара Громовержца, хаотически отступая, спешной чередой сдавали свои позиции; с голоду разграбляли деревни и села, которые дотоле сами же провозгласили под протекцией находящимися. Потерпев позорное поражение, генерал, возмечтавший свершить подвиг Ганнибала, но, как оказалось, содейвший оплошность Минуция⁷³, впал в депрессию, стыдился показаться в среде вой-

⁷³ Оплошность Минуция – имеется в виду эпизод Второй Пунической войны. Марк Минуций Руф был начальником конницы, решительно не одобряв-

ска и пассивно переложил командование на легатов. Те было предприняли пару довольно удачных попыток реабилитировать ситуацию, но медлившие под разными предлогами союзники неприятеля, получив донесения о переломе на военной арене, направили вспомогательные армии, окончательно предрешив исход «Войны славного начала», ставшей роковым «Анабасисом⁷⁴ Аполинара». «От великого до нелепого – один шаг», – как-то обронил генерал, глядя в пустоту и горько ухмыляясь... Подоспевшие холода, обильные снегом и суровыми выюгами, еще пуще усугубили обстоятельства:

шим план долговременной войны на истощение, которую вел полководец Квинт Фабий Максим. В итоге, обвинив последнего в трусости и забрав свою часть войска, Минуций стал лагерем отдельно от Фабия. Между стоянками римлян и карфагенян возвышался холм, который мог стать выгодным опорным пунктом. Узнав, что у римских военачальников произошел раскол, Ганнибал ночью рассадил своих людей по рвам и ямам на равнине, а на рассвете открыто отправил небольшой отряд занять холм, рассчитывая вызвать Минуция на бой. Римлянин «проглотил наживку». Завязалось ожесточенное сражение, которое шло с переменным успехом до тех пор, пока Ганнибал, убедившись, что тылы римлян обращены к его солдатам в засаде, не подал сигнал, – те разом вскочили и со всех сторон ринулись на врага: крайние ряды были быстро изрублены, тогда как остальные обратились в беспорядочное бегство.

⁷⁴ Ана́басис (др.-греч. Ἀνάβασις – букв. «восхождение») – автобиографическое сочинение древнегреческого писателя, историка и мыслителя Ксенофонта. «Анабасис» описывает отступление десяти тысяч греческих наемников из Месопотамии после злополучной для них битвы (401 г. до н. э.), во время которой погиб нанявший их претендент на персидский престол, оспаривавший власть своего брата (соответственно, дальнейшая война не имела смысла, и у греков, находившихся посреди вражеской территории, не осталось союзников). Потерпев большие потери от постоянных вражеских нападений и трудностей многомесячного пути, эллины все-таки вернулись в Европу.

солдаты, позабыв с уныния всякую присягу, бросали пушки, утопавшие в сугробах, скидывали с себя тяжкий груз ружей, забивали лошадей, чтобы насытиться, без зазрений мародерствовали, и, упорно теснимые преследующими врагами, брели беспорядочным стадом обездоленных беженцев, один за другим валясь замертво на скованную морозом землю (либо пресекая невыносимые мучения пульей в висок). Лишь четверть воинства возвратилась в отчизну...

В итоге король подписал мирный договор, по условиям которого безоговорочно отказывался от притязаний на северные провинции (в залог чего предоставлял заложником собственного сына), а на державу накладывались крупные контрибуции. Совокупные последствия этой войны в дальнейшем неизбежно обернулись трагическими финансовым и духовным кризисами. В ночь после подписания унижительного мира генерал Аполинар Громовержец, запершись в своих покоях, кинулся грудью на клинок. Его похоронили с пышными почестями, и бессчетная процессия сопровождала до кладбища гроб «легендарного героя».

[Несомненно, вам известны вышеизложенные исторические события, но тем не менее я предпочел освежить их в вашей памяти, дабы вы явственнее прочувствовали то, что воспоследует далее.]

В середине весны Эвангел был репатриирован. Спустя год отсутствия он вернулся в родное селение, но на месте оно-го нашел черное пепелище... Преисполненные ожесточен-

ной жажды мщения войска неприятеля, вторгшись во вражеские владения, безжалостно разоряли и сжигали встречавшиеся на маршруте населенные пункты (*«Где нет закона, нет и преступления»*), одним из которых была предгорная деревушка Эвангела. Он предчувствовал, что так и случится (*«Истребляются мирные селения от ярости гнева Господня»*), он почти был убежден в том (*«Меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал как молния»*), но все-таки не смел поверить собственным глазам. Вся его жизнь оказалась в одночасье стерта нещадной лютостью войны. Не осталось ничего, чем свято дорожило сердце (*«Серя и соль, пожарище – вся земля»*). Только смутный блик надежды покуда брезжил в дымной мгле отчаянья.

Близ развалин истлевшего благоденствия стояло несколько наспех сооруженных жилищ (каковые скорее можно было приравнять шалашам, нежели лачугам). Эвангел наугад вошел под убогую сень одного из них и обнаружил там мужчину, что сидел на соломенной циновке, обхватив руками колени и съезжено покачиваясь (словно бы в бессознательной прострации). Эвангел не сразу, но узнал его: то был местный трактирщик, прежде дородный и розоволицый, а ныне чахоточно-землистый и отошальный, чьи волосы с проседью стали сплошь пепельно-серыми. Эвангел подошел вплотную; тогда несчастный сей, медленно приподняв понурую всклокоченную голову (в зрачках его затлелось какое-то подавленное удивление), хорошенько всмотрелся в пришельца и при-

знал своего односельчанина. При первом душевном порыве он, подскочивши, выказал неистовую, откровенно пугающую радость, но враз затмившуюся мрачным выражением печали. Эвангел уверился: последний луч надежды угас навеки. Экс-трактирщик поведал ему скорбную историю, коя в немногих словах такова...

Когда родителям Эвангела дошла весть, что младший из их сыновей погиб, мать предалась беспробудному горю, серьезно подкосившему ее здоровье; после же того, как разнеслась молва о катастрофическом поражении армии генерала Аполинара, о той кровавой бойне, которой подверглись попавшие в западню солдаты, больное сердце ее не выдержало и день спустя остановилось. Вскоре стало известно, что контрнаступающие вражеские войска пересекли границу. Некоторые из селян, недолго думая, ушли вглубь страны, в укрепленные города. Но немалая часть осталась на своей кровной земле; в их числе были отец и жена Эвангела, хранившая неизбывную веру в возвращение мужа. Когда неприятель подступал к деревне, супруга Эвангела вместе с трехлетним сыном, как и все остальные поселяне, бежала в горы. Отец же забаррикадировался на своей ферме, упрямо не желая бросать на разграбление то, что столько лет составляло смысл и гордость его бытия; он отстреливался от мародерствующих солдат из охотничьего ружья через оконце чердака, — но в конце концов те штурмом ворвались к нему в дом и, загнав его в угол, зверски закололи штыками. За двое су-

ток деревня была разграблена и сожжена дотла. Скрывавшиеся в заснеженных, суровых горах люди остались без крова, без пропитания. Некоторые из них так и не спустились на равнину, лежа среди бесприютных скал заиндевевшими трупами. Жена Эвангела выжила и пришла на то место, где у вечнозеленой хвойной рощицы еще недавно стоял их дом; на руках у нее покоился мертвый ребенок. Она уселась посреди пепелища и, прижав к груди околешего сына, как будто убаюкивала того. Кое-кто из односельчан попытался заговорить с нею, подвигнуть встать, но она не обращала никакого внимания, продолжая чуть слышно напевать колыбельную. Люди сознали, что женщина невменяема, и, обремененные собственными заботами, оставили ее в покое. Всю ночь шел снег. На следующее утро там, где сидела супруга Эвангела, обнаружили высокий сугроб; его разгребли: под ним, закопавшись воедино, находилась ледяная фигура матери и дитя.

Не берусь описать, что чувствовал, узнав обо всем этом, Эвангел, поскольку и сам он в своих записях оставил здесь пробел (говорящий, пожалуй, более, чем какие-либо слова)... «Что делать? Как быть? Возможно ли жить?» – отчаянно спрашивал он себя. Первым побуждением было немедленно отрешиться от inferнальной яви, но Эвангел не посмел, полагая, что такова божья кара – такова расплата за то, что он служил винтиком в дьявольской военной машине, и главным образом за то, что он творил зло – в отличии от иных сослуживцев, почитавших себя героями-патриотами – с от-

четливым пониманием его подлинной сути, – а это есть величайших грех на свете. Однако Милостивый Господь, прозревая у него в душе праведность, так грозно наказал его, верно, именно затем, чтобы дать ему шанс доказать свое благочестие, – сходно тому как некогда Он позволил сатане восхитить без остатка у богобоязненного Иова⁷⁵ все, что составляло счастье того («*Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?*»). Скорбь не озлобила Эвангела, но внушила вящее смирение («*Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злого не будем принимать?*»). Все близкие люди мертвы. Ничего нет в сем мире. Остался Бог.

В детстве мама рассказывала Эвангелу, что в столице выстроен настолько большой и чудесный храм с куполом, золотым небесам подобным, что сам Господь Бог пребывает в нем, и каждый, кто туда приходит, может воочию узреть

⁷⁵ Иов – согласно библейской легенде Иов «был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла», а по своему богатству «был знаменитее всех сынов Востока»; у него было семь сыновей и три дочери, составлявшие счастливое семейство. Но сатана («противоречащий») перед лицом Бога стал утверждать, что Иов праведен и богобоязнен только в силу своего счастья. В ответ Бог позволил сатане испытать Иова любимыми бедствиями земной жизни. Сатана лишает Иова всего богатства, всех слуг и всех детей, а когда и это того не поколебало, сатана поразил его тело страшной проказой; болезнь вынудила Иова удалиться за пределы селения, там он сел во прах и скоблил черепком струпья у себя на теле. Но так как Иов остался непреклонен в своем благочестии, Господь воздал ему за терпение: скоро он исцелился от проказы и разбогател больше прежнего, у него опять родилось семь сыновей и три дочери. Иов прожил после сего в счастье 140 лет.

светозарный лик Спасителя и просить у Него, о чем только пожелает, будучи непременно услышанным. То была сказка, каких изрядно бытует в захолустьях, но как, по-видимому, сама мать, так и Эвангел, свято в нее верили в сущей наивности своей. И вот Эвангел решает отправиться предстать пред Очи Господни и молить Его о прощении за содеянные прегрешения, молить о «вретище искупления» оных... молить о Слове... Лишь одна мысль смущала Эвангела: не того ли ради Всевышний отнял у него дар речи, дабы он, прбклятый, не имел возможности вознести молитву?.. Так или иначе, нужно было без промедления куда-то идти: задерживаться в родном краю, чьи давно остывшие уголья, мерещилось, доселе испускают чад удушающей гари – горький дым выжженного процветания – было свыше сил его; и Эвангел, не оборачиваясь, двинулся в том направлении – в ту неведомую даль – где, как он сызмальства знал, располагалась баснословная столица.

То было долгое и трудное паломничество. Денег у Эвангела не наличествовало; половину остававшегося пайка он из сострадания отдал бездельному «трактирщику», свою же часть растягивал, как только мог, но в третий день была проглочена последняя кроха. Между тем Эвангел до сих пор проходил мимо либо полностью опустошенных, либо полуразрушенных деревень, где людям и самим нечего было есть. Не имея лучшего, он питался травами, листвой, кореньями, изредка находил кусты с ягодами; спал на голой земле, ды-

рванной армейской шинелью укрываясь. На шестые сутки почти безостановочного пути Эвангел добрал до пощаженного войной городка. Здесь, вконец изможденный и изголодавшийся, чуть живой, он с инстинктивной решимостью вошел в булочную и на коленях стал молить хозяйку дать ему что-нибудь поесть, судорожно тыча пальцем в свой во всю ширь разинутый рот. Та тут же сунула ему в руки несколько подзаплесневелых хлебцев, поторапливая немого бродягу «убратся вон, ради бога, да не мычать на всю лавку». Эвангел, едва ли себя помня от ликования, забежал в подворотню и там с дикой, бесконтрольной поспешностью стал до боли зубовой вгрызаться в черствый хлеб и, казалось ему, что отродясь не ел он ничего вкуснее (хотя Эвангел сомневается, будто в действительности ощущал какой-либо вкус, – глотал, не успев прожевать). В дальнейшем, проходя через города и села, еще не раз Эвангел вынужден был выпрашивать подачки и лишь дважды (по вине немоты и нищенского вида) ему удалось наняться на тяжелую поденную работу, чтобы честно заработать несколько грошей на пропитание.

Но как бы ни был страшен голод телесный, душевный глад не менее страшен, а утолить его премного сложнее. Никогда прежде не чувствовал Эвангел себя столь одиноким, столь несчастным. На войне в груди его неугасимо теплилась мечта вернуться к своей семье (в силу чего он испытывал укрепительную сочувственную связь с некоторыми, сходными ему судьбой, невольными «товарищами по оружию»); теперь же

он был безнадежно потерян в целом мире – чуждом, враждебном – и не имел способности ни с кем перемолвиться, не мог изречь ни единого человеческого слова, и ни единому человеческому слову не доводилось ему внять. Люди взирали на него с отвращением, опасливостью, злобой. Он ощущал себя бродячей собакой, которую чураются, подозревая у ней бешенство. Нередко женщины, его завидя, брезгливо переходили на другую сторону улицы; мужчины, бывало, ежели, преградив дорогу, просил он милостыню, обрушивались на него с сердитыми окриками, а порой били ногой или тростью; дети преследовали его, как диковинного зверя, и, случалось, с озорной жестокостью швыряли в него камнями, над безответным страдальцем потешаясь задорно; попрошайки, «братья по несчастью», и те, пьяной бранью гнали его прочь с оседлых зон своего *промысла*. Казалось, все человечество ополчилось против Эвангела в правой ненависти, но он не ведал обиды, следуя заповеди: «*Коль ударили по одной щеке – подставь другую*»; и каждое унижение принималось им за очистительную благодать. «Истинная любовь к Богу обретается чрез вражду людскую», – думал он, воскрешая в мыслях «скорбно-прекрасный» образ распятия («*Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим*»).

Свыше двух месяцев тянулись скитания Эвангела, когда одним июньским ранним утром он наконец достиг столицы. Вначале, пробираясь по безобразным трущобам город-

ской окраины, где меж обветшалых построек и зловонных каналов открытых водостоков мрачными тенями рыскали представители общественных низов, Эвангел пугающе усомнился, что это в самом деле то место, где может стоять «Дом Господень»; но как скоро он вышел на просторы центрального района, то, дивясь высоте и помпезности зданий, там возведенных, великолепию статуй и фонтанов, украшающих площади и скверы, и довольству нарядных горожан, беззаботно прогуливающих по бульварам широких оживленных проспектов, уже, сей фантазмагорией преуспевания изумленный, не сомневался, что цель его паломничества где-то рядом. Словно бы в волшебной-расплывчатой дреме блуждал Эвангел среди неоглядных каменных массивов ошеломительной архитектуры, среди нескончаемых потоков «разношерстных» прохожих, среди гремящих экипажей драгоценно-затейливого убранства со сказочной стати лошадьми, в них запряженными, среди невиданных вещей и явлений, которым он не знал названий. И вот на исходе дня очам его предстал грандиозный белоснежный храм с рдеющими золотыми куполами, каковой, на холме расположенный, знаменательно возвышался, «как бы паря», над городом; взойдя по многоступенчатой лестнице к распахнутым воротам железной изгороди, Эвангел замер в благоговейном восхищении: колокольня, едва небес не касающаяся, монументальные колонны портиков, фризы причудливой лепнины, цветистая художественная роспись, и над парадным входом – чудесный

лик Спасителя, сияющим нимбом венчанный. «Торжественное зрелище, неземной благодати преисполняющее!» Эвангел тотчас же поверил, что именно в такой обители и приличествует пребывать Господу Богу.

Дрожа всем телом, Эвангел ступил на священную территорию и робко направился к церкви, – как вдруг услышал оклик. Обернувшись, он увидел семенящего к нему быстрыми твердыми шажками низкорослого старичка, во все черное облаченного, с выбритым лицом и густо-белыми, подвязанными в пучок волосами. «Монастырь закрыт!» – внушительно повторил он несколько раз – громче и громче. Эвангел же, решив, что тот священник, бросился пред ним на колени, молитвенно сложил руки. «Час уж поздний! Надо было раньше приходить. Нынче сестры тебя не примут. Время милосердия истекло. Теперь только завтра. Хоть моли, хоть не моли. Да хоть лоб о паперь расшиби! Таков уж устав!» – скороговоркой проговорил коренастый старичок, встав над Эвангелом, который, вне себя от волнения, ничуть не смекал, о чем ему толкуют, а посему оставался изваянием, в мольбе застывшим. И тогда тот, кого Эвангел почитал за священнослужителя, всмотрелся в него с отеческим состраданием и тяжело вздохнул, сказав засим [речи его передаю в той манере, в какой отражены они в записях Эвангела]:

– Что-то ты, сынок, впрах опустился. До чего ж тощий! Страшно глянуть! Рубище, а не одежда! А ведь молодой совсем и крепкий-то с виду. Как же можно?.. И на пропойцу

вовсе-то не похож... Ладно уж... не могу тебя вот так взять да вон выставить, – хоть по долгу службы мне то и положено... да по-человечески недолжно... Ежели закон и правда в разладе, предпочесть закон – преступление. Ибо закон от людей, а правда – от Бога. И лучше, клянусь, поступать по справедливости, нежели по правилу. Вставай-вставай! А я схожу ворота запру. Ведь еще пару минут, и ты бы сюда не проник... Мне полчаса тому назад, на самом-то деле, их запереть полагалось, – на ходу говорил старичок, шагая к воротам. – Замешкался я. Стар уже. Еле тут со всем управляюсь!

Исполнив свою обязанность, он воротился к Эвангелу, так и не переменявшему позы.

– Ну что ж ты, сынок, все на коленях-то? – произнес старичок с добродушной укоризной. – Подымайся, и пойдем уже. Я тебе не боженька, чтоб на меня молиться. Встань; я тоже человек. Вижу, что худо тебе, – этого достаточно, более чем. На то нам, людям, и даны наши разнообразные чувства да толика здравого смысла, дабы все понимать и действовать по разумению да по совести...

Эвангел поднялся на ноги и проследовал за «странным священником», толком не разбирая, что происходит. И покуда они шли тропинкой по саду, его вожатый, ступая упругой, моложавой походкой, продолжал без умолку вещать, указывая то на деревья, то на гряды, клумбы и кустарники. Но Эвангел, уже давно ничего не евший, измаянный безостано-

вочной ходьбой и обилием впечатлений, не улавливал сути фраз, что эфемерно улетучивались в кружившем голову благоуханно-теплом воздухе летнего вечера.

Они подошли к небольшому домику, приютившемуся в отдаленном закутке с тыльной стороны храма, и поочередно умылись из рукомойника. Подле размещались вольеры с кроликами; подступив к зарешеченным клеткам, старичок любовно зацокал языком и при улыбке, разгладившей морщины на смуглом лице, заговорил:

– Вот знакомься пожалуйста: мои соседюшки ненаглядные! Премилые создания! Особенно этих вот погляди! Как-вы пухнастики! А?! Порода такая! Они и погладить себя дают охотно, – ну совсем как котята. (Впрочем-то, и остальные по-своему не хуже...) Я их выращиваю, деточек моих, откармливаю хорошенечко... – в голосе его что-то дрогнуло. – А почто?.. Страшно вымолвить! На стол монахиням! Вот тебе и «пречистые девы»! Как же можно?.. Ты вот, скажи-ка мне, сынок, понимаешь ли, как это вообще возможно есть кролика? Это же уму непостижимо! Это же за гранью добра и зла, я считаю! А? Да ты только взгляни, к примеру, на вот этого желтенького ушастика!.. Ну что ты, солнышко мое? – ласково воркуя, старичок прильнул лицом к самым прутьям клетки. – Благо, ничего-то ты не понимаешь, глупенький мой ангелочек... – и, тягостно вздохнув, посмотрел (взблеснули очи его) на Эвангела. – А ведь мне-то они как родные детки становятся, пока пестую их и лелею. Всей душой, можно

сказать, к ним привязываюсь. Сестры посмеиваются: старый дурень, дескать. Да что ж поделать, когда человеку одиноко, когда нет у него никакой иной отдушины, когда некого ему любить, кроме этих вот несчастных зверушек? (А как их не любить, хорошеньких?..) Может, это, впрочем, и не любовь никакая, может, даже блажь вздорная... а все-таки ж не что-то пустое, все-таки искренно трогает мою душу, наполняет ее, – не вдосталь, но наполняет, – чем-то вот глубоко насущным... Я ведь даже бывает плачу по ним, миленьким, когда на убой отдаю, как по деткам своим родненьким, – слезливо шмыгнул старичок. – Да и вообще всякий раз – вот хоть сейчас – вроде и радуюсь, на них глядя, а меж тем сердце-то кровью обливается: скорблю уж заведомо о невинно убиенных в самом расцвете прекрасной своей несмысленной жизни (именно что несмысленностью-то своею и прекрасной)... Ну а что ж тут поделаешь? Ничего не поделаешь... Я помру, так будет их другой кто выращивать и, не исключено, без должной на то заботы... да забивать их самолично возьмется... Мне-то, значит, настоятельница говорит однажды: может, вам как-то самому, дедушка Касьян, с кроликами разделываться, зачем же нам постоянно обращаться за услугою сей пустяшной к мяснику, говорит. А я ей так и сказал, что вы, матушка, лучше уж выставьте меня сходу вон, нежели просить о таком. Они мне ведь, как детки, говорю. Она в ответ нахмурилась, мол, глупости какие такие несете, дедушка Касьян, несусветные – ересь какая-то, ей же богу: се бес-

смысленные твари, говорит, у них и души-то нет, а только ж пар, навроде как у машин. Может и так, матушка, соглашаюсь, может и так, одному Творцу ведомо; да только ж у меня-то, как ни крути, у меня же есть душа... Ну, в общем, недовольна осталась, брови сдвинула, вздохнула эдак смиренно (как они умеют), да отпустила меня с богом, что говорится...

Прискорбно покачав головой, старичок отошел от вольеров, отворил дверь в хижину и молвил, не оборачиваясь:

– Ну что ж, заходи, милости просим...

Вконец растерявшись от диковинных речей этого диковинного священника, называемого дедушкой Касьяном, Эвангел прошел за ним следом в одноэтажный домик. Сестры не было, и они сразу оказались в весьма просторной, почти пустой (и образцово опрятной) комнате: стол, пара стульев, буфет и ларь – вот, по большому счету, вся скромная, но добротная обстановка; в левой стене был проем в смежную узкую коморку, где виднелось изножье кровати. Старичок зажег лампаду и принялся подавать на стол.

– Ты уж не обессудь, гость дорогой, но быт мой весьма беден, – говорил он между делом. – Да, впрочем, в бедности, по-моему, нет ничего дурного. Дурна нищета – неимение даже необходимого. Дурна, к слову, и роскошь, поелику на лишние средства и приобретается, как водится, лишнее, истинно насущное собой превратно подменяя. А бедность, как говорят, вещь весьма приятная: ее для всех вдоволь, ей не

завидуют, не стережешь ее – она целехонька, пренебрегаешь ею – она ж только набавляется, – усмехнулся старичок со всем же дивным – «загадочным, как у ребенка» – выражением, усталый лик чудодейственно молодящим. – Ну а коль серьезно, то человеку, вполне довольствующемуся скромным, есть, воистину, чем гордиться, понеже: большой это талант – малые потребности...

Трапеза была совсем простая: каша с тушеными овощами и разбавленное вино, – но впервые за очень долгое время Эвангел ел как человек. И когда дедушка Касьян по-отечески благодушно ему улыбнулся, спрашивая вкусна ли каша и не угодно ли добавки, у Эвангела так больно и вместе так отраднo защемило на сердце, что он громко всхлипнул, не в мочи расплакаться.

– Вижу я, сынок, пришлось тебе на своем кратком веку горя уж хлебнуть сполна, – завел речь дедушка Касьян, как скоро ужин был кончен. – А ведь я, – у меня-то глаз наметанный, – под сей шелухой нищенства и мытарств прозреваю, какое милovidное у тебя кроткое лицо. И молчалив ты к тому ж... это хорошо; немногословие, что говорится, красит юность. Обычно ведь молодежь стрекочет без продыху всякую дребедень, всякие там поганые шуточки, всякую пакость гадкую смакует аки сахар. А как сказано-то в Писании? Не то, что входит в уста оскверняет человека, а то, что из уст выходит... Да, впрочем, справедливости ради заметить, и зрелые-то люди, мягко говоря, не лучше. Что там! Многих ста-

риков тошно послушать! А на сем белом свете что ж может быть противней и несносней бестолкового лепета поседелой малышни? Куда, спрашивается, тарасились вы, господа, покуда мозг ваш усыхал в потемках черепной коробки, покуда души ваши прели в замуравленных грудях? Известно куда. в будущее. Да только вот будущее, мои ненаглядные, не где-то там в прекрасном далёко, а вот прямо уж за спиной вашей стоит и в затылок-то вам дышит, – только ж вы того и не чувствуете... «Мальчик отец мужчины», – гласит пословица. «Как так? Нелепость какая!» – закудахчут они, что те куры, кои вперед яиц родились. А именно так вот и есть. Река жизни непрестанно вперед течет по руслу вечности, но ведь и у нее имеются свой исток и свои излучины; и все, что было «до» закономерно перетекает в «после». Как из семечка вырастет вишня, так из мысли вырастает разум... Ты не подумай, сынок, я тут пред тобой не кичусь, что, дескать, философ великий. Я человек простой. Да только ведь соль в том, что и простому человеку надобно быть немножко философом. Ибо пусть ты прост (что ж тут дурного?), а все-таки человек. Человек звучит гордо. И необходимо, всенепременно необходимо иметь эту гордость за себя, никогда не забывать о собственном достоинстве. Вот, например, в чем мой долг службы? Ухаживать за деревьями, сажать и полевать овощи, грядки полоть, цветы выращивать, о кроликах заботиться, да всякое прочее в том же роде. «Пустяки!» – скажут иные. И что же? Пустяки, не спорю. А все-таки есть от сих пустя-

ков своя польза, не правда ль? Стало быть, и тут необходимы понимание и рачение. Так вот то, что должно, делаю по-человечески, то бишь по уму и с душою. Это мое дело; пускай немудреное, пускай маленькое, однако ж тоже полезное и ответственное. Потому-то взираю я на творения стараний своих и искренно радуюсь, какие здоровые у меня деревца, какие сочные плоды, какие красивые цветики да до чего холеные кролики... И гордо мне, по-человечески гордо, понеже все это далось мне знанием и прилежанием, все это произведения моего благого замысла... Понимаешь ты меня? Да что ж ты все молчишь, сынок?.. Немой ты, что ли?

Эвангел понуро кивнул головой.

– Эх, сынок, сынок... – на вздохе проговорил дедушка Касьян. – Жаль... Родился ты таким? Нет? А что ж с тобою случилось?

Эвангел пожал плечами; после чего хаотичными движениями рук попытался изобразить взрыв; но когда увидел, что старичок непонятливо морщится, показал вначале будто целится из винтовки, а потом опять взрыв, резко и пространно раскинув руки в стороны да кистями потрясая.

– Ага... значит, ты у нас ветеран, – смекнул дедушка Касьян. – Подорвался, что ли? Контузия? Да, бывает... Печально, конечно... Речь – великое благо. Но ты не унывай, сынок. За тобой остаются разумение, зрение и слух – этого довольно. Ведь не существуешь в природе нашей хоть чего-то из сего, а в особенности первого, то о полновесной речи и по-

давно, так сказать, речь не стояла б. Тем паче обычно, как я давеча поминал, возможность говорить только-то портит людей: знай себе тараторят, хохочут, ругаются, а слушать-то и не умеют. «Мудрый глас спит в глупом ухе», – как говорится... Вот ты наверняка тоже раньше слушать не умел, да теперь по нужде-то приучишься, коль не дурачок пропащий, и еще порешишь, что в тысячу раз лучше обладать внемлющим слухом, нежели внятной речью, – в виду этих слов дедушка Касьян ободряюще подмигнул левым глазом.

– А издалёка ты сюда прибыл? – спросил он засим.

Эвангел утвердительно кивнул.

– Да, по тебе сразу видно. Небось, чего только не натерпелся за свои странствия... «У лис есть норы, у птиц – гнезда, а сыну человеческому негде голову преклонить»... Столица манит бродяг, что мух – патока. После этой ужасной войны бессмысленной они сюда роями налетают. Целое нашествие. Уж власти не в шутку опасаются, как бы какой эпидемии повальной от них не приключилось. Отлавливают, точно псов бездомных, да вон вышвыривают; впрочем, без особого толку: слишком уж много крысиных ходов и кротовых нор в сем бездонном граде... И часто среди этих бедолаг заметишь твоих, так сказать, собратьев – искалеченных ветеранов: у кого рук нет, у кого ног, а у кого ни того, ни другого... – дедушка Касьян протяжно вздохнул с сомкнутым ртом, так что в горле у него зарокотало. – Думают, раз здесь много богатых, то людям, поди, живется лучше. Воис-

тину не понимают: богатые потому и богаты, что не влагают милостыню в каждую протянутую длань; и богатый смотрит с той же чуждостью на нищего, с какой нищий смотрит на богатого, – разница в том лишь, что один глядит сверху-вниз, а другой – снизу-вверх... И ты, видать, сынок, побираться сюда прибрел?

Эвангел, смущенный, отрицательно замахал головой.

– А зачем же тогда?

Эвангел призадумался: как показать умысел своего путешествия? Вначале он молитвенно сложил руки, благоговеино ввысь взирая, и следом стал указывать двумя растопыренными пальцами, то на свои глаза, то на потолок. Дедушка Касьян, сообразивши, молвил проницательно:

– Значит, бога ищешь?

Эвангел закивал с лучистой восторженностью: впервые за очень длительное время его кто-то действительно понял.

– Пустое, сынок... – меж тем небрежно отмахнулся дедушка Касьян, скорчив кислую, как от оскомины, гримасу. – Я, быть может, точно не укажу тебе, где бог есть, но зато наверняка подскажу, где его нет – в этом городе. Это же новый Вавилон. Здесь отыщешь все, что заблагорассудится: искусства, науки, разномастные развлечения и удовольствия, поразительные зрелища, роскошь несказанную, дворцы, подобные храмам, и храмы, подобные дворцам, – все дивные творенья рук человеческих. Но ничего божьего тут и в помине нет. Пусть тебя не обманывает напускная величавость

здешних церквей – это все не более как игрушки тех, кому любо играть в набожность. А вычурно разряженные священники – этакая знать в стихарях, – не думаешь ли ты, что они напрямую сообщаются с «Всевышним»? Да господи боже мой, не воображаешь ли, что им вообще дело-то до него какое великое есть? Ага, такое ж, как пастуху до своей дойной коровы, коей дорожит за молоко и сливки. Они обряды там всякие пышные отправляют, кадят ладаном, свечи жгут без перебоя, невнятно что-то себе бормочут на никому непонятной латыни, псалмы распевают, водицей кропят, крестятся налево-направо, – да только вот зачем и почему – сами-то, поди, не знают; одно им ведомо: сия религиозная возня – сие пустосвятство – их хлеб. Ибо единственный сущий бог в этом городе есмь деньги. И не в пример алхимикам, так и не нашедшим, сколь мне известно, секрета философского камня⁷⁶, клирики научились извлекать золото из грошового воска, да пуще того – из пустопорожних бессмыслиц, нелепых сотрясаний воздуха, торжественно молебствиями нарекаемых (ведь по меньшей-то мере: для кого возносить молитву – повинность, тот, само собой, и не в мочи молиться по-настоящему, то бишь от души, а лишь, что называется, форму соблюдает; но толку-то в букве, ежели духа нету). Вся эта церковная чепуха, откровенно будь сказано,

⁷⁶ Философский камень – в легендах средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для успешного осуществления превращения (трансмутации) металлов в золото, а также для создания «эликсира жизни».

на том и строится, чтоб людям головы морочить да держать их, аки стадо, в загоне покорности благочестной; оно, может, и не дурно-то на вскидку – бескровно смирать жестоковыйную чернь хомутом божеских стращаний и посулов; да только ж вот какая тут выползает гадина: от благоверия до мракобесия всего-то полшага, всего-то ведь самый чуток преткнуться... Нет, сынок, жаль, конечно, тебя разочаровывать, но скорее ты мог бы отыскать бога там, откуда пришел, нежели здесь. Бог приволен в первозданной природе, а не заточен в обтесанном камне («Небо и небо небес не вмещают Его», – что говорится). Бога не увидеть, не постичь, но только почувствовать возможно, как не увидеть и не постичь воздуха, коим мы дышим, коим живем... и о коем обыкновенно вспоминаем лишь тогда, когда задыхаемся...

Эвангел был сражен и подавлен, но в то же время все услышанное так его взволновало, так перетряхнуло его дух, что он почувствовал, как взамен утраченным иллюзиям, пылью развеявшимся, воспринял нечто иное, нечто явственное и освежительное – нечто животворящее (хотя и не мог пока осмыслить, что же такое это было).

– Давай-ка ложиться спать, сынок, – сквозь зевоту проговорил дедушка Касьян. – У нас обоих был долгий и непростой день; надо бы днесь отдохнуть. Ты пожалуйста занимай мою кровать в соседней комнатушке, – там как раз белье давеча перестлано, – а я лягу здесь, на тюфяке.

Эвангел порывисто воспротивился.

– Нет-нет, не верти-ка мне тут головой, – с категоричностью молвил дедушка Касьян, указательным пальцем поводя. – Мне будет очень приятно, коли ты наконец выпишься по-человечески. А мой старческий сон и без того крепок (совесть, благо, чиста). Мне только-то глаза закрыть и, виси я хоть вверх тормашками, к потолку подвешенным, что нетопырь, – усну как миленький. Сон – брат смерти, – чем ближе последняя, тем вернее первый.

Эвангел все-таки продолжал изъяслять мимикой и жестами конфузливые возражения, но в итоге дедушке Касьяну удалось его убедить; он говорил:

– Коли я хочу поступить по добру и по совести, то зачем ты меня того малодушно лишить намереваешься? Это ж все равно как рыцарю отказать в подвиге! Неблагодарно, сынок, и неблагородно! Ведь подлинная награда за добродетель в чем?.. В ее проявлении... А кто с радостью принимает благодеяние от того, кто с радостью благодеяние оказывает, тот уже тем самым за него и воздает!

Эвангел лег на кровать с такой стыдливой осторожностью, точно сие грубо сколоченное ложе было священным иль настолько хрупким, что грозило рассыпаться. Долго он еще лежал с открытыми глазами в чуткой неподвижности, покуда из смежной комнаты реял мелодичный храп дедушки Касьяна; и все думал о том, что, не найдя бога, нашел человека...

Проснулся Эвангел только в полдень. Все тело ныло, но то была томная, даже приятная боль – боль расслабления.

Удивительно прояснилось сознание (и обоюдно – настроение). Ему чудилось, что в одну мирную ночь он отоспался за все ненастные ночи своей бивуачной и бродячей жизни. И дело было не в физическом удобстве, а в успокоении души. Эвангел вышел из «спальни» в «гостиную», и дедушка Касьян, благодушно его поприветствовав, подал на стол парное молоко со свежеиспеченным, пышущим ароматом пробуждения хлебом. Сердце высокой струной зазвенело в груди Эвангела – теплые слезы взметнулись к глазам, нежно увлажнив их. А дедушка Касьян посмотрел на него с ласковой, всепонимающей улыбкой; и заговорил сосредоточенно-неспешно:

– Знаешь, сынок, я ведь стар уже. Восьмой десяток мне пошел. Сестры подтрунивают надо мною: «Что вы, дедушка Касьян, такое говорите, будто вы стары? Поглядите, какая юношеская у вас походка, какая статная осанка, да какова свежесть лица! Лучше скажите-ка, на милость божью, в чем секрет ваш? Как бы это и нам в почтенные ваши годы так чудно сохраниться?» И посмеиваются, точно б голубки, в стайке воркующие; они тем хотят показать, что, мол, шутят (и мне и друг дружке, да и себе самим, конечно), а все-таки ж в каждой шутке, что говорится, есть доля правды: пусть и монахини, а как-никак женщины, – ведь и им хочется нравиться. Я ж в свой черед отвечаю: «Да, пожалуй, что и впрямь, – чего ж лукавить, – получше большинства своих ровесников я сохранился, – только вот секрета тут никакого особого нет.

Просто почти всю жизнь свою прожил я в размеренном труде и благомыслии, не позволяя ни суете, ни маете, ни скуке, ни докуке, ни чаяньям, ни отчаянью, подтачивать свое естество аки червям»... Да только ж, сынок, все-таки изрядно чувствую уже старческую слабинку, а посему, что надобно делать в срок – делаю спеша, а где надобно поднапрячься – перенапрягаюсь. В общем, давненько помышляю я о помощнике. Помышлять-то помышляю, можно сказать, намечтываю, но это все до сего дня было так... вскользь, не всерьез. Ведь тут вот какое дело: я с людьми очень туго схожусь. Только ж ты, сынок, не подумай, будто это оттого, что я, дескать, брюзга какой заклятый, – нет-нет, всё, поверь, как раз-таки наоборот, – от искреннего дружелюбия это, всюду попираемого, от человеколюбия, бесперечь уязвляемого... Потому-то и занимаю свою неприятительную уединенную должность монастырского садовника вот уж добрую четверть века. Поверишь ли? Как время-то летит!.. Неисповедимо... Двадцать пять годин! Это сколько ж дней, получается?.. Хотя какая разница? Важно другое. Важно то, что за всю сию долгую, а, впрочем, весьма краткую пору я о своем скромном трудовом затворничестве ни капельки-то не пожалел. Ибо доподлинно ведомо мне, что вне сей огражденной обители свирепствует страшная, нещадная суматоха – вавилонское столпотворение, где никто никого по правде не понимает... да каждый норовит пожрать другого... Эх! – досадливо отмахнулся дедушка Касьян, будто б от стаи мошек. – Так вот... я, когда

брался себе воображать возможного своего помощника, никак не мог уразуметь: каким таким ему надо быть, чтоб не свел он меня тут с ума. Знаешь, говорят: «Человек человеку волк», – ты душу пред ближним своим обнажишь, а он возьмет да и вгрызется тебе в самое нутро по люлости безрассудной, имя коей – невежество; ведь невежество и порок суть одно и то же, – по речению мудреца стародавнего, – равно как суть одно и то же вежество и добродетель. И сродно тому, как тверд, терпок и горек несозревший плод – груб, суетен и злосчастен невежественный человек... Так, в общем, я и ломал себе голову без толку, меж тем как закатные сумерки все гуще сползались предо мною. Но вот неожиданно-негаданно явился ты, сынок. И я аки прозрел, воистину. Во-первых, ты нем, что на корню пресекает для тебя возможность трепать языком всякий несносный, убийственный вздор, а кроме того, по необходимости научает созерцать и слушать – как окружающий мир, так и свой внутренний; во-вторых, ты уже претерпел, насколько могу судить, великие горести, стало быть, на собственной шкуре прочувствовал, сколь дурно зло и мерзка неправда, и сколь благостно добро и прекрасна справедливость; в-третьих же, есть в тебе что-то подлинно располагающее, вот что-то прямо-таки невинное и чистое светится в зеницах твоих, – словом сказать, есть в тебе нечто такое, что как бы несознательно будит во мне отеческие к тебе чувствования, отчего, когда называю тебя сынком, ощущаю, что это не просто так от разницы в годах и по незна-

нию имени с языка срывается, но прямо вот из глубины моего духа звучит вещим гласом откровенности... А помимо ж всего прочего, вижу по рукам твоим крепким, что к работе ты приучен да, поди, знаешь с какой стороны за грабли-то браться... И, значит, размыслил я: тебе ведь, сынок, некуда идти, никого у тебя, как я понял нету (кто ж еще, как не безнадежно сырый и отчаявшийся пустится по свету бога искать?); а посему с легкой совестью тебе предлагаю: оставайся здесь, стань мне, одинокому старику, товарищем и подмогой. Настоятельница я скажу, что ты, мол, племянник мой – юноша путевый и благочинный; что, так и так, деревню твою сожгли в войну, ты и разыскал меня, с божьей помощью, единственного своего здравствующего родича, да что податься тебе некуда, а мне-то как раз надобен помощник и приемник. Она согласится – мы с ней на короткой ноге (то бишь она ко мне привыкла). А не по нраву тебе тут житье придется, так, не вопрос, уйдешь в любой момент: ворота весь день открыты. А коль ты мне не по нраву придешь-ся (коль вдруг ошибся я в тебе), то я и сам, будь здоров, тебя выдворю. Я, знаешь ли, благотворительностью заниматься попусту не намерен. Жизнь человеческая – в деятельности. Кто ж работать не хочет (хотя и может, – и таких среди них большинство), того разве что могила от нищеты спасет; все его злосчастье по его же доброй воле с ним творится, поелику лень – мать всех пороков – входит у него в натуру, и он готов битый день протирать зад на паперти, нежели несколь-

ко времени посвятить труду (тогда как деятельный человек и часу в тупой праздности усидеть не в мочи). А те «благотворители», кои таким «нуждающимся» вспомоществуют, тем самым им и вредят. Что говорится: «Дай попрошайке денег, он купит себе еще отрпьев»... Ну так что ж, сынок? Согласен ты на мое предложение?

В ответ Эвангел, зажав глаза, убежденно кивнул с грудным, надрывистым всхлипом, и из-под опущенных век его засочились слезы, «словно животворные воды из скалы в Хориве⁷⁷». Он испытывал, как в жизни опять зарождается смысл. Он чувствовал, что вновь обретает дом. Дедушка Касьян взял его правую руку в свою и, умильно улыбаясь, пожал ее с отеческой теплотою...

[Вы сможете непосредственно ознакомиться с оригинальными записями Эвангела (все они хранятся в библиотечном архиве), ежели пожелаете обозреть некоторые подробности последующих одиннадцати лет его жизни при монастыре и лучше узнать личность дедушки Касьяна, каковая того несомненно заслуживает. Я же расскажу об остальном предельно кратко.]

Дедушка Касьян обучил Эвангела всему, что знал, и тот

⁷⁷ Воды из скалы в Хориве – согласно библейской легенде, мучимый жаждой народ израильский возроптал на Моисея во время скитаний по пустыне. Тогда Моисей обратился к богу, и Господь сказал ему: «Пройди перед народом, и возьми с собою некоторых из старейшин Израильских, и жезл твой возьми в руку твою, и пойди; вот, Я стану пред тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». Так и случилось.

стал поистине искусным, любящим свое дело садовником, которым по праву гордился наставник. Впрочем, не перенятые навыки и обретение воодушевленного занятия превыше всего ставил Эвангел, но ту безыскусную мудрость, какой оделял его почтенный ментор, ведя с ним в часы работы и отдыха дружеские беседы, вышеизложенным сродные; и главный урок, усвоенный Эвангелом, состоял в том, что добро не исходит от бога, равно как зло не есть происки сатаны, но и то и другое – удел человека, которому надлежит сделать осмысленный выбор добродетели либо опрометчиво поддаться порочности. «Человек сам свое небо – человек сам свой ад», – часто говаривал философствующий садовник. Таким образом, Эвангел и дедушка Касьян сосуществовали в полном единодушии, не ведая размолвок и огорчений; им было хорошо и интересно вместе, они были по-своему счастливы. Но на девятом году от их встречи, дедушка Касьян мирно опочил, оставив приемнику своему в наследство то единственно ценное, чем обладал: опыт. С оной поры Эвангел, блюдя бестревожную самоизоляцию, жил одной неустанной работой, как физической, так и духовной, и, облагораживая монастырский сад, облагораживал сад своей души. Однако впредь он уже не чувствовал себя вполне довольным; лишь на краткие мгновения его охватывало настроение былой отрады, когда мерещилось ему, что, проходя меж деревьями и клумбами быстрой упругой походкой, лучистое видение дедушки Касьяна улаготовлено любителю

старательным – *человеческим* – трудом своего «сынка».

Истинно писано Аристотелем: «*Дружба самое необходимое в жизни. И никто не изберет жизнь без друга, даже в обмен на все прочие блага*».

Наконец, в один день, ко времени которого Эвангел занимал садовничью должность уже свыше одиннадцати лет, его вызвала настоятельница монастыря, дабы о том уведомить, что он будет переведен в другое место. Эвангелу сего вовсе не хотелось, но он видел: не хотелось того и настоятельнице, – а посему понял, что будь даже у него способность и возможность возражать, это оказалось бы бесполезным: все решил некий авторитет, чье усмотрение нельзя оспорить. Сим авторитетом являлся духовник моих родителей, значащийся одним из попечителей монастыря. По его диктату немой и безукоризненный работник Эвангел был доставлен в горное поместье, чтобы содержать оное в должном порядке, служа мне с Лаэсием».

На этом рукопись оканчивалась.

За окном стало совсем светло; небо чудилось прозрачным океаном, в котором утопают горы и леса, и неуловимо проплывают невесомые громады пенных облаков.

Вскоре Эвангел принес мне завтрак. Когда он вошел – сплошь убеленный сединою, бледный, печальный, но прямой, спокойный, с блестящими добротой глазами – я глядел на него *иным* – проникающим – взглядом (так мы по-ново-

му созерцаем произведение искусства, его идейный контекст узнавши), и чувствовал, что всем сердцем доверяю этому человеку.

– Эвангел, – обратился я к нему, – Себастиан... Себастиан не изменил своего... отношения?

Эвангел отрицательно покачал головой.

– У меня есть шанс переубедить его? – молвил я следом.

Эвангел отрицательно покачал головой.

– Ему не стало хуже? Лихорадка не усилилась?

Эвангел отрицательно покачал головой.

– Ему полегчало?

Эвангел положительно кивнул.

– Весьма вероятно, Себастиан поспешил со своими выводами, и его состояние нормализуется, – уверительно выговорил я (при сем ощущая себя ребенком, который в момент испуга не вопрошает, но молит: «Правда все будет хорошо?»)

В ответ, чуть помедлив (как не раз, собираясь с духом, медлил я сам, прежде чем сообщить пациенту или родственникам оного неутешительное заключение), Эвангел отрицательно покачал головой и, сочувственно мне руку пожавши, вышел...

Я немного поел, не ощущая ни вкуса, ни запаха, словно бы принимал трапезу во сне; засим взялся, себе места не находя, напряженно нахаживать из угла в угол в ожидании приглашения от Себастиана...

VII

Не знаю, сколько томительного времени просочилось сквозь мой неприкаянный дух до того, как с негромким стуком ко мне в комнату вошел Эвангел и тихим наклоном головы указал, чтобы я последовал за ним. Однако направились мы не в спальню, а в библиотеку. Там, окруженный величественным бастионом томов, за своим рабочим столом сидел Себастиан, и мягкий, дымчатый свет из окна придавал его лику необычайной жизненной выразительности... но вместе с тем – некоей *естественной призрачности*...

– Добрый день, Деон, – с ясной улыбкой приветствовал меня Себастиан.

– Добрый день, Себастиан, – ответил я-человек. – Вам не следовало вставать, – заметил я-доктор.

– Я пришел попрощаться со своими друзьями, собеседниками, учителями и воспитателями, – простирая вширь десницу, молвил Себастиан. – Каждая из этих книг запечатлела свои оттиски на страницах моего сознания, – иначе оные оставались бы незаполненными, бессодержательными, заброшенными... иссыхая, истлевающая, осыпаясь прахом... Книги спасли меня от жесточайшего бича человечества – невежества, и всех многочисленных зол, кои ему наследуют. Я был лишен возможности вести людское существование, но благодаря книгам провел жизнь человека, совершенствуя

свой разум и себя познавая. Здравый духом, я не ведал ни скуки, ни тоски, ни отчаянья; и никакой день не казался мне бессмысленно тяжким, и никакая ночь не отказывала в заслуженном отдохновении... Я пришел последний раз побыть тут – в родимой мне среде. Здесь я чувствую себя наиболее уверенно и свободно. Здесь – прибежище моей души... Прошу вас, Деон, присаживайтесь...

Я занял стул напротив, – так что мы располагались лицом к лицу по разные стороны стола. Позади, над головой Себастиана, висела картина морского шторма, столь негармонирующая с тишью библиотеки и спокойствием очей, на меня взиравших, но столь перекликающаяся с тем, что у меня в душе творилось.

– Мое время на исходе, Деон, – спустя несколько мгновений безмолвного взаимосозерцания, произнес Себастиан своим неизменно тихим, но сильным, ровным, проникновенным голосом. – Я почти готов. Я говорю «почти», потому что не готовы вы... Вы желаете мне помочь. Этого требует ваша человечность. Моя человечность требует того же, поскольку, оказав помощь мне, вы окажете ее себе – исполните свой долг, а как раз в этом и состоит ныне мой долг... Я прошу у вас не той помощи, какую вы повседневно даете людям, но той, какую вы не вольны им дать. Я прошу вас выслушать меня, обследовать душу, прозреть мою иллюзию и мою истину, соразделить мою радость и мою скорбь – постичь мою веру. Я хочу, чтобы вы поняли меня, чтобы, ко-

гда меня не станет, мой образ пребывал в вашей памяти не пеплом угрызения, но искрой правоты. Я хочу, чтобы наше знакомство увенчала подлинная дружба; а между друзьями долженствует установиться кристальной откровенности, не допускающей недомолвок и тайн. Любовь есть уверенность, быть уверенным значит знать. Вы, Деон, искренни со мною; я узрел ваш дух таким, каков он есть, – в его благородной монолитности, с его глубокими щербинами. Я вас узнал и полюбил, ибо поверил в вас, – ибо истинно родимый человек не тот, кто тебе родствен, не тот, с кем ты близок, не тот, кому доверяешь, но тот, в кого истинно веришь... И мне необходимо, чтобы вы воистину поверили в меня, Деон, равно как сие необходимо вам... Но сейчас это еще невозможно: я не вполне открылся пред вами, не поведал о кардинальной вехе своего становления – о своей единственной вине, коя сразила меня намертво и воскресила тем, кем я стал...

Однако для начала мне следует основательнее познакомиться вас со своим наставником Лаэсием. Позвольте рассказать об этом замечательном человеке, воздав дань отцу, которому обязан лучшим, что есть во мне, и в оправдание чьей веры я посвятил всю свою жизнь.

Лаэсий, – до того, как по рекомендации доктора Альтиата быть избранным мне в воспитатели, – служил приходским священником в маленьком захудалом селении. Но, разумеется, его личные убеждения отнюдь не являлись зеркальными тем, кои он по долгу сана обязан был исповедовать. Ла-

эсий питал глубочайшее уважение к великим мыслителям, считая их труды несопоставимо состоятельнее как в этических, так и в метафизических вопросах, нежели «Священное Писание»; притом именно в силу того, что философские и научные сочинения не притязают, как правило, на печать божественного откровения, соответственно, не смеют полагаться на собственную непогрешимость, занимаясь поиском и исследованием истины, а не ее непререкаемой догматизацией, – иными словами, мотивируют продвигаться вперед по бескрайнему Олимпу постижения, а не смиренно-мудро склонить колена у подножия, провозгласив сакральную неисповедимость заоблачных высот. «*Vitam impendere vero*» («Посвятить жизнь истине»), – таков был духовный девиз моего наставника. Тем не менее Лаэсий исправно отправлял свое пастырское служение, и никто из прихожан не подумал бы упрекнуть его в нерадивости или же отступничестве. Напротив, ввиду его ласкового, но строгого нрава, ввиду добродетельного ума, который и до высшего способен дотянуться и до малого снизить, ввиду чуткого сердца, бесменно готового помочь и непричастного корысти, паства почитала Лаэсия «человеком от бога» и, обращаясь к нему: «Святой отец», – верно чувствовала, что с уст слетело выражение сердечной правды, а не холостая дробь формальности.

Когда я однажды спросил Лаэсия не было ли ему совестно носить сан, при этом не веруя, он отвечал мне:

– Нет, Себастиан. Я, как тебе известно, никогда не отри-

цал Идею Бога. Природа мудра, чтобы можно было почтить ее за слепую стихию: «*In mundo non datur casus*» («в мире нет беспричинной случайности»).

Все во Вселенной подчинено некоему Всевышнему Порядку – Космическому Логосу, с математической стройностью блюдущему баланс среди хаотичности созидających и разрушающих сил Универсума, утверждающему единство контрарностей и структурирующему устойчивые пределы в перманентно преображающейся беспредельности. «*Omne ens est Unum*» («Все сущее – Едино»). Я верую в это. Само ведь древнегреческое слово *κόσμος* («космос») первым своим значением имеет именно «порядок». Итак, сей Вселенский Порядок – Начало Начал – генерирующий иррациональную протоматерию, распространяющий и синтезирующий оную, сей, применяя термин Аристотеля, Перводвигатель⁷⁸, механизующий всеобщую событийность, несомненно разумен, но разум Его, как представляется, правильнее (хотя и очень

⁷⁸ Перводвигатель – центральное понятие космологии Аристотеля. Бытие Перводвигателя постулируется исходя из анализа процесса движения: так как все движущееся движимо чем-то, а бесконечная последовательность движущее-движимое невозможна, то возникает необходимость в существовании «первого движущего», самого по себе абсолютно неподвижного: «... из сказанного ясно, что есть вечная, неподвижная и обособленная от чувственно воспринимаемых вещей сущность; показано также, что эта сущность не может иметь какую-либо величину, она лишена частей и неделима» (Аристотель, «Метафизика»). Таким образом, Перводвигатель выступает в роли трансцендентного «Бога». Он суть та «действительность», необходимо предполагаемая переходом от потенции к акту – общемировым становлением, и преобразующая бесформенную материю в сформированный космос.

условно) соотносится с живым организмом в целом – микрокосмом, в котором все функционирует по естественной закономерности (согласно собственной природе), – нежели с тем, что понимаем мы под разумением, сознанием или волей (сама предрасположенность коих приобщаться истине коррелирована эвентуальностью впасть в заблуждение); то есть я полагаю разум в архи-степени чистый, первоначальный и самодовлеющий – *Intellectus Archetypus* («Интеллект-Архетип») (собственно именуемый разумом лишь по некоторой аналогии, подобно тому как, – заимствуя пример Спинозы, – нет никакого фактического сходства между созвездием Пса и лающим животным) – Разум трансцендентальных идей – Безусловное условий – Необходимость случайностей – Канон эволюций. Ввиду означенного, Космический Принцип, о котором я толкую (что зовется Дхармой⁷⁹ у индуистов), бесспорно, есть и Мировая Справедливость, и Верховный Закон, коему подвластно абсолютно все, а прежде всего – Он сам, – ибо коли Сила сия, – лучше использовать термин – Энергия (ведь любое космическое явление суть энергия), – разумна, значит, Она рациональна, а коль рациональна, значит, чужда произвола, каковой бы оказалась насильем над собою, что, возвращаясь вспять, неразумно, – следовательно, противоречит Ее рациональной природе.

⁷⁹ Дхарма – одно из основополагающих понятий в индийской философии и религиях; термин очень сложен и имеет множество значений, самое широкое из которых – «универсальный порядок / гармония бытия», также в этико-мистической сфере – «нравственный / религиозный закон» и «истина».

де. «*Природа ничего не совершает вопреки природе*». И однако же сей Νοῦς⁸⁰ (как бы обозначил Его Анаксагор), по всей видимости, бессознателен и безличен (Τὸ ἕν⁸¹ в системе Плотина) – не мыслит ни себя самое, ни тем паче творения свои; у Него нет никакого Замысла, ни Промысла; Ему не ведомо *слово*; Он есть первичный созидательный импульс, имя коему – Случай, вездесущая потенция, имя коей – Возможность. А время и пространство, неразрывной каузальной связью совокупленные, – двуединая форма Его бытия – Его, Духа вещественности, неисчерпаемое поле деятельности – Его экспансия и Его основание. «*Из ничего не творится ничто по божественной воле*». Далее, Бог – Эквilibrium Вечности – не подвержен никаким аффектам: не испытывает ни любви, ни ненависти (соответственно, и тех склонностей, к коим влекут сии состояния), а *просто* (в теолого-философическом смысле данной лексемы) предоставляет

⁸⁰ Νοῦς («Нус» – «Ум») – центральное понятие космологии древнегреческого философа Анаксагора. Нус есть движущий принцип мирового порядка, организующий элементы, из которых состоит Вселенная: «Все вещи были вместе [хаотично смешаны]: затем явился Ум и привел их в порядок». Нус придает материи движение и упорядочивает (рационализирует) ее: неоднородные элементы отделяются друг от друга, а однородные соединяются – так возникает природа вещей.

⁸¹ Τὸ ἕν («То эн» – «Единый») – в неоплатонической философии Плотина сверхсущая абсолютная реальность – изначальное Божество, безличное и непостижимое, из которого путем последовательных эманаций (Единое – Ум – Душа) порождается чувственный космос нашего бытия. Согласно неоплатонизму, цель философа – духовное восхождение от несовершенного материального мира к всесовершенству Единого (что суть Благо), слияние с Ним в экстатическом созерцании.

всему быть (как говорят даосы: «*Дао*⁸² *ничего не делает, и ничего не остается не сделанным*»). Ergo, сей Парадокс парадоксов – индифферентная Синергия «Любви» и «Вражды» (по терминологии Эмпедокла) – независим от таких этических понятий, как добро и зло (замечательно сказано у Аристотеля: «*Божество выше всякой добродетели, и не добродетелью определяется его достоинство, потому что в таком случае добродетель будет выше божества*»). Божественная мудрость суть безусловная актуальность – человеческая мудрость суть модальное становление (здесь я разумею, что человек способен совершенствоваться исходя из различных условий и до вероятной степени; Божество же, *Qui est* («Кто есмь»), чьи сущность и существование тождественны, а, стало быть, обладающее всей полнотой бытия, мудро безотносительно и не может сделаться ни умудреннее, ни глупее («*к сему нечего прибавить и нечего убавить*»), равно как элементарные организмы не могут произвольно отклониться от природно-присущего им функционирования ни на йоту). Также, если человек попеременно предается деятельности и покою, то Космос (Брахман⁸³ ведических уче-

⁸² Дао – в древнекитайском философском учении даосизме, главной книгой которого является «Дао-де Цзин» («Канон Пути и Совершенства»), термин Дао означает Великий Путь, которому следует вечный в своих бесконечных метаморфозах порядок вещей.

⁸³ Брахман – в индийской ведической традиции понятие, обозначающее космический Абсолют, безличный и бескачественный, каковой суть творческая первооснова и сокровенный смысл всего сущего.

ний) есть идеальная деятельность: непрестанная, беспрепятственная, неистощимая, – а значит, в самой себе сохраняющая невозмутимый покой (сколь бесконечно к бесконечности не приплюсовывай – она не увеличится, сколь бесконечно от бесконечности не отнимай – она не уменьшится). И в то время как все сущее движется от начала к концу, сей безначальный Путь, сия нескончаемая Эманация⁸⁴, сия нерушимая Воля суть присное Есмь, Единое в неограниченном многообразии, Непрерывное в генезисе и распаде. Цитируя Аврелия Августина: *«Стойки у Тебя основания всего нестойкого, неизменны начала всего изменяющегося, вечен порядок беспорядочного и преходящего»*. И вернее всего было бы уподобить эту Предвечную Квинтэссенцию⁸⁵, эту Бесконечную Субстанцию⁸⁶ бесконечных атрибутов и модусов, эту Безмерную Меру, эту Причину Причин, приходящуюся,

⁸⁴ Эманация – понятие, означающее происхождение Универсума посредством истечения (излучения) из запредельного первоначала – Единого (бога).

⁸⁵ Квинтэссенция – в философских и мистических учениях пятый элемент – эфир – тончайшая стихия, пронизывающая весь мир; душа мира, одухотворяющая все тела.

⁸⁶ Субстанция – основная сущность чего-либо; то, что существует автономно, само по себе. Субстанция остается самой собой вне зависимости от своих атрибутов (присущих свойств), акциденций (привходящих свойств) и модусов (состояний), – так субстанционально человек суть человек вне зависимости от того умен он или слабоумен, цел или изувечен, цивилизован или дик, бодрствует (мыслит) или спит (не мыслит). Конкретно здесь подразумевается Субстанция в философской концепции Бенедикта Спинозы, а именно – Бог, который есть всё (вся Вселенная), и всё есть в котором (являясь Его атрибутами, либо модусами оных).

ежели допустимо так сказать, одновременно и прародительницей и порождением Хроноса⁸⁷ (ибо время определяется движением, а движение – временем), присутствующую везде и всюду, а соответственно – нигде конкретно, и выражающую в настоящем мгновении безраздельность вечности, – итак, всего вернее было бы уподобить это *Сверхничто*, из которого и в коем всё («*plus quam essentia*» («более чем сущее»)), музыке, что творит самобытную *реальность* почти обособлено от реальности (*на грани ее*) и, высвечивая сущее, пребывает неведомой – трансцендентному⁸⁸ ладу, в гармонии с которым из консонансов и диссонансов феноменов имманентно строится мотив бытия – *Витальному вдохновению*...

Впрочем, не станем днесь чрезмерно вдаваться в сию запредельную метафизику, в сию необъятную телеологию⁸⁹, потому что вовсе не исключено, что я реку полнейший вздор, ибо не знаю того, о чем говорю, а только верую в это («*Credo ut intelligam*» («Верую, дабы уразуметь»)); пускай вера моя и основана на многолетнем умозрении («*theologia rationalis*» («теология разума»)). Ведь вообще любое утверждение касательно божьего бытия суть довод от противного: бог необходимо существует, поскольку существует миро-

⁸⁷ Хронос – древнегреческий бог времени (и, соответственно, его олицетворение).

⁸⁸ Трансцендентный – сверхчувственный, не познаваемый опытом, исключительно умопостигаемый; в теологическом значении также – божественный.

⁸⁹ Телеология – учение, полагающее, что все в природе устроено целесообразно и во всяком развитии осуществляется заранее поставленная цель.

здание, кем-то необходимо сотворенное, – так не могут ех abrupto («вдруг») возникнуть часы без творческого акта мастера-часовщика (каковой тезис, очевидно, представляет собою *petitio principii*⁹⁰, затем что предполагаемый Творец выводится из факта творения, *eo ipso* («тем самым») оказываясь фактом предполагаемым, *id est* («то есть») недоказанным доказательством, или доказательством, которое ничего не доказывает). Как резонно замечает Иммануил Кант: *«Я никогда не могу завершить нисхождение к условиям существующего, не допуская необходимой сущности, но я никогда не могу с необходимой сущности начать»*. Стало быть, наиболее надежный метод, приложимый к исследованию Идеи Бога – это апофатический метод⁹¹ (как поучает нас *«Просвещенное Незнание»*: *«Отрицания в теологии истинны, а утверждения недостаточны»*); и цитируя Эриугену: *«Бог не знает о Самом Себе, что Он есть, ибо Он не есть нечто; в известном смысле Он непостижим ни для Самого Себя, ни для чьего бы то ни было разума»*. *«Все, что мы о Нем думаем, Он не больше есть, чем не есть, и все, что мы о Нем не ду-*

⁹⁰ *Petitio principii* («предвосхищение основания») – логическая ошибка, при которой основанием доказательства служит положение, само требующее доказательства.

⁹¹ Апофатический метод (Апофатическое богословие, или негативная теология) – богословский метод, заключающийся в выражении сущности божественного путем отрицания всех возможных его определений как несоизмеримых ему; познанию бога через понимание того, чем он не является: начиная, например, с «бесконечный» (не имеющий предела), «бессмертный» (не подверженный гибели) и заканчивая «ничто» (всё).

маем, Он не больше не есть, чем есть: Он есть так же это вот, как и всё, и Он так же всё, как и ничто; и Он больше всего есть именно эта вещь так, что вместе и меньше всего она», – заявляет Николас из Кузы. Или как весьма лаконично подытожено у Ибн Сины: «Перовое не имеет ни подобия, ни противоположности, ни рода, ни вида, ни границы. Посему нельзя указать на него, кроме как посредством чисто рациональной мистики»...

Так что же? Коль позволительно дать имя сему всеобъемлющему и всепроникающему Ноумену, что суть Максимум адекватный минимуму, Абсолют адекватный частности, Вечное адекватное преходящему, Непреложность адекватная вероятности, Тождество адекватное инаковости, Единство адекватное множественности, – Душе Мира (тропологически выражаясь) – *Параматме*⁹², – испокон веков закономерно правящему беспрестанным метаморфозным циклом зарождения и гибели сущего, субстратом и фактором коего Он, *Creator Spiritus* («Творческий Дух»), является («Я – Творение и Разложение... Нетленное Семя... Я – Бессмертие и Я же – Смерть, Сущее и Не-сущее...»), – как чудно поется в

⁹² Параматма – «Сверхдуша» в философии индуизма, духовная первопричина всех материальных феноменов, всепронизывающий аспект Абсолюта, который безраздельно пребывает в каждом атоме мироздания и поддерживает Вселенную вечным созидательно-разрушительным циклом. Согласно ведической традиции в сердцах всех живых существ сосуществуют две души – индивидуальная (атма) и абсолютная (Параматма), тогда как неживая природа состоит сугубо из частиц Параматмы, что, несметно дробясь, сама по себе единой остается.

«*Бхагавадгита*»), то отчего же не назвать Его – Демиургом? Божеством?..

«Все окружающее нас целокупно, оно и есть Бог...»

– Тем не менее вы ведь никогда не верили в библейского бога? – выслушав наставника, возразил я. – В Отца Небесного, с интенции которого создалась Вселенная и по чьему образу, якобы, были сотворены люди?

– Как ты знаешь, я рос сиротой, Себастиан, – методично отвечал Лаэсий. – Много тяжкого и дурного выпало мне претерпеть, когда по смерти моей бабушки – добронравной христианки – восьми лет от роду я очутился в приюте: удручающие условия содержания, никудышная система воспитания (вернее, отсутствие таковой), некомпетентность и халатность служащих, часто переходящие в жестокость; а как следствие всего вышеозначенного – невежественность и бесстыдство сирот или же отупелая зашуганность слабейших из них (скорее походивших на блеклые приведения, нежели на детей из плоти и крови). Двенадцати лет меня отдали в подмастерье к кожевнику; в доме этого человека мне приходилось еще хуже, поскольку, ежели в приюте я не ведал любви, то там изведаль ненависть; вся семья была настроена в отношении меня нарочито враждебно: сам мастер, его жена и даже их дети (девочка годом меня младше и мальчик – тремя), – хотя, пожалуй, стоит сказать – не даже, но особенно дети (однако ж не оттого, что были они злы, а оттого, что не доставало им собственного разума, и, нанося оби-

ду мне, они стремились снискать поощрение немилосердной своей матери, видя в том добро себе); словом, все домочадцы дышали ко мне неприязнью и обостренно-хищническим чутьем улавливали малейший предлог, дабы извергнуть на меня ярость брани, а порой и побоев, пусть я беспрерывно выказывал кротость и почтительность сим людям, искренне желая заслужить их симпатию. Но таков уж нрав людской: они хорошо забывают то, что дается им, и хорошо помнят то, что дается ими. Мой изнурительный труд семейство кожевника ставило в ничто, а мое скудное иждивение расценивало неоплатным со своей стороны благодеянием... Я чувствовал себя беспомощной мышкой в рабстве у кошек... Работа была нелегкой и, позволь метко выразиться, тошной; мне казалось, никогда не свикнусь со зловонным душным чадом, стоящим в кожевне; однако же спустя несколько недель сей запах пропитал меня насквозь и, как ни странно, стал для меня вполне естественным, – воистину, человек ко всему привыкает (о сем, как помнишь, имеется басня в эзоповом сборнике⁹³)... Однажды зимой я заработался, что говорится, до седьмого пота; и вот в мастерскую входит хозяйка да мигом посылает меня сбегать к мяснику; я немедля повинуюсь, накидываю свое тонюсенькое пальтишко и разгоряченным вы-

⁹³ «Богач и Кожевник»: «Богач поселился рядом с кожевником; но, не в силах выносить вонь, стал его уговаривать переехать. А тот, обещаясь со дня на день, все время свой переезд откладывал. Так оно и шло, пока не кончилось дело тем, что богач привык к запаху и перестал докучать кожевнику. Басня показывает, что привычка и неудобства одолевает».

скакиваю на мороз; меня тотчас обдает шквалом ветра, который, как я ощутил это, вгрызается в самые недра моей груди и знобящим холодом в легких гнездится. Так четырнадцати лет я заболел пневмонией. Кожевник, без дальних рассуждений, сдал меня, недееспособного, обратно в приют. Следующие пять месяцев, находясь по временам на грани смерти, я пролежал в лазарете. В периоды, когда мне легчало, с недетской серьезностью брался я за богословские трактаты, какие забыто стояли, покрытые оболочкой пыли и источенные червями, в тамошнем книжном шкафу. У меня было достаточно времени обдумать прочитанное (хотя, конечно, понял я не то чтобы многое, но зато немалое домыслил) и сопоставить оное с собственным мироощущением. На всем протяжении своего детства я замечал, как людское общество беспролазно утопает во грехе, и брызги от сей порочной клоаки летят прямо в меня – прямо в душу, сколь бы ни тщился я от них заслониться. Я издавна испытывал это, но в должной мере постиг именно за чтением в приютском лазарете. И тогда, будучи простодушным и восприимчивым сиротой, я узрел единое пристанище – религию; единый способ очиститься – принять обет святости; единое спасение – стать благословенным адептом божьим. «*Sola fide!*» («Только верую!»)

Поступая в духовную семинарию, я был юн, нищ, хвор здоровьем. Мне, собственно, не представлялось лучшего выбора, но при сем я полагал избранную стезю вернейшей, ибо верил, что она возводит от тьмы ко свету, от хаоса к вечно-

сти. Мои познания в оны дни были бедны и, закономернo, наивны. Пусть и с некоторой долей даже не осмысленного, а чувственного сомнения (ибо как таковому не зародиться при несовершенстве мира, целенаправленно сотворенного Совершенным Демиургом) я охотно принимал на веру церковные догматы и провозглашенного ими бога, точнее двух богов – Отца и Сына – а равно Святого Духа, с которым Оба образуют Троицтво, так что, *nihilominus* («однако же»), в конечной консеквенции истинным богом из всей Святой Троицы почитается один только Сын; итак, я некритически признавал таковую путанную *аксиому* (которой надлежало быть сакрально-неприкосновенным устоем моей веры) просто потому, что не мог хорошенько во всем этом разобраться, да и посейчас не могу, да и никто, судя по всему, не может (сам Фома Аквинский – *Doctor Angelicus* («Ангелический Доктор») – констатировал здесь неприложимость естественного разума), – отчего за минувшие века по этому и подобным поводам (что поделом зовутся *спорами о словах*) едва ли не на пустом месте, точно б на сухой соломе, вспыхивало столько раздоров и столько крови пролилось. Вот большинство-то в силу нерадивого благоразумия и руководствуются правилом Аристиппа, утверждавшего, что не стоит распутывать хитросплетение, коли, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает... Таким образом, богословская ученость (с приставкой анти) все более удостоверяла меня в незнании изучаемого, сверх того – в невозможности познать

(«*Ignoramus et ignorabimus!*» («Не знаем и не узнаем!»)). Ибо для теологов тезис: «*Бог есть истина*», – правоверен, но тезис: «*Истина есть бог*», – кощунственен.

Я верил (заметь, именно *верил*, а не мнил), что, получив сан, обрету силу нести освященной рукою милость и утешение в юдоль скорби. Но очень скоро разочаровался в своих благих амбициях. Никому в семинарии, – ни из учеников (сплошь бедняков и сирот, каковые по преимуществу стекались туда единственно того ради, чтоб сыто почивать на «лоне Христовом»), ни тем более наставникам, кои учили нас формальностям богослужения и понукали бездумно зубрить заветы (*не духа, но буквы, – потому что дух живит, а буква убивает*), – никому не было праведной заботы до несчастных, пригнетенных душ людских. Да и кто бы из этих в массе своей примитивных, неотесанных, невоздержных клириков – сих невеж из разряда «кого попало» – мог врачевать чьи-то души, когда их собственные до основания поражены удручающими недугами («*Обещают свободу, будучи сами рабами тления*»)? По ходу жизни я бесперечь убеждался в этом. Священники без умолку разглагольствуют о смирении и презрении к суете мирской («*Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?*»), а сами рвутся, готовые безжалостно давить друг друга, за высокими санами и доходными приходами, без зазрений наживаются и прославляются посредством симоний⁹⁴, да на какие

⁹⁴ Симония – продажа и покупка церковных должностей.

только ухищрения и козни не идут, дабы пробиться в духовники к знатной особе иль сподобиться места за обеденным столом епископа (*«Поклоняются и служат твари вместо Творца»*), на корню пренебрегая *«неоскудевающими сокровищами небесными, куда вор не приближается, и где моль не съедает»*; превозносят воздержанность, воспевают умерщвление плоти (*«Не хлебом единым жив человек»*), а сами же – в ущерб бессмертным душам своим – обжираются до изнеможения и напиваются *«вином распутства»* так, что на ногах не держатся (*«Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков»*), – плоть и кровь Агнца куда милее их сердцам, чем Дух Святой (*«Ибо, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет»*); проповедуют долготерпение, братолюбие, милосердие, святость человеческой жизни (*«Разве не знаете, что вы Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?»*), а сами воздают злом за зло и ругательством за ругательство (*«Устами благословляют, а в сердце своем клянут»*); изуверски пыгают в подземельях и сжигают на кострах тех, кто ни в чем не повинен, помимо того, что даже ни не веруют (ведь такие по сути не опасны), но веруют не так, как предписано веровать (*«Если бы даже Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема»*); организуют кровопролитные «священные войны», дабы утвердить и преумножить светскую власть клира, каковая и является основным умыслом власти духовной (*«Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы?»*). И по-

что никого не заботит апокалиптическое обетование, данное Господом их: *«Я есмь испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим»*. *«Ибо, – возвещает «Второе послание к римлянам», – не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут»*... Словом: *«Нет героя в глазах лакея, нет божества для служителя храма»*.

Во имя веры было учинено много зла, Себастиан; во все времена под ее сияющей ризой скрадывали черные язвы души своей: скудоумие, слабоволие, жестокость, честолюбие, корысть, развращенность, безумство... Но сие не должно отворачивать от веры *qua talis* («как таковой»), – ведь и мудрость не непогрешима, ведь и мудрости свойственны заблуждения, поскольку и мудрость, не будучи посильной все доказать, вынуждена немалое постулировать, а соответственно, полагаться на веру, без коей мудрость в принципе нежизнеспособна (посему же справедливо будет заключить, что философия суть не что иное, как синтез интеллекта и веры, ибо любить мудрость значит верить в нее); между тем никто, сколь бы беспутен он ни был, никогда всерьез не воспримет, что мудрость – не благо, – против сего воззрения восстает самая человечность, каковая причастна всякому разумеющему индивидууму, пусть, увы, далеко не у всякого подобающе развита... Вера негативна рассудку, но не в том смысле, что они отрицают друг друга (как день и ночь), а напротив, в том, что они взаимоутверждаются (как свет и тень), ибо

субстрат у них общий – сознание; так, скажем, воде конститутивны плотность и текучесть, а воздуху – прозрачность и осязаемость, что, собственно, и определяет субстанциональную форму сих материй. Вера есть то, что придает живость идеям, заряжает энергией, одухотворяет их, а посему она способна как воплощать в реальность химеры, так и воодушевлять на фантастические открытия. Необходимо верить в то, что знаешь, и знать то, во что веришь; в противном случае ни подлинное знание, ни истинная вера не возможны... Люди же, как правило, доверяют своим мнениям на том безосновательном основании, что не имеют повода в них усомниться, поскольку, раз приняв оные, – можно сказать наобум (множество в пору ментальной незрелости), – никогда должным образом их не исследовали, почитая чем-то *само собой разумеющимся* (как бы *всосанным с материнским молоком*). «*На деле же это значит, – подмечает Джон Локк, – что они составили верное суждение лишь потому, что никогда не составляли никакого суждения*». И, поставленные перед «фактом», не оглядываются в поисках истины, – как если бы математики пользовались аксиомами, не удосуживаясь их верифицировать. Словом, рассуждают так же, как переваривают пищу, – пассивно, не задумываясь... Вообще говоря, люди принимают те или иные положения на веру чаще всего по двум предусловиям: либо вовсе не имея личного мнения по данному вопросу, либо опасаясь (скорее подсознательно, нежели сознательно) как бы обстоятельное рас-

смотрение не оказалось неблагоприятным для уже устоявшегося у них мнения, какового им выгодно держаться (ибо заблуждения, как это частенько бывает, слишком дорого обошлись тому, кто их приобрел, чтобы легко с ними расстаться, признавши собственную некомпетентность), или, наконец (что относится сюда же), люди *свято* цепляются за свои мнения попросту в силу привычки – сей инстинктивной боязни перемен... Нечего, стало быть, удивляться, что в людских головах прочно засело противопоставление веры и рассудка, дух расщепляющее, тогда как, согласно человеческой природе, одному надлежит подкреплять другое, – но если вдруг они впадут в разлад, высшей инстанцией и верховным судьей обязан быть рассудок, а не вера, хотя нередко ввериться последней и легче, и приятнее, и, может показаться, благонадежнее. Ergo, так же как человеку не подобает, по настоянию Пифагора, ходить проторенными тропами, – то есть бездумно следовать мнениям большинства, – так же не подобает беспечно держаться веры большинства. Но вовсе отречься от веры, гасить в сердце своем сей животворный огонь – нечеловечно, смертоносно. *«Нет, не нужно руководиться увещаниями «человеку разуметь человеческое» и «смертному – смертное»; наоборот, насколько возможно, надо возвышаться до бессмертия и делать все ради жизни, соответствующей наивысшему в самом себе...»* – заповедовал Аристотель... Вера – великая сила наравне с разумением, заложенная в нашу натуру Богом Природы. Разум и Вера

– две оси, движущие процесс самосознания, – характеризуют самое естество человека, выкристаллизовывают его душу – его личность; человек без веры – неполноценный человек, равно как человек без разума. Ибо без веры, – а превыше всего веры в свой Гений, – человек ничтожен (в нем не может быть ни глубокой рассудительности, ни высокой нравственности, ни воли, ни любви, – он не может быть мудр – он не может быть благ). Но коли вера не соотнобразится с разумением и, следственно, затмевает его, – тому аналогично, как луна затмевает солнце, – человек не только ничтожен, но и опасен – как для себя самое, так и для окружающих, – точно слепец с зажженным факелом в деснице. Такая вера – безрассудная и стихийная – неизбежно обрастает суевериями – чудовищнейшими из исчадий невежества («сна разума»), уподобляясь многоглавой ядоносной гидре⁹⁵. Кроме того, таковая вера (имя ей – недомыслие), поскольку тяготеет к предубежденному мнению, а не беспристрастному знанию, – шатка и непостоянна, как всякая мнимость; люди, всецело на нее уповающие, сходны охваченным лихорадкой, коя то унимается, то пробирает с новой силой, – и в своем бреду неумном не ведают, что творят.

«Живет и питает себя зло потаенно, меж тем как врачующих рук не желает пастырь к язвам сам приложит да сидит, на богов уповая!»

⁹⁵ Гидра – в древнегреческой мифологии многоглавое змееподобное ядовитое чудовище, у которого на месте отрубленной головы тут же вырастают две новые.

Только мечу просвещения под силу отсекать главы гидры заблуждений, и только огню разума дано прижигать их, дабы оные вновь не выростали. Лишь осмысленные убеждения – поводя души, лишь мудрые принципы – нравственные императивы, служащие надежными стременами добродетели, способны должным образом контролировать веру и направлять ее во благо, не позволяя срывать удила рассудка да шало волочь его за собой, сродни одичалому мустангу, сбросившему укротителя. И единственно подобающая молитва, обращенная к Вышней Справедливости, в каковую искони верует человек, созерцая незыблемый Вселенский Порядок, отнюдь, к прискорбию нашему, не усвоенный земнородными, – это та краткая молитва, которая в трудную минуту была на устах у много на своем веку превозмогшего флорентийского мастера Бенвенуто Челлини: *«Господи, помоги моей правоте, потому что она со мною, и потому что я сам себе помогаю»*, – рек он, утверждаясь духом, исполненным веры в себя, да не помрачаясь умом, вынашивающим спасительные суждения. Согласно сему, справедливо сказано у Ксенофонта: *«Не засеявший поле, не имеет право молить богов о богатом урожае»*. О том же свидетельствует и Эпихарм в следующем стихе: *«Боги продают все блага людям только за труды»*. *«Афине молись, да сам шевелись»*, – напутствует древнеэллинская пословица. Но, – ничего удивительного, – зачастую молитва есть только-то инертная увертка, долженствующая снять с совести ответственность за содеянные или

намеченные прегрешения, либо попросту духовную бездеятельность (ибо не тянуться к добродетели – значит быть утягиваемым пороками), а таковая молитва ни в коем разе не укрепляет волю, но вкореняет разлагающую пагубу малодушия.

Уместно будет припомнить, как встарь в период мора некоторые люди писали на дверях своих домов оберегающие молитвы или божественные прорицания о спасении, рассылаемые оракулами, и, прежде всего (а порой всецело) надеясь на высшие силы пустых слов, скорее иных, применявших некоторые практические средства защиты, подвергались риску. Но и те, кто предавались роковому отчаянию, впадая в летаргию уныния и страхов, также безнадежно погибали...

Слепая вера и глухое неверие суть две крайности – два ярма, лишаящих свободомыслия, – и только разум, посреди царящий, способен уберечь от того, чтобы наивно впрячься в одно из них.

А дабы нагляднее изобразить вышеизреченное и заодно предварить нижеследующее, я поведаю тебе короткую историю.

В эпоху крестовых походов два христианских миссионера, посланных церковью обращать мусульман в «истинную веру», попали в плен к туркам. Оба сказанных монаха были очень несхожи меж собою: первый из них – пылкий, кичливый, непримиримый ревнитель ортодоксии и апробирован-

ных ею догм, заклятый враг ересей и лжеименных верований – истый паладин церкви, облаченный «в броню веры и любви и в шлем надежды спасения», так сказать; второй – уравновешенный и терпимый, вовсе отрешенный от мистико-религиозных влияний, равнодушный как к райским блаженствам, так и к мукам ада, но свято пекущийся о благомыслии и чистоте духа, исходя единственно из личностной морали умудренного самопознания, – словом, человек «неверующий», который избрал уединение кельи, дабы мирно просвещать разум науками, возвышать философией и облагораживать литературой. И вот, турецкий полководец, полонивший сих миссионеров, как скоро предстали они пред его очи, обратился к ним с такой речью: «Я милостиво предоставляю вам выбор того, что вас ожидает. Слушайте! Либо вы примите Ислам и будете проданы в рабство, либо, оставшись неверными, готовьтесь к незамедлительной казни. Выбирайте!» Первый миссионер, каковой являлся ярим поборником своей религии и обрекал на вечное проклятие всякого, кто к ней не принадлежал или же недостаточно ретиво ее почитал, сей монах, без лишних колебаний, согласился на отречение и рабство. Второй миссионер, признававший исповедуемые христианством идеи человеколюбия и верховенства духа над плотью, но ни во что не ставивший нелепые преданья, кои оно догматизирует, и кабальные доктрины, кои оно навязывает, сей человек, не задумываясь, отверг отречение и рабство, – его тотчас обезглавили. Почему же он так по-

ступил, раз уж верование ему, полагавшемуся на собственный рассудок, в сущности было безразлично? Как раз поэтому. Не смену вероисповедания он отринул, но стигму гнета и унижения, что для его благородной персоны была сто- крат хуже смерти, кою он и вовсе не расценивал за зло, – ибо чем бы она не оказалась и от чего бы не наступила (ежели только не по вине безудержной порочности или ж непозво- лительной глупости), гибель естественна, – соответственно, в ней нет ни грана дурного или постыдного; а коль она служит средством сохранения этического статуса, то такую кончину должно наречь мужественной и благой... Что до первого мо- наха, то хотя и уповал он на непреходящее бытие во всебла- женствии небесном, все ж, как только блеснуло пред глазами сабельное острие, сразу во страхе позабыл и предал возлюб- ленного бога своего, ибо не Бога он любил и чтил с искрен- ней верой, а только-то лукаво ублажал и обольщал своеверие (то есть завуалированное неверие в себя), малодушно стра- шась жизни, от леденящих поветрий которой кутался в по- чтенно-тучную рясу, и смерти, чей образ гнал прочь теша- щими иллюзиями, крепким вином разбавленными; так что же невероятного для сего монаха в позоре и рабстве, когда и дотоле он вел презренное существование невольника внут- ренних демонов – недомыслия, искушений, маний, гордыни, самообманов?..

Ты спрашиваешь: не стеснительно ли мне было носить сутану и проповедовать? Нет. Ибо, непритворно занимаясь

этим, я меж тем не поступался собственными убеждениями... В библии – сем многослойном агрегате многовековых помышлений – уйма архаичных, сомнительных, противонаучных, откровенно абсурдных и вопиюще аморальных моментов, да не счесть антилогий вдобавок, – что в целокупности для мыслящего в отрыве от религиозной парадигмы человека является очевидным доказательством несостоятельности той *богодухновенности*, на кою притязает данная книга. Этот обширный свод текстов есть, бесспорно, великий памятник литературы, который заслуживает пристального изучения (непреренно, однако ж, в ретроспективе своего историко-идейного контекста) и в котором немало разумного можно почерпнуть (коль черпать разумно), но никак не «*Завет Божественного Откровения*», за каковой его принято почитать... А разве же те, кому долженствует *преподносить* сие учение, самолично с ним соприкасаются? имеют ли какое-нибудь о нем собственное мнение, я уж не говорю – знание? Конечно, нет. Так называемые «священные писания» основательно ведомы по большому счету лишь тем, кому подлежит это *ex professo* («по роду деятельности») (да и то отнюдь не каждому), *id est* («то есть») клирикам и богословам (и оные, будь уверен, извечно себе посмеиваются пресловутым «смехом авгуров»⁹⁶); для простонародья же

⁹⁶ Смех авгуров – в Древнем Риме авгуры – жрецы, дающие предсказание по полету, крику или поведению птиц – птицегадатели. Марк Туллий Цицерон в своей книге «О гадании» сообщает, что, обманывая верящих в их предсказания, авгуры при встрече друг с другом едва сдерживают смех.

этот увесистый скучно написанный фолиант, приизобилующий непостижимым пафосом и невразумительными вразумлениями, начиненный сбивающими с толку противоречиями, нескончаемыми повторениями, утомительной дотошностью перечислений, полчищами ничего не говорящих топонимов и чудных имен, да изливающий каскады мистических провозвестий – суть «книга за семью печатями» (*«здание, окутанное тайной, с низким входом»*); люди попросту страшатся сей «книги чудес», полной рутины, сей «книги закона», полной произвола, сей «книги любви», полной вражды, сей «книги света», полной тьмы, смущенно напуская вид, будто воистину пред ней благоговеют. Так вот выходит, что библию, – о которой многие наслышаны обрывочно («краем уха»), но мало кто сведущ вполне, – допустимо трактовать, как тебе заблагорассудится, ежели только напролом не подвергать опровержению стержневые церковные положения, – в чем лично для меня никогда не состояло проблемы, ибо я вовсе не думал говорить с недалекими прихожанами, которые, по присловью, *«зрят не дальше дыма своей трубы»*, напрямую, но давал им то, чего они от меня в общем-то и ожидали: вещал в известной мере иносказательно, поэтично, сентенциозно, словом, преподносил проповеди под видом притч, сказок, – понеже именно сказки следует рассказывать тем, кто разумением своим остались детьми, тем, кому, выражаясь библейски, *«нужно молоко, а не твердая пища»*: *«Потому говорю им притчами, что они видя не видят,*

и слыша не слышат...»

Лаэсий издал неутешный вздох:

– «И вот, ты для них – как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий; они внимают словам твоим, но не исполняют их».

Развить невежественные умы, сплошь запруженные бог весть какой чепухой да погрязшие в непролазных бытовых хлопотах, нечего и надеяться («слово, посеянное в терние»), но смягчить грубые сердца – это куда возможнее; ибо совесть изначально обретается в людях, в то время как мудрость еще надобно в них возжечь («Одно дело – указать заблуждение, и совсем другое – внушить истину»). Посредственному человеку не быть добродетельным, но добрым быть он может. Почему так? Потому что добродетель, чье верховье – разум, суть знание и причастна лишь мудрому; доброта же, чей источник в чувствах, суть мнение и присуща всякому (если кратко: последняя – аффективна, первая – рефлексивна). Доброта, hoc modo («таким образом»), – точка опоры добродетели, каковая, в свою очередь, есть высшая ступень моральной сознательности – пьедестал человечности... Малый человек, и будучи *благовоспитанным* (то бишь обиходно сближающим полезное с правильным), никогда не помыслит о дурном поведении, что оно недостойно: в лучшем случае решит, что это плохо, в худшем – грешно. Человек же благородный – высокодуховный и свободомыслящий – никогда не станет рассматривать дурное поведение

как нечто неприличное или нечестивое, но исключительно как безнравственное и низменное – *безумное*; ему претят ненависть и отвращение, ибо для него свойственна доблестная скорбь презрения и сожаления, – в ином человеке добродетельный созерцает не то, что онный собой представляет, а то, кем он мог бы стать, представляй он, *кто* он есть – какова эстетически натура его – творческий логос – в чем его личный долг. Обывательская мораль заповедует: поступай с другими так, как желаешь, чтобы поступали с тобой (что, увы, на практике значит: *не* поступай с другими так, как *не* желаешь, чтобы поступали с тобой, – проповедь трусости и пассивности); мораль мудрого: поступай с иными достойно себя (будь благ), проявляй к ним милосердно терпение и снисходительность, затем что они не сумеют поступать тебе равновелико.

«Ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их».

Руководствуясь таковыми соображениями, – что доброта и добродетель не одно и то же, как не одно и то же совесть и справедливость (поскольку справедливость суть осмысленная совесть, сиречь – союз априорной совести и эмпирического познания), – я поучал вверенную мне паству, что Бог всеблаг и всемилостив, ибо не ведает зла – не способен его причинить и не может потерпеть; и что в каждом из нас заложено семя Его жизнетворящей Любви, каковое мы обязаны,

дабы быть верными своему Творцу-Даятелю, возвращать и лелеять с куда вящим тщанием, чем то, с каким печемся о хлебе насущном. Что же до тезиса о всемогуществе и всеведенье Всеблагого Бога (*«у Которого сочтены все волосы наши»*), каковой тезис, *propter hoc* («ввиду») своей наглядной непримиримости с несовершенством бытия, для теологов, как *в горле кость*, имя коей *theodicea* («богооправдание»), то здесь, опять же, ничуть не претя себе, я вносил обоснование свободы воли: ибо, возвещал я, Господь тем всемогущ, что сотворил мир и населил его жизнью, даровав свободную волю всему одушевленному, поелику Небесному Царю не престало под стать царям земным учреждать мирские законы, но довольно было установить единый Закон Миропорядка, которому все подчиняется, но который никого не подчиняет; и чтобы сей закон блюсти, должно неукоснительно прислушиваться к врожденной нам совести – гласу божьему; а кто пренебрежительно не внемлет оному, с тем Господь исподволь перестает сообщаться, обрекая его на кару проклятья, именуемую бесчестьем, что равнозначно несчастью... Вполне понятно, в ушах паствы речи мои звучали во все не так, как в моих собственных, и под Вселенским Вседержителем – *«от Которого всё, через Которого всё и в Котором всё»* – они представляли себе, надо полагать, то улыбочивого, то хмурого волшебника в белоснежной ризе на белоснежном облаке восседающего, а не ту невообразимую, всеединую, созидающе-разрушающую Бесконечность, каковую

подразумевал я и о каковой, по-моему, замечательно сказано у Эмпедокла, что *«невозможно целое ведать: оку людскому незримо оно, уху невнятно, даже умом необъемлемо»*. В общем, как писано у Августина: *«Все можно сказать о Боге, и все сказанное недостойно Его»*.

«Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедаю вам».

Напрашивается резонный вывод: Идея Бога – самая сложная и неадекватная идея в человеческом уме, ибо *Dei conceptum* («концепт Божества») до того перегружен разнообразными и, причем, непостижимыми по своему проявлению предикатами⁹⁷, что, если досконально разобраться, у каждого окажется свой собственный, более-менее дифференцированный бог; а коль капнуть еще глубже, то выяснится, что вообще ни у одного человека на всем белом свете нет какой-либо ясной и определенной идеи «Верховной Сущности», помимо номинальной субстанции (каковая суть *ничто*) и комплексного набора атрибутов, носящих характер беспредельности (каковые суть *всё*). Выходит, вообразить о боге (как о некоей гипостазированной⁹⁸ идентичности) возможно лишь то, что он невообразим, представляя обладателем тех совер-

⁹⁷ Предикат – свойство субъекта, относительно той или иной категории (субстанция, качество, количество и т.д.). (Примеры: в выражении «Сократ суть философ», – Сократ является субъектом, а философ предикатом; в выражении «Этот человек умен», человек – субъект, умный – предикат.)

⁹⁸ Гипостазирование – наделение самостоятельным существованием абстрактных понятий.

шенств, которые нам знакомы из личного опыта (могущество, мудрость, благодать и так далее), но которые, в данном случае, возведены в степень бесконечности, *ideo* («соответственно»), будучи чисто спекулятивными (трансцендентальными), уже не имеют ничего общего с тем, что знакомо нам из личного опыта, и оказываются для нас, ежели хорошенько призадуматься, абсолютно пустыми – беспонятными – словами, кои всякий горазд выразить, но никто не в состоянии уразуметь (все равно что пытаться измыслить бесконечно-красный цвет или бесконечно-прозрачный воздух, или же бесконечно-жидкую воду), – ибо бытие, чье положение в безотносительности и сущность коего в бескачественности, есмь воистину то, что небытием зовется. Сиречь: наше понятие «Божественного» является олицетворение непонятного. Посему крайне заблуждаются утверждающие, что Идея Бога, как нечто самоочевидное и естественное, прирождена нам (точно некий «отпечаток в душе»), – будь оно так, не возникало бы на сей счет ни сомнений неразрешимых, ни разногласий непримиримых; и для констатирования оной идеи отнюдь не требовалась бы стимуляция веры, как не требуется таковая для констатации элементарного факта, что существующее существует (во времени и пространстве), – иначе говоря, довольно было бы интуитивного (априорного) познания и по меньшей мере необязательно познание демонстративное (апостериорное). Идея Бога – это идея логики; и хотя по видимости она превосходит пределы сво-

ей конститутивной области, по сути неизбежно в нее вписана (ибо ведущее свойство мышления – логичность (пускай, относительная), тогда как всемерно – *запредельно* – «нелогичное» и помыслить нельзя (соответственно, нельзя и поверить)). Ergo, вопреки ортодоксии, преподносящей все так, будто человек – это «проблема» бога, практика аподиктически явствует, что это бог – проблема человека – роковой камень преткновения дискурсивной редукции (ибо все интеллектуальные попытки вывести оккультное «*простое Начало*», приводят к бесконечному его усложнению)... А на прописной аргумент: «Бог являет себя в природе», – можно, переставив слагаемые, с вящим успехом высказать: «Природа являет себя в Боге», – поскольку не природа раскрывает нам Идею Бога – это Идея Бога раскрывает нам природу (ведь что религия, что наука, приходится наследными дочерьми первобытной магии (то есть примитивных верований), каковая основывалась на ассоциации общих природных закономерностей с частными умственными представлениями, а стало быть, посредством первых вела к образованию последних, посредством которых обоюдно вела (пусть и зигзагами) к уяснению первых, – то, что имело рациональную (практическую) доказательность, переросло в науку; то, что таковой не имело, трансформировалось в религию); и, восхищаясь красотами природы, человек вдохновенно созерцает в ней нечто божественное не потому, что природа сообщает ему *чувство божественности*, а потому, что он сам распростра-

няет свое чувство божественности – свое возвышенное настроение – свой осмысленный восторг – свое философическое удивление – свою личностную Идею Бога – на природу, видя в ней не то, что она собой являет *in pura* («в чистом [виде]»), а то, какой она изображается его творческим воображением... Коли же, далее, рассмотреть картезианский тезис: *«Неприемлемо допустить, чтобы более совершенное было следствием менее совершенного»*, – а именно, чтобы совершенный Бог был зачат разумом несовершенного человека, поскольку при отсутствии *самого совершенства* человек обладает *идеей совершенства* (что, к слову, суть та же идея бесконечности, только соотнесенная с предикаментом⁹⁹ качества, а не количества), идеей, которая не могла возникнуть *ex nihilo* («из ничего»), а значит была *ab initio* («изначально») вложена в человеческую душу Творцом, – этому с виду логически безупречному тезису долженствует, однако, предъявить антитезис, что вообще мир устроен таким образом, при коем менее совершенное естественно (спонтанно) влечется к более совершенному (от страдания к удовольствию, от немощи к силе, от неумения к сноровке, от неведения к постижению, от страха к вере *et cetera*), и как раз человек, при всех своих недостатках (неразвитых достоинствах), наиболее показательный сему образец (тем, например, какой прогресс за минувшие тысячелетия проделало абстракт-

⁹⁹ Предикамент – философская категория (субстанция, количество, качество, отношение и т.д.)

ное мышление, следствием коего и стала Всесовершенная Космическая Сущность, чье трансцендентное архихытие абсолютно лимитировано сферой идеальности), – ироничная улыбка слабо коснулась губ Лаэсия (не затронув, впрочем, углубленности взора). – Но куда серьезнее, все же, заблуждаются те, кто утверждают, что Идея Бога как нечто фантастическое и бестолковое противна рассудку, поелику, увлекая ум в заоблачность неисповедимого, противодействует объективному различению фактического, – будь оно действительно так, люди не продвинулись бы в своем восприятии окружающей среды далее приматов, ибо созерцать любую вещь тем, чем она представляется (без какой-либо ярко выраженной предрасположенности к рефлексивному абстрагированию и, следовательно, фантазированию), свойственно животным, чье органическое мышление бытия не имплицитно неограниченной прогрессии (чья воля не имеет *веры*), но человек без означенных тенденций не мыслим, и, стремясь проникнуть в сокровенную суть наличного, он *eo ipso* («тем самым») устремляется к отысканию неведомого (но *необходимого*) – Причины Всего – Сверхреальности – *Истины*. Высшее постижение – постижение непостижимости. Метафизика (или «*Πρώτη Φιλοσοφία*» («Первая Философия»)) суть такая наука, цитируя Канта, «*всякий произрастающий ствол коей срубить нетрудно, но самые корни выкорчевать невозможно*», – ибо она не что иное, как естественная склонность человеческой природы, творимой искусством (говоря

прямо: метафизика, сопредельно этике, *эстетична*). И хотя, по всей видимости, животные несопоставимо явственнее – на инстинктивном макроуровне – воспринимают каждую былинку частью целостной Вселенной, единственно человек, направив луч разума сквозь дремучесть сознания, способен прозреть, что в каждой былинке заключена целая Вселенная, – а сие прозрение и есть воистину *сверхъестественное Откровение*.

«Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело».

«Если бы бога не существовало, его следовало бы выдумать», – провозгласил «безбожник» Вольтер. Идея Бога, несомненно, краеугольная идея возвышения человечества, ведь благодаря ней в каждом из нас есть *нечто божественное* – «дух». Нереально вообразить, чтобы человек достиг той исключительной стадии познания, при коей ныне царствует в природе, ее силами самовольно руководя, если бы не породил сей великой фантазии, побуждающей стремиться к нереальному. Ибо Идея Бога суть Идея Совершенства – *Идеал*... И весьма вероятно, именно приручение огня молний небесных послужило ее зачатком – истоком миро-(а соответственно, и само-)постижения – истоком образного мышления – истоком искусства – истоком веры.

Однако ж надлежит строго оговориться: «Бог» и «религия», хотя по факту две сопредельные идеи (может показаться, едва ли не совпадающие), тем не менее это две раз-

ные, неравнозначные идеи, не столько в корне согласные меж собою, сколько противоречащие; и ежели первая независима от второй (так ведь, бывает, и человеческая личность продолжает оказывать свое влияние уже разобщившись с материальной сферой, иными словами, претворившись в идею), то вторая эссенциально зависима от первой, являясь для нее по сути тем, чем являются костыли для в оных не нуждающегося (опять-таки, понятно, что религия как средство, не имея никакого воздействия на божество, ориентирована сугубо на человечество (и в этом плане она, мягко говоря, недалеко ушла от доисторического шаманизма)), – ссылаясь на Гоббса, религией зовется вымысел, пользующийся признанием у какого-либо народа, в обратном же случае вымысел сей нарекается суеверием. И только в среде малолюдных дикарских племен, где жрец обладает непререкаемым – *сакральным* – авторитетом («*Весь мир подвластен богам, боги подвластны мантрам*¹⁰⁰, а мантры – брахманам¹⁰¹; значит, брахманы – наши боги», – гласит старинная индийская пословица), только в среде замкнутых и ограниченных людских групп, от колыбели до могилы закутанных в *пелены майи*¹⁰², где индивидуальные черты ед-

¹⁰⁰ Мантра – вербальная формула (заклинание, чара) в ведической традиции, считающаяся сакральной и позволяющая посредством чтения (напевания) достичь трансцендентального единения с Богом; мантры применяются во время религиозных ритуалов и занятий йогой.

¹⁰¹ Брахманы – индуистские жрецы.

¹⁰² Майя (санскр. «иллюзия», «видимость») – в индийской религиозно-фило-

ва проглядывают из-под *татуировок обьмая*, где подражание кардинально вытесняет уяснение, возможно полное тождество между религиозными (теургическими) практиками и сверхъестественными (метафизическими) представлениями – поголовное *правоверие*; но в социумах, достигших высокого уровня цивилизации, такое положение немислимо, ибо для образованного науками и искусствами любознательно-го ума, дрейфующего в раздолье всё поступающей информации (ввиду чего мир физический постепенно сжимается, а мир интеллектуальный расширяется), неприемлемо бездумное – *непогрешимое* – принятие сказаний, догматов и концептов, прокламируемых духовенством, – и даже признавая за религией *светскую власть*, ученый человек не признаёт над собой (не открыто, так келейно) ее *власти духовной*; ибо пусть не оспариваются религиозные доктрины как таковые, все же не могут не вызывать резонных сомнений их многообразные (и разноречивые) толкования (по остроумному замечанию Монтескье: «*Религия нынче служит не столько предметом священного почитания, сколько предметом споров, доступных всем и каждому*»)... Итак, «Бог» и «религия» – идеи смежные, но раздельные (гора всегда нисходит в долину, но долина от этого не становится горой). Впрочем, тысячелетия неразрывной связи сделали свое дело, и рядовым

софской традиции сила ответственная за обманчивую видимость материального мира, что служит источником множества человеческих заблуждений. Майя часто описывается как пелена, которая скрывает реальную суть вещей.

умам, сызмала подпавшим под сию конвенциональную амфиболию понятий¹⁰³, сказанная дистинкция покажется чем-то неуместным, противоестественным, кощунственным.

Отсюда надобно учитывать следующее. Для людей уже нативно важно ощущать собственную принадлежность к чему-то знаменательному, как бы привносящему в их заурядную повседневность отголосок своей чудодейственной значительности (ведь хотя религия не есть *продукт* божества, она есть *продукт* обычая, а обычай во мнении обывателей суть нечто священное); им любо, когда возвышенная идея подавляет их, но при этом не угнетает, не попирает, не оказывается *pop supra* («недосягаемой»), понеже не требует элитарных усилий; словом, которая, высясь над ними, тянет их за собой, дабы могли они взирать на сию идею – *всеобщее таинство* – как на величественный собор своей сопричастности чему-то грандиозному и нетленному, чему-то, что как бы сплывавшая их воедино, как бы нивелирует несамодостаточность каждого из них, да теплит лукавую надежду на возможность лучшего бытия, нежели то, каким они располагают («*Хорошо там, где нас нет*»). Таким образом, для народного сердца религия – это благонравная, во всех отношениях похвальная многовековая традиция, придающая будничности специфический аромат торжества, без которого пресная жизнь стала бы еще скуднее (ведь само явление «празд-

¹⁰³ Амфиболия понятий – смешение двух различных понятий, образующее нечто третье (обычно в себе противоречивое, двусмысленное).

ника» берет свое начало в религиозных обрядах); религия – это клюка для немощных, опека для сирых, проблеск для заблудших и отчаявшихся... но также, – ничего не попишешь, – горн, раздувающий гордыню, нетерпимость, заблуждения – весь тот слезоточивый чад, коим застилается свет истины...

«Кто учил благословлять, тот учил и проклинать» – «Из тех же уст исходят благословение и проклятие». Ветхозаветный бог – *Адонай*¹⁰⁴ – добрый, честный, щедрый, заботливый, милостивый, а наряду с тем – *Саваоф*¹⁰⁵ – пафосный, своенравный, властолюбивый, меркантильный, мелочный, ревнивый, гневливый, обидчивый, мстительный – суть «большой ребенок» – то умильно-наивный, то капризно-жестокый. А посему он служит как нельзя более ладной марионеткой в руках чревоушателя, марионеткой, что попеременно являет рассудительность и сумасбродство, добродушие и злопамятство, милосердие и беспощадность, правосудие и беспредел. Сей бог – ревнитель суеверий и предрассудков – контрадикторно требует от верующих двух взаимоисключающих чувств – страха и любви. *«И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя и истребляя вас...»* – писано во «Второза-

¹⁰⁴ Адонай (др.-евр. – «Судья») – в Танахе, древнееврейском «Священном писании», один из эпитетов Бога, подразумевающий Его справедливость и милосердие.

¹⁰⁵ Саваоф (др.-евр. – «Воевода») – в Танахе один из титулов Бога, подразумевающий Его могущество и победоносность.

конии». И хотя церковь ставит приоритетной своей задачей изливать на души мирян елей религиозных утешений, в сей фиал «благотворной лжи», по канону, почти всегда примешана превалирующая доля обскурантистских стращаний, – ибо угрожать и запугивать куда проще, куда продуктивнее, нежели убеждать и наставлять. Так на одно благословение с горы Гаризим приходится по полдюжины проклятий с горы Гевал¹⁰⁶.

Засим следует риторический вопрос: кто есть Сатана («Противоречащий»), как не обозленный – негативный – Господь? *«Бог и дьяволу Бог»*. Монотеизм неизбежно приводит к отождествлению диады антагонизирующих аспектов – добра и зла – во Всесущей Монаде – Абсолютной Личности, чья безусловная воля – Вселенский Промысел: *«Я образую свет и творю тьму, учреждаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это»*. Как парадоксально выразился Эпикур: *«Коли есть бог, то откуда зло? И откуда добро, коль бога нет?»*

В сочинении «De servo arbitrio» («О рабстве воли») Мартин Лютер, в частности, пишет: *«Если бы я мог хоть ка-*

¹⁰⁶ Горы Гаризим и Гевал – согласно библейской легенде Моисей по велению Господа приказал встать части левитов (священников) на горе Гаризим и произносить благословения израильскому народу, сулимые им, если они будут послушны богу, а другой части – на горе Гевал и произносить проклятия, какие выпадут на головы нечестивцев. В ветхозаветной книге «Второзаконие», где сие описывается, перечисляемых проклятий многократно больше, чем благословений.

ким-то образом уразуметь, как это Господь милосердный и справедливый являет нам столько гнева и несправедливости, то не было бы нужды в вере». Вот и получается, что вера чаще всего – только-то суеверность – богобоязнь – иррациональный ужас неведомого. Люди в большинстве своем веруют, чтобы, как завещал Паскаль, *не рисковать* (ибо существование бога суть презумпция); впрочем, как правило, у них попросту нет выбора, ведь выбор есть только там, где налицо альтернатива, альтернатива же набожности – мудрость, – и то и то предполагает праведность, но, разумеется, не в одном и том же смысле. Благочестие нередко – лишь проявление слабости; добродетели неотъемлема сила. Благочестие обычно воспринимается как общественная повинность и наиболее строго блюдетя, стало быть, на чужих глазах; добродетель – это личностный долг, а потому, парафразируя Монтеня, во всем и везде ей достаточно своих собственных глаз, дабы блюсти оный, и нет на свете другой пары очей, которая следила бы за добродетельным так же пристально и к которой бы питал он вящее уважение. Наконец, благочестие состоит скорее в уклонении от греха, нежели в свершении правых деяний (то есть в сомнительной «надежде на лучшее»: «Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие; Он придет и спасет вас»), посему неудивительно, что *прямая стезя благочестия* подчас на кривые тропы бесчестия заводит; тогда как добродетель суть деятельность, со-

гласная здравому суждению и искренним чувствам (то есть истинной вере – вере в истину), чья цель – этически прекрасное (так что, по Аристотелеву слову, добродетель, каковая взаимно проистекает от верно направленных интеллектуального и эмоционального истоков души, невозможно использовать во зло). И как указывает завет со страниц «Критики чистого разума»: *«Будем считать нравственные поступки обязательными не потому, что они суть заповеди Бога, а будем считать их Божественными заповедями потому, что внутренне обязаны их совершать»*. Все вышеозначенное зиждется на фундаментальном принципе: мудрый стремится к тому, что почитает благом; обыватель почитает благом то, к чему стремится... Откровенно буде сказано, люди вовсе и не верят в бога: они верят в то, что они верят в бога, поскольку мнят в этом свое благо; равно как мудрый знает, что его благо – вера в разум – вера в человека – вера в себя... И вдоволь на свете таких *умников-тартюфов*¹⁰⁷, которые *рабски* (в данном случае для них сие почетный комплимент) *«ходят под Господом»* и крестятся на каждом перекрестке, руководствуясь тем же пресловутым пари Паскаля¹⁰⁸ – оскорбительным как для человека, так и для божества, – покуда в мыслях

¹⁰⁷ Тартюф – герой одноименной комедии Мольера; ханжа, лжесвятоша, чье имя стало нарицательным.

¹⁰⁸ Пари Паскаля – предложенный математиком и философом Блезом Паскалем аргумент для демонстрации рациональности религиозной веры, сводящийся к формуле: «Веруя, вы ничем не рискуете [даже если бога нет], не веруя, [если бог все-таки есть] рискуете безмерно многим».

у них: ненависть, коварство, зависть, корысть, похоть («За крестом прячется сам сатана», – по пословице). Что уж говорить, для подобных ханжей, – во мнении коих безбожие синонимично безнравственности, но безнравственность отнюдь не синонимична безбожию, – ничего не стоит согрешить: «*Crede firmiter et pecca fortiter*» («Тверже верь, грехи сильнее»); они вертят своего карманного божка то так, то этак, точно б детскую куклу-перевертыш, у которой с одной стороны написана улыбка, с обратной же – хмурое выражение: вел себя праведно – бог был бдителен («каждый шаг считал»), поддался искушению – бог простит («вера твоя спасла тебя; иди с миром»), – совсем как в загадке про якорь: «Когда он нужен – его выбрасывают, когда не нужен – поднимают». А в чем же, собственно, сии неправедные праведники находят себе оправдание? – В безграничном милосердии господнем, каковое, надо полагать, прегораздо могущественнее происков «нечистого», хотящего погубить, а посему без устали совращающего боголюбивые души («Ведь для грехов любых найдется оправдание в намереньях благих»). Таким манером, страх перед богом обращается бесстрашием перед дьяволом (всё тем же богом), а свобода воли – безвольным произволом («Меч веры приспособив для разбоя, с молитвою вершат преступные дела, и стало в их руках добро орудьем зла»)… Дьявол – это пугало, набитое суевериями; но как вороны – хитроумнейшие птицы – со временем смекают безобидность соломенного чучела и, хотя сохраня-

ют известную настороженность, уже не страшатся его, беспрепятственно клюя посевы, так и люди: на словах чураются «врага рода человеческого», тогда как на деле вовсе не чужды того, что он собою олицетворяет...

Что же выходит? Выходит в итоге следующее: дуалистическая концепция монотеизма, ортодоксально исповедуемая церковью (но официально за такую не признаваемая), работает вразрез своей цели (на практике оказываясь контрарной), в то время как монотеизм в безоговорочно чистом виде представляется неприемлемым, ибо коль Бог есть Всё – «Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний» – вне Его ничего нет и, *ideo* («соответственно»), ничто Ему не противоположно, – сиречь Абсолют, – то Он есть как Абсолютное Благо, так и Абсолютное Зло, как Абсолютная Истина, так и Абсолютная Ложь. Необходимо должен наличествовать антагонизм. (Красивое же философское утверждение, что, дескать, *«зло суть ничто, раз уж его не может содеять Тот, для Кого возможно все»* (ибо во зле – смерть совершенства), мягко говоря скорее желаемо, нежели резонно, – поскольку сие равноценно тому, что мы всерьез возьмемся полагать, будто неправда – как «небытие» – невозможна, раз уж она противостоит правде, каковая «то, что есть», или «бытие»; и если даже зла и неправды не существует объективно в природе, то субъективно сии категории характерно причастны человеческой натуре. В общем: *«Мысль не презренная, Федр, коль так говорят умные люди, однако ж надоб-*

но рассмотреть, имеется ли в ней смысл»... Для Бога нет зла, потому что для Бога нет и добра; что бы не происходило во Вселенной *in specie* («в частности»), способствует тому, что есть Вселенная *in genere* («в общем»), ибо единственная – безусловная – стадия Космоса суть его вечное становление – его *Абсолютное Бытие*. И великое совершенство Творения – в великом несовершенстве (*хаос, приведенный к гармонии*), равно как эвентуальности жизни обоюдна непереносимость гибели. Таков, очевидно, Факт мироздания (индифферентный и неморальный – *неисповедимый*), какой непросто понять и еще сложнее – поверить.) Итак, в ранние иудейскую и христианскую эпохи в роли антагонистов выступали языческие идолы, и на поклонение оным списывались всяческие беды, претерпеваемые народами; позднее, когда угроза политеизма постепенно сошла на нет, возвысился Дьявол – Искуситель, как довод всего греховного и плохого («*Кто верит в черта, тот уже и во власти его*»), а кроме того (и это не менее значимо) – покровитель ересей и магии, что, само собой, послужило благовидным предлогом («*Ворожеи не щади*») для фанатичной непримиримости и бесчеловечной жестокости (за которыми, впрочем, нередко стояли политические, корыстные мотивы) «Святой Инквизиции» – церковной машины, безжалостно погубившей сотни тысяч неповинных несчастных, – ибо в борьбе против Антихриста – Князя Тьмы – любые методы благи, любые действия святы. – «*Summum jus – summa injuria*» («Высший закон – выс-

шее противозаконие»).

«Человек слаб», – вот что остается констатировать священникам – сим слепым поводырям («*Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой?*»), сим обманутым обманищикам, сим «*вожатым в бездну*», наставляющим паству безоглядно верить в Того, кто уже «искупил наши грехи» («*От Господа направляются шаги человека; человеку же как узнать путь свой?*»); иными словами: несомненно, люди ничтожны, но это не повод сомневаться в том, что есть Некто всемогущий, Некто, кого нам в силу собственного бессилия надлежит всепокорно чтить; «*В тишине и уповании крепость ваша*», – внушают они, согласно убогой премудрости Соломона (сделавшегося на старости лет, напомним, богоотступником¹⁰⁹): «*Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой*»; вместо того чтобы учить: несомненно, человек несовершенен, но это не повод отступаться пред тем, чтобы становиться совершеннее и уважать свой разумный дух – верно следовать собственной природе, взыскующей божественного Идеала; ибо добродетель не в малодушном смиренномудрии – добродетель в сознатель-

¹⁰⁹ Согласно библейскому сказанию, у великого еврейского царя Соломона, которого Господь наделил сверхчеловеческой мудростью, было семьсот жен и триста наложниц, причем многие из них чужестранки. И вот некоторые из жен склонили («развратили сердце») престарелого царя к тому, чтобы он воздвиг алтари их богам и вместе с ними поклонялся оным. Несмотря на то, что Господь самолично общался с Соломоном и гневно порицал его за отступничество, тот, в угоду женам, так и не отказался от идолопоклонства.

НОСТИ ВОЛИ.

Вспоминая стихи Лукреция: *«Нет, благочестье не в том, что пред всеми с покрытой главою к изваяньям идешь и ко всем алтарям припадаешь, но в созерцанье всего при разумном спокойствии духа»*.

И тем фанатикам и фантастам, утверждающим, мол, самое благое, что есть у людей, это верование в существование *Непогрешимого Судии*, с полным на то основанием можно выдвинуть не менее мифичный, пожалуй, – предложенный Локком скорее в шутку, – но не в сравнение более обстоятельный контрдовод, гласящий, что всего лучше для людей, дабы каждый сам, руководимый просвещенными принципами свободного разума, был непогрешим. Ибо истинный нравственный долг – добродетель – человечность – есть только в том, в ком есть истинная нравственная свобода... *«Бог считается создателем нравственности, поскольку он рассматривается как творец человеческого разума, а нравственность суть дело этого разума»*, – читаем у Гельвеция...

Скажу так: религию можно почитать великим злом потому, что она выдается за величайшее благо. Впрочем, ничто великое не бывает однозначным. И здесь перед нами встает своего рода *макиавеллиевский вопрос*: оправдывает ли цель средства? Иначе говоря: достигается ли желаемое благо посредством *«необходимого зла»*?

Итак, повторяю: я, признавая за религией множествен-

ные отрицательные моменты, нисколько тем не менее не совестился священнической своей деятельности, считая ее подлинно полезной (при рационально-гуманном подходе), можно даже сказать – насущной (по крайней мере на данной стадии общественной формации). Но удовлетворяла ли сия деятельность стремлениям моего духа – это иной аспект. Ведь отнюдь не все полезное – благо, как, по поговорке, не все золото, что блестит. Благо не в том, что мы делаем, но в том, исходя из каких суждений и коим образом, и, конечно, в том, во что содеянное нами правомерно претворяется. Полезное может пойти на благо, а может обратиться во зло. Все относительно. Давай разъясню на нескольких примерах... Здоровье полезно? Бесспорно. Однако же для того только, кто здрав не одним телом, но прежде – духом; а кому недюжинное здоровье – безотказное подспорье для буйства страстей и плодородный рассадник пороков, тому оно, разумеется, идет нарочито во вред, ибо подстегивает к развязному самоуничтожению, не позволяя расстройством примирить дерзость беспутства (как метко сказано у Сенеки: *«Некоторых больных надо поздравлять и с тем, что они почувствовали себя больными»*). Далее: благосостояние полезно? Мало кто тут возразит, и никто, пожалуй, не возразит непристрастно. Но благосостояние не идет во благо тому, кто не способен разумно им распорядиться, – в таком случае своего хозяина оно делает своим рабом и неразумно распоряжается им (*«Деньги – одно из могущественнейших*

средств в руках человека, и именно по тому, какое он дает им употребление, можно судить, каков он сам»). Наконец, ум. Полезен ли ум? Nota: я имею в виду сейчас конкретно интеллект – сметливый, изощренный, но при всем при том узконаправленный, позиционно установленный, словом, ум практический, настроенный в базисе своем на материю (как вещественную, так и абстрактную), – а не созерцательную мудрость (вмещающую в себя интеллект субстанционально, но не ставящую его во главу угла), быть может, медлительную и малопрактичную, однако обширную, многогранную, самодовлеющую, *одухотворенную*, синоним коей – добродетель. Каждый скажет, что, коль нет в ком ума, значит, есть в нем глупость; глупцом же никто прослыть не хочет, а умником – всякий; вывод: ум полезен. Но разве же не учат нас извека как Талия¹¹⁰, так и Мельпомена¹¹¹, что самые опасные глупцы суть *мыслящие глупцы*? что самое зловердное невежество суть *ученое невежество*? «*Ибо недостаточно иметь хороший ум, – подмечает Декарт, – но главное – хорошо его применять. Самая великая душа способна и к величайшим добродетелям, и к величайшим порокам...*» Сколько урона понес свет, сколько вреда потерпело человечество от тех, кто оттачивал интеллект, но запускал нравственность, кто производил утилитарный фактор, но не задумывался о моральных последствиях, кто преследовал фикции, но не искал ис-

¹¹⁰ Талия – муза комедии.

¹¹¹ Мельпомена – муза трагедии.

тин, кто утверждал прельстительные миражи, но отвергал скорбную явь?.. Именно для подобных людей их выдающиеся способности служили помостом к пиетету, славе, обогащению, власти – к раздутию тщеславия, закоснению самонадеянности; и светлая тропа наук при сем приливе гордыни погружалась пред ними в тинистую пучину заблуждений; и, случалось, возомнив себя всемогущими богами, они отрешались от человеческой природы, лютыми зверьми оборачиваясь:

*«Затем что там, где властен разум, слитый
Со злобной волей и громадой сил,
Там для людей нет никакой защиты».*

Но наихудшее здесь, что те, кому многое было дано, кто многого сумели достичь, достигли жалкого, постыдного, вредоносного, бесчеловечного; не возвысили других достойным примером, но покрыли их мрачной тенью свысока почтенного своего положения, да тем самым опорочили оное в глазах потомков – глазах гораздо более зорких, нежели у современников, – ибо задним умом всяк крепок, и хоть мало кому дано величаться Прометеем, Эпиметеем¹¹² по праву может зваться кто угодно.

Так вот я, Себастиан, беспрестанно терзался дилеммой: польза моей пастырской инициативы пролегает ко благу, или

¹¹² Прометей переводится с греческого как «мыслящий до» (в согласии с чем Прометей был мудрейшим из титанов, обладая даром предвиденья), в то время как имя его брата Эпиметей означает «мыслящий после» (и он, напротив, о чем свидетельствует миф о Пандоре, был весьма легкомыслен и недалковиден).

же я мощу и для себя, и для тех, кого за собою стараюсь вести, ту самую дорогу, что, по пословице, заводит в ад? С одной стороны, как мною отмечено, религия обладает авторитетной силой, могущей оказывать благотворное влияние на людские нравы; с другой же, она, несомненно, принижает, затуманивает и без того горемычные, темные умы, да внушает страх и смятение душам, пропастью бед чреватая.

«Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет».

Суть в том, что, как бог не мыслится без дьявола, так, соответственно, рай не мыслится без ада; и для людей, ut regulae («как правило»), попасть в рай означает только-то избежать ада. *«Ах, сколь охотно лишился бы я неба, – стенает чернокнижник Фауст, – лишь бы от мук преисподней спаслись!»* Мало, ничтожно мало кто готов стать праведником в этой жизни, дабы удостоиться святой благодати в грядущей; но между тем многие остерегаются стать грешниками в этой жизни, дабы в грядущей осужденными страдальцами не оказаться. Почему так? Дело тут не в отсутствии веры, но в *невероятии* поверить. Что я разумею: ад вообразить несложно, – всякий знает, что́ есть боль, что́ есть отчаянье, что́ есть хлад и зной, и так далее и тому подобное; in summa («в общем»), всё, чем страшат богословы, проповедники, поэты, художники, живописуя безмерные и нескончаемые пытки вечного проклятия, каковые тем более легко представить, поскольку для *чад Евы*, в массе, бытие есть череда мук и треволнений (*«Дьявол всегда подыщет работу для праздных рук»*) – казе-

мат суетной тоски бессрочной. Ибо нет человека, что, сродни пророку Иезекиилю, не съел бы на своем веку свитка, на котором десницей Проведения начертано: *«И плач, и стон, и горе»*.

Но как, *in alia manu* («с другой стороны»), вообразить райское блаженство, коего наши чувства отродясь не ведали даже отчасти (*«Не зрело того око, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его»*)? Теологи (может, полные невежи в делах мирских, зато непогрешимые знатоки – в Небесных), тщась оживить сию мертворожденную топику, исхитряются, как только могут (неминуемо пользуясь, впрочем, примитивным методом аналогии, при котором земное служит критерием неземного), исписывают объемистые тома и составляют воистину *боговдохновенные* проповеди, но результат, несложно догадаться, не сообразен вложенным потугам фантазерства и являет собою горестно-смехотворный гротеск небесного мироустройства (как эпикурейски подтрунивает Лоренцо Валла: *«Не придумали мудрейшие мужи ни у подземных, ни у горних богов иного блага, кроме чувственного наслаждения»*). Кому из сих сочинителей, что по нраву, то он смело, – *по своему благоусмотрению*, так сказать, – и вписывает в атрибутику рая (что говорится: *знать не знаю, но готов поклясться!*). Кто любит цветы, непременно заявит, что Эмпирей пестрит благоуханными растениями; кто же к флоре равнодушен, укажет, что среди шелковистых облаков разлит аромат лада-

на, или мирры, или, как мне, к удивлению своему, довелось однажды прочитать, – *корицы*. То же в отношении еды (ибо вкусно покушать все любят, и было бы жестоко лишать сего наипервейшего удовольствия вознесенные души, даром что бестелесные): кто-то описывает упомянутые Гомером нектар и амброзию, стараясь, елико возможно, раскрыть для непосвященных вкусовые и питательные качества сих олимпийских блюд, каковые в итоге представляются столь ураганной смесью из всемыслимых вкусов, что, право же, утешительно за то преимущество, благодаря которому у небожителей не возникает проблем с желудком, ибо они его, надо думать, лишены; а те, кто не притязают на выявление секретных рецептур райской кухни, бесхитростно описывают священные вечера, только ж не вроде той, кою изобразил на своей знаменитой фреске Леонардо, где на столе ломтями лежит хлеб, да стоят миски с водой, нет, но вроде тех пышных пиршеств, какие проходят во дворцах, когда столы ломаются от несметных яств на серебряных блюдах и каскадом льются выдержанные вина в золотые бокалы, – и праведники всласть насыщаются сей «духовной пищей» без пресыщения. Далее: кому нравится духовая музыка, те утверждают, что ангелы «*в венцах цветками амаранта да золотом обвитых*» играют на флейтах, гобоях и трубах; кому скрипичная, те выскажутся в пользу скрипок и виолончелей; кому же по душе нечто пограндиознее, расписывают неслыханный симфонический оркестр и многомиллионные хоры из херувимов, серафимов

и, поверишь ли, великомучеников, – дирижирует же всем этим эпическим ансамблем, как полагается, сам Христос. И так во всем остальном: кто пишет про сахарные ангельские поцелуи и нежнейшие объятия, лебяжьему пуху подобные; кто про восхитительные купания в Млечном Пути; кто про невиданные празднества, драматические постановки и блистательные балы, еженощно проводимые в астральных чертогах; кто про роскошество одеяний и украшений, в кои облачены *окрыленные* (причем *par excellence* («преимущественно»)) райская мода, как ни странно, отвечает эпохе, которой принадлежит автор), – тут уместно вспомнить по-прек античного художника своему ученику: *«Ты не умел написать Елену прекрасной, а потому написал ее нарядной»* ... Был, наконец, и такой достопочтенный пастор, кто в своем обстоятельном раеописательном труде отметил особое наслаждение для резидентов Елисейских Полей в созерцании того зрелища, какое представляют поднимающиеся из геенны столбы дыма, лишней раз напоминая праведникам об их неиссякаемом счастье в сравнении с неизбывными муками, претерпеваемыми грешниками, – и дабы торжествовать свое столь же отрадное, сколь и безусловное превосходство, святые воодушевленно запевают «Аллилуйя»...

«Да помилуют нас боги и герои за то, что мы столько наговорили о делах божественных!» – только-то и можно воскликнуть здесь, вторя Геродоту... Все это до того забавно, что воистину грустно, – поелику, как известно, нечто, до-

стигнув крайности, становится собственной противоположностью...

Само собой разумеется, разработка столь величавой темы притязает на соответствующий уровень патетики, по сему сочинения с заголовками «Regnum Caelorum» («Царство Небесное») традиционно завалены непомерными грудами эпитетов, избылиуют неприличными ворохами восторженных изумлений и несчетным повторением слова «блаженство». Выходит же в конечном счете следующее: если все подлунные ассоциации, акцидентально приписываемые раю, – такие как означенные выше: дивный аромат, вкусная пища и красивая музыка, – нам приближённо ясны, как отдаленно ясны ужасы и жестокости ада, то вот уразуметь, что такое это самое, заключающее в себе субстанциональную суть райского бытия, «небесное блаженство» – беспредельное и совершенное (какового одного, в принципе, было бы сполна без всего прочего) – отнюдь *нелегко*, тем паче, когда богословы клятвенно заверяют, что всеблаженствие сие сопоставимо с мирскими радостями в той же пропорции, в какой море сопоставимо с каплей. Люди же неизменно доверяются своим чувствам, а в данном случае их чувства немеют, – ибо приятна пища, приятна музыка, приятны ласки, торжества, наряды, но все это не более как утехи – кратковременные и преходящие, а никак не беззаветное счастье, никак не безущербное блаженство («*Вполне несомненное благо, Сократ, это, по-видимому, счастье*», – сказал Евтидем. «Да,

*Евтидем, – отвечал Сократ, – ежели не компоновать его из сомнительных благ»). И даже безотносительная беззаботность райского времяпровождения в той или иной степени смущает человека – существо по натуре своей деятельное, а зачастую, увы, пуще того – суетное... Когда же проповедники возглашают с амвонов, что *Бог есть Любовь*, и Царствие Его – *Царствие Любви*, – то и такой, казалось бы, безупречно-вдохновительный тезис западает в людские груди сродни аэролиту, с *восьмой сферы* слетевшему, который, покуда достиг земной тверди, весь выгорел и из пылающей громады стал мелким, едва теплым камушком; ибо в прозаичной реальности любовь и ненависть смешаны в почти однородную консистенцию, что вода с пеплом, – и лишь избранным героям дано испытать чистой любви, не изведав горечи разочарования...*

Вера для большинства есть не что иное, как надежда; но веровать значит сознавать уверенность, а надеяться значит питать грезы, то есть в большей ли, меньшей ли мере обманываться – страшиться (ведь как страху всегда сопутствует надежда, так и надежде неотъемлем страх). И люди, (почти инстинктивно) старающиеся держаться религиозных предписаний, (почти инстинктивно) не стремятся вникнуть, чем же конкретно окажется подлежащая им вечность (поскольку вникать – означало бы рубить хвосты своим химерам), и, как во многом другом (и куда более важном), беспечно полагаются в сем неразрешимом вопросе на «Господа Бо-

га» (увы: *«Ничто так не способствует душевному покою, как полное отсутствие собственного мнения»*). Для них существенно иное: сия вечность все же предлежит, что утешает страх смерти (то бишь невообразимого небытия), и вечность сия не будет сопряжена с земными тяготами и inferнальными истязаниями, что утешает страх страданий (то бишь того, что земнородным всего ненавистней); ключевое же слово здесь – «утешает», которое вовсе не является эквивалентом слова «избавляет». А страх – это такая болезнь, что, ежели не исцелиться от нее начисто, она будет хронически возвращаться. Ибо что же есть страх, как не неуверенность? А что есть неуверенность, как не антитеза веры? Но коль нет веры – нет смысла. Но коль нет смысла – нет правды. Но коль нет правды – объявляется грех.

*«Страх прогоняет и стыд, он и узы теснейшие дружбы
Врозь расторгает, и он извращает вконец благочестье».*

Ибо греховность – свойство малодушия. Таким образом, равно как порочности противолечит добродетель, греху противолечит вера. Смысл веры – преодоление превратных страхов, в то же время цель добродетели (ее правда) – истинное благо. Посему невозможна подлинная вера без искренней добродетели, как невозможна подлинная добродетель без искренней веры.

Мне довелось провожать в последний путь не одну душу, и весьма нередко бывали оказии, когда те, кого именуют грешниками и нечестивцами (так как сердца их не про-

никлись предощущением потустороннего воздаяния, а умы не сподобились мудрости) с горькими потоками слез раскаивались на смертном одре в своих многочисленных винах: в неблагожелательности по отношению к людям и нерадивости по отношению к богу, – всеми фибрами духа уповая на безграничную милость господню, но не в силу того, что уверовали в загробное блаженство, а по слабости оттого, что убоялись загробного наказания. (Этот факт, мимоходом говоря, явно свидетельствует: страстные атеисты ничуть не здравомысленней страстных святош, – дерзостью, а не смиренностью, покрывающие ментальную ограниченность и моральную шаткость. Как однажды *ad punctum* («в точку») заметил мой знакомый капеллан: *«Заядлое отрицание бога есть только-то вывернутая наизнанку богобоязнь»*. Ведь что такое, если разобраться, атеизм? Атеизм – это *вера* в то, что бога не существует (то есть негативное гипостазирование позитивного ничто). Ибо непознаваемое, – а Идея Бога именно такова, – не подлежит ни констатации, ни негации¹¹³, но брезжит на интуитивном ярусе сознания, где полновластие веры. И едва лишь хлипкая, не подкрепленная внятными суждениями вера напарывается на то или иное внешнее сопротивление, запросто разлезается на ключья страхов и надежд, из коих все суеверия скроены. Засим вывод: *«Набожные боятся утратить Бога, атеисты – обрести Его»*). Итак, для таких вот «раскаявшихся» духовен-

¹¹³ Негация – логическое отрицание; упразднение, снятие.

ство и измыслило чистилище – место между адом и раем, в котором неправедная душа проходит очищение огнем священным, дабы по завершении оно, будучи необремененной коростой греха, вознестись на Авраамово лоно¹¹⁴. И чистилище (о коем в Библии ни слова), должно признать, воистину гениальное по своей эффективности изобретение: с одной стороны, оно примиряет с религией тех, кто вплоть до смертного часа не отдавал ей надлежащего почтения, и тем самым авторитетно демонстрирует превосходство могучей Церкви над жалкими мирянами; а с другой, служит стабильным источником дохода, понеже считается, что, чем щедрей приносятся жертвы богу (читай: церковные пожертвования), тем скорей душа почившего будет освобождена из очистительного пламени. Пожалуй, самым известным и показательным примером такого *богобоязненного безбожника*, который желал бы сократить свое пребывания в чистилище до минимума, является Генри VII, король Англии, престол узурпировавший; отнюдь не отличаясь беспорочностью жизни, но до безумия страшая заслуженной немезиды, он не поспешил (хотя и имел прозвание «*короля-скупца*») на свои похороны, составив детальное и вообще самое длинное завещание из всех британских монархов: так он распорядился о постройке часовни-усыпальницы, где за упокой его души должны были отправлять мессы вплоть до скончания ве-

¹¹⁴ Авраамово лоно – образное выражение, означающее Рай, поскольку Авраам был первым богоизбранником и праотцом всего еврейского народа.

ков (впрочем, дабы сие волеизъявление не выглядело чересчур утрированным, надобно заметить, что в эру средневековья Dies irae («Судный день») ожидался буквально со дня на день); но и того показалось первому из Тюдоров мало, а посему, для вящей гарантии, он заказал в придачу десять тысяч специальных месс... *«Вот уж странно, – иронизирует Гельвеций, – что деньги на том свете еще полезнее, чем на этом»...*

«И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму Себе два жезла, и назову один – благоволением, другой – узами, и ими буду пасти овец».

Этим я хочу сказать, что церковь ортодоксально практикует недостойный метод *«кнута и пряника»*: суля приснуеть благодать тем, кто ей покорен и угоден, и предрекая присное проклятие тем, кто ею гнушается и прекословит ей, но, однако ж, и последним, не без задней мысли, оставляет лазейку раскаянья (сиречь малодушия). *«Страх Господень – истинная премудрость»*, – выткано на воинствующей хоругви ее. Стало быть, набожные люди взыскуют добра не оттого, что испытывают личностную убежденность в необходимости быть ему соприсущными как собственному благу (то бишь не ввиду осознанного чувства человечности), но затем, что так положено *«свыше»*, – а тому, кто бездумно следует за кем-то, незачем самостоятельно ориентироваться в пространстве, незачем воспринимать путь (*«И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду*

вести их»), и коль такой вдруг замешкается, то непременно потеряется, и любой злодей под личиной благодетеля сумеет вконец заплутать его, уводя в противном направлении («*И будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению*»), – наподобие того, как, сказывают, духи пустынь по ночам увлекают от караванов сонных путников им на погибель... Вспомни солилоквиий Милтоновского Сатаны, проникшего в Эдем и узнавшего о единственном табу Господа, на первочету наложенном – не вкушать плодов от древа познания: «*Ужели знать есмь грех? Ужели смерть в том? И лишь неведение опора им? В сем ли основание их счастья, залог их послушания и веры? О, уж фундамент надлежащий тут заложен, дабы возвести их крах!*» Религия не учит – религия внушает: «*Terrorem potius quam religionem*» («Устрашением скорее, чем назиданием»). (А ведь именно в методике влияния и, следственно, постижения, зиждется коренное различие религии и философии, кое размежевало их за последние столетия из взаимодополняющей концепции в две оппозиционные дисциплины; как высказано Мальбраншем: «*Чтобы быть философом – надо ясно видеть, а чтобы правоверным быть – надо слепо верить*»). Ибо личностного безволия алчет духовенство, что наглядно подтверждает ставшее хулительным слово αἵρεσις («ересь» – «выбор») («*Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение*»). Коли же люди не познали смысла добра и зла, коли

не усвоили, что никакое добро не достигается дурными поступками и никакое зло не посрамляет истинно благие намеренья, коль они невольно доверяются тому, что им навязывают, а не собственным уму и сердцу, – то такие люди – несамодостаточные и ведомые – столь же далеки от добродетели, сколь и от мудрости (что суть одно и то же). А ежели душа объята сырым мраком, в ней неотвратимо нарождаются пороки, сродни тому, как в погребках нарождается плесень... В общем: *«Кто сеет ветер, тот и пожнет бурю»*. Отсюда и произрастают многочисленные преступления на почве веры (ибо как раз в своей вере, – в том, в чем люди кардинально отличаются от зверей, – они наиболее зверям уподобляются), и оскверненная кровью (сколько Ифигений¹¹⁵ легло под нож суеверий? сколько Орфеев¹¹⁶ пало жертвой нетерпимости?) купель Храма Господня вовеки не обрящет той эфирной чистоты, коя знаменует подлинную святость...

¹¹⁵ Ифигения – юная дочь царя Агамемнона, предводителя войска ахейцев (греков) в Троянской войне. Когда ахейский флот, собравшийся на войну, в течение многих дней не мог выйти в море из-за встречного ветра, прорицатель Калхас предрек, что корабли не сумеют отплыть до тех пор, пока Агамемнон не принесет в жертву Артемиде (богине охоты) самую прекрасную из своих дочерей, поскольку незадолго перед тем царь, поразив на охоте из лука лань с очень дальнего расстояния, похвастался: «Сама Артемида не выстрелила бы лучше!», коим богохульством и навлек гнев богини. Агамемнону ничего не оставалось, как принести эту жестокую жертву. Когда невинная девушка была заклана на алтаре Артемиды, тотчас подул попутный ветер, и войско благополучно отплыло.

¹¹⁶ Орфей – легендарный фракийский поэт и музыкант (кифаред), растерзанный менадами (вакханками) – почитательницами бога виноделия Диониса (Вакха), буйный культ которого Орфей презирал.

«*Tantum religio potuit suadere malorum!*» («Сколько зол могла внушить религия!»)

Вот одна грань вопроса. Другая же такова, что *сыны Адама* до того обвыкли полагаться на нечто «потустороннее», нежели верить в себя, безотчетно поддаваться «вышним внушениям», нежели чутко познавать собственную натуру и окружающую явь, – словом, быть зависимыми от неисповедимого «проведения», а не суверенными своим разумением, что в одночасье отнять у них религию-надежду-утешение, все равно как внезапно затушить тусклое мерцание лампы среди катакомб бытия: и все, кто скитался по ним, чая каким-то чудом наткнуться на выход к «*Жизни Сущей*», вдруг в кромешной тьме оказавшись, примутся неумолимо метаться в безрассудном отчаянье, врезаясь в преграды, сбивая друг друга с ног, давя павших, ибо светоч человечности в ненастных их душах заволокло грозowymi тучами невежества, мнимости, суеверий; они улавливают лишь внешние отблески, кои, то вспыхивая, то загасая, притупляют взор, дезориентируют сознание. И как изображено Платоном в аллегории пещеры¹¹⁷: ежели вывести узников недомыслия из су-

¹¹⁷ Наиболее известная из аллегорий Платона, изображающая мнимость чувственного мира (в противоположность миру умопостигаемому, о котором одном возможно истинное знание); описывается следующим образом: люди находятся в подземном жилище наподобие пещеры; с малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что им не двинуться с места, и видят они, соответственно, только то, что у них прямо перед глазами. Узники сии обращены спиной к широкому просвету, тянущемуся вдоль всей пещеры, – там далеко в вышине горит огонь, а между огнем и пещерой проходит дорога, по которой другие люди несут различные

мрака, в каком от рождения они обретаются, и показать им *истинный свет*, те, будучи не в мочи выдержать оный, ринутся обратно, укрываясь в привычной полутьме своего подземелья. Ведь как вразумишь что-то люду, который не желает ничего постигать, а менее всего – себя самое? Да даже не то что не желает – попросту боится; и в духовной инертности своей готов не глядя принимать все за него уже обдуманное и решенное на веру (*«Никто не обольщай самого себя: если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, будь безумным»*). Нет вящих заблуждений, чем те, на встречу которым охотно идут люди, дабы заблуждений избежать... Каким же способом, воистину, указать надежное направление тому, кто несется с зажатыми глазами и ушами, воображая, что у самого края жерла, к коему он стремительно приближается, у него как по волшебству вырастут крылья?.. Излечить таковых чрезвычайно непросто (*«Ибо стараться вывести из заблуждения людей, не имеющих твердых понятий, все равно что отнимать жилище у бродяги, у которого нет определенного местожительства»*), куда вероятнее реориентировать их *dementia* («помешательство») к положительному развитию, в чем и пригодна поспособствовать религия – сей *«финикийский вымысел»*¹¹⁸. Руководствуясь по-

предметы. Люди же в пещере созерцают лишь тени, отбрасываемые светом на расположенную перед ними стену, и ложно принимают оные за самые предметы.

¹¹⁸ Финикийский вымысел – по Платону благая ложь народу (миф, якобы берущий начало в незапамятной древности), используемая государством в целях поддержания порядка (справедливости).

добными воззрениями, многие видные просветители, даже состоя в конфронтации с церковью, отстаивали насущность *христианской морали*. И я разделял и посейчас разделяю позицию, что вера в Высшую Справедливость, ежели вложить в нее должный посыл да вычистить червоточины мракобесия (ежели преподносить ее как вольное призвание, а не вменять как подневольную повинность – одушевлять стремлением ко благу, а не стращать на бегство от грешности), такая вера – такое, *vere* («вернее»), *религиозное чувство* – оказывает на народ пусть отнюдь не безукоризненное и благонадежное, а все-таки позитивное воздействие: смягчает характеры, культивирует доброжелательство и милосердие («*Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят*»)… – наставник вздохнул с тихой грустью (как тот, кто ради общего успеха терпит личную неудачу). – Религия – это плацебо, инспирирующее чудотворную надежду исцеления, каковая есть не более чем фантом самовнушения, – ибо как, по поверьям, привидений можно различить лишь боковым зрением, точно так дело обстоит и с церковным богом, на которого взглянешь прямо – он сей же миг испаряется («*Господь сказал, что благоволит обитать во мгле*»). *Deus absconditus* («Бог сокрытый»).

«*Пусть радуется и предпочитает найти Тебя, не находя, чем находя, не найти Тебя*», – при печально-усталой улыбке изрек Лаэсий; и, уверенно посмотрев мне в глаза, продолжил:

– Бог не может существовать вне души – душа способ-

на существовать помимо Бога, но не *жить*. Предикат «безбожность» не тождествен предикату «бесчеловечность», но предикат «божественность» предикату «человечность» тождествен. Ибо божественность – это прекрасная Идея Высшего в душе человека – это Идеал – это добродетель – это любовь – это *Жизнь*; меж тем как контрадикторное – зверство – предел низшего начала – порочности, что убожеством своим уничтожает самый принцип разумности. Добродетель суть порядок, порочность – неупорядоченность; и понятие греха проистекает из веры в собственное величие (как писано в «Дао-дэ Цзин»: *«Когда в Поднебесной узнают, что доброе – добро, появляется зло»*); ведь зло есть нарушение добра, как болезнь – нарушение здоровья (впрочем, я не заявляю, что у зла нет онтологического¹¹⁹ основания, как раз наоборот: в природе зло пребывает безотносительно, хотя, сказываясь во вреде и агрессии, является сугубо относительным, – но заявляю, что у зла недопустимо основание разумное, – посему-то зло и недомыслие для человеческой натуры суть одно и то же: *«Если дух, если познание делает человека владыкой мира, то нет безвредных заблуждений, а подавно нет заблуждений достойных и священных»*)... Плотин заповедовал: *«Радение наше не о том, чтобы быть без греха, но о том, чтобы уподобляться Богу»*. Однако нико-

¹¹⁹ Онтологический – относящийся к бытию как таковому. Онтология – раздел философии, в котором рассматриваются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности.

гда нельзя забывать: человек подобен Богу не потому, что богоподобен человек, а потому, что человечен Бог. «*Восходить к Богу значит углубляться в себя*». *Est Deus in nobis* («Бог – в нас»). Тот, кто взыскует истины, кто достаточно силен, дабы неуклонно взирать на ее светозарный лик, тому религия должна быть чужда, как противопоказанны лекарства для здорового, – мудрый поступает достойно, потому что такова его суть – такова его жизненная потребность – его духовный стимул – его созидательный логос – его вдохновительный телос¹²⁰ – его вера – его благо – его Гений, – а не потому что уповает на замогильное воздаяние иль кары страшится.

«*Иметь религию – долг человека*», – постулат верный только в том случае, если под религией подразумевается Идея Бога как принцип *elatio animi* («возвышения души»), а не *божественная сущность* («*Ens realissimum*» («наиреальнейшее Сущее»)) как социальный мотив либо трансцендентная (антисоциальная) иллюзия, – тогда – *и только тогда* – долг перед богом будет паритетен долгу перед самим собой – человечности. Ибо в любви к богу нет любви к человеку, но в любви к Человеку – любовь к Богу... Посему, не премину мимоходом заметить, «добрый Фенелон», вознесенный до небес потомками, описав в своем аду прбклятого мудреца-филантропа, полагавшегося на личную добродетель, а не

¹²⁰ Телос (греч. τέλος) – конечная цель; по Аристотелю, наиболее совершенное состояние, достигаемое существом в его природном развитии.

на божество, оную в дар ниспосылающее («*Без любви и благоговения к богам, коим все довлеет, нет подлинной добродетели*») создал самый низменный эпизод, на моей памяти, во всей высокой литературе. Отрекаться от своих заслуг значит лицемерить; приписывать свои заслуги высшему произволению значит тщеславиться; говоря коротко, умаление человеческого достоинства в угоду эгоизму мнимой святости есть раболепие перед собственной персоной, при котором естественная гордость вырождается в деланную гордыню. И, наконец, вспоминая строки из этики Канта: *«Падать ниц даже с целью выказать почитание небесным силам противно человеческому достоинству, так же как и обращение к изображениям их; ибо таким образом вы преклоняетесь не идеалу, что являет ваш собственный разум, а идолу, вами же сотворенному»*. Нет добродетели без самоуважения, как нет самоуважения без добродетели...

Однажды бог умрет (не как творчески-умозрительная идея, – пока жив человек, – но как идея общественно-прикладная). Неведомо: благом обратится его конец или же злом, – очевидно, как при всех великих переменах, контаминацией¹²¹ того и другого. Однако же то, что сему ветхому исполину суждено медленно изголодать от неверия, задохнуться в вакууме небрежения и бессильно кануть с небес в мгlistую бездну преданий – можно утверждать наверняка. Ана-

¹²¹ Контаминация – возникновение чего-либо нового путем объединения (смешения) различных элементов чего-либо данного.

логично, как древнейшие божества более не представляют собою никакой действенной мощи, а исключительно демонстрируют мощь человеческой фантазии, их породившей, так и нынешние демиурги сойдут с проскения¹²² культа и, облачив театральные маски, явят свои людские лица... Что будет тогда? Растворится ли вера в разуме или ж сгустится в неразумии? Изникнет ли вместе с богами столь укоренившаяся в народе привычка поклонения? Ежели нет, то кого или что станут почитать: космос, идеи, доктрины, персон, правительства, корпорации... может статья, машины?.. Сбудется ли грозное в своей справедливости предвещание мыслителя, гласившего, что в поисках простых способов упрочить настоящее, – то есть суррогатирова естественные основы нравственности иррациональными догматами, – церковь подвергает будущее опасности страшного и, быть может, непоправимого разрушения?.. Какая эра грядет? Утопическая эпоха свободы, самосознания, братства и порядка или же дистопия рабства, безличия, вражды и террора? Вознесет нас «победа» на небо иль в преисподнюю низринет?.. Итог непредсказуем, хотя, повторюсь, неизбежен, – ибо Хронос – единственный непререкаемый земной бог – извека точит на самозванцев свою косу, ложь разящую, и от летящих искр просвещения выгорают плевелы заблуждений и предрассудков, чьи корни питает оскудевающая нива религии – топкий фундамент, ис-

¹²² Проскений – сценическая площадка в древнегреческом театре, которая (отсюда название) находилась перед сценой – декоративным задником.

подволю засасывающий великолепный купол «*Благочестиво-го Обмана*», над ним самонадеянно возведенный. «*Temporis filia veritas*» («Истина – дочь времени»).

Понятие веры обязано начисто утратить свой религиозно-мистический смысл и утвердить новое – эстетико-философическое – значение. Вера – это единство разума и чувств. Вера – это духовная свобода. Вера – это добродетель. Вера – это любовь. Вера суть человечность...

Лаэсий мечтательно вздохнул; и на момент просиявшее (ставшее младенчески умильным) лицо его с блестящими зрачками, глубинной серьезностью прониклось; он возобновил речь:

– Но возвратимся, однако, ко мне. Я помогал своим прихожанам как мог, как они, «*не умеющие правой руки отличить от левой*», сумели бы принять мою помощь, – будто бесперечь врачевал незаживающие раны, будучи бессилён привить им то целебное снадобье, которое, по слову Тимея, «*изо всех снадобий совершеннейшее и наилучшее*» – знание. Ибо знание есть энергия, животворящая самосознание, иначе – мудрость, иначе – человечность – *человеческую натуру*, – поскольку, следуя этической теории Бенедикта Спинозы, разумение выводит индивидуум из пассивного состояния в активное, позволяя воспринимать адекватные идеи и превалировать над неадекватными аффектами, – то есть быть самодовлеющим и вольным, недоступным ненависти, исполненным любви... – и, с печальной теплотою улыбнувшись

мне, отец бережно взял мою правую руку в обе свои. – Нет, не смел я вослед апостолу Павлу похваляться пред ликом Всеправедного Судии: *«Подвигом добрым подвизался, течение свершил, веру сохранил...»*, – а посему, когда доктор Альтиат предложил мне воспитать человека, я без малых колебаний и укоризн совести тотчас же дал согласие и покинул тех многих, чью участь в моих возможностях было облегчить, ради того одного, кого в моих возможностях было спасти. И я ни разу не усомнился в сделанном выборе. Пусть, Себастиан, сын мой, ты проживешь свою жизнь замкнуто и безвестно, но проживешь ее достойно, ибо проживешь ее мудро и добродетельно, а кто мудр и добродетелен в себе, тот для всякого будет таким (законно сказано у Марка Аврелия: *«прегрешающий всегда прегрешает против самого себя»*); и ежели судьбе станет угодно нарушить твой мирный покой, вырвать тебя из философской уединенности, ты, – с доблестью, приличествующей благородному мужу – истинному человеку, – выступишь все, что бы рок тебе ни ниспослал: *«Подобно огню, овладевающему тем, что брошено в него: слабая лампада была бы погашена, а яркое пламя вздымается еще выше»*.

VIII

– Таков был сей давний разговор, – произнес Себастиан, как бы отделившись от Лаэсия, с образом которого слился на время сказанного монолога (так что чудилось мне, точно я, будучи Себастианом, внимаю своему почтенному воспитателю): – Разговор этот так хорошо запечатлелся у меня в памяти, поскольку прилежно записан на пергаменте моей души, как и многие другие беседы наставника; годам не скоблить сих священных для меня текстов, ведь я постоянно возвращаюсь к ним – отраднейшим своим воспоминаниям... Я люблю Лаэсия, как отца. Превыше, чем отца. Ибо по справедливому речению Аристотеля: *родители дают нам жизнь, а учителя – добрую жизнь* (коли сами они добры). Без Лаэсия... окажись на его месте кто-то иной... чем был бы я?.. Никчемным сочетанием пассивной материи и инертной мысли? животным, лишенным равно инстинктов и разума? улиткой с полой раковинной, бесцельно переползающей из угла в угол?.. Я обязан Лаэсию всем... и обязан был во всем отвечать ему совершенным послушанием, верно следуя разуму, каковой он во мне беззаветно взращивал...

Но я... я человек, Деон. Каким бы исключительным ни был мой путь – это человеческий путь... Рассудок – наш возница – правит вожжами чувств и эмоций, но стоит оным, ежели возница по неопытности или беспечности потеряет

контроль, пуститься во весь опор, – их не сдержать; они увлекают колесницу духа и стихийно мчат ее, – порой к гибели, порой к спасению... порою же к стечению того и другого...

Так уж вышло, что и мне довелось познать владычество Киприды¹²³. И я – изгой, в дикой глуши сокрытый, не избежал разящих стрел Эрота¹²⁴... Ваша вчерашняя речь, ваши откровенные замечания касательно влюбленности и любви, подвигли меня сизнова переосмыслить некогда пережитое...

Последовало непродолжительное (но долгое) молчание.

«Без вины человеку прожить не дано,

Не дано прошагать по земле без греха...»

Вполголоса прочитав эти стихи, Себастиан, отсутствующе взглядываясь перед собой, на несколько секунд впал в некую особенную (*таинственную*) задумчивость. И вот «придя в себя», выдохнул меланхолично; взял хрустальный графин, что стоял пред нами на столе, и наполнил водой два стакана, первый из которых любезно подал мне, а из второго отпил сам (со сдержанностью, веющей беспокойством). Засим молвил:

– Мне шел семнадцатый год – цветущая пора, когда чувства необычайно обострены и неутолима любознательность. Умом я, пожалуй, был старше многих своих сверстников,

¹²³ Киприда – одно из наименований Афродиты – древнегреческой богини любви.

¹²⁴ Эрот – древнегреческий бог влюбленности (страстного влечения), представляемый в образе красивого юноши с крыльями, атрибутами которого являются лук и стрелы любви; в поэтической традиции считался сыном Афродиты.

но в душе оставался сущим ребенком, кой, не ведая забот и треволнений, увлеченно осваивает жизнь да с наивной непосредственностью удивляется всему, что созерцает. Я все чаще выходил на длительные прогулки и все чаще в преднамеренном одиночестве. Меня манил сакральный зов, с каждым звуком природы единосущный: шелестом растительности и переливами ручьев, щебетом птиц и стрекотом кузнечиков, шепотом ветра в волосах, – полифоническое безмолвие девственного мира; чье-либо присутствие неминуемо заглушало бы сей всепроницающий глас единства бытия, – ибо, как известно, природа вещает лишь тому, кто один, или же тем, кто *одно*...

Были последние дни апреля – первые дни безраздельно воцарившейся весны. Согретые ласкою солнца, парящего в безоблачной лазури, деревья налились соками и нежно-салатовой распустились листвой; поднялась ввысь насыщенная трава, в коей пламенели пестрые головки цветов; воздух был напитан сладостным, упоительно-будоражающим ароматом пробуждения, отчего сознание обретает столь привольное раздолье, такую эфирную легкость и прозрачность, что кружится голова... Эти дивные дни, в какие с особой силой ощущаешь во всем преходящем проявление вечного, мне во все не хотелось просиживать за книгами; тело мое жаждало трудов, а дух – впечатлений. В груди у меня глухо и тоскливо плакало какое-то непознанное чувство, просящееся наружу из своей укромной кельи. И часто, лежа на поляне, я при-

слушивался к тихому лепету скрытого источника, словно бы он, в самом себе стремящийся, отзывался мне, сливаясь с грунтовым течением моего подсознания... Бывало, до поздних сумерек бродил я по лесу, обстоятельно его исследуя, точно бы ища чего-то; забирался в такие дебри, в которые не дерзал заглядывать ранее (временами мне встречались плотоядные звери, – я благоразумно держался поодаль, спокойствие сохраняя, и они отвечали взаимностью); несколько раз нешуточно заблудился, но и то было мне в радость: теряясь в лесу, я беспримерно ощущал огромность окружающего мира, однако в связи с этим не только почему-то не испытывал чувства потерянности в нем, а наоборот, проникался безграничной с ним близостью, бесстрашие душе внушавшей.

И вот однажды (в начале мая), влекомый сим неутомимым зовом, я спонтанно шествовал по дремучей чаще до тех пор, пока она вдруг не расступилась: предо мною открылся вид на равнину, пролегающую у отлогого всхолмья, на каком-то я очутился, – так что мне представилась изумительная возможность обозреть сию долину во всей ее картинной панораме. Окаймленная лесами, над коими возвышались величавые пирамиды гор, расстилалась она бархатно-зеленым полотном; и у самого центра, огибаемое рощицей, покоилось синее озеро, в котором, чудилось, утопало небо; вдоль дальнего берега золотилась нива, и подле уединенно стоял крохотный лоснящийся белизною домик с красной двускатной кровлей, а прямо за ним – томно дремал плодовый сад, ти-

шью дня убаюканный. То был поистине бесподобный идиличный пейзаж; и я, расположившись у лесной опушки, очарованно любовался им до самого вечера, когда дневное светило стало неспешно опускаться за гряды гор, зажигая их ледяные купола, позлащая сосны, лиственницы и ели на скалистых склонах, и бросая багряную полосу на темнеющие воды озера, воздушной дымкой овеянные. Наступало *мгновение волшебного забвения*... Мне не хотелось уходить. Я страстно желал узреть долину, омытой лунным перламутром, мечтательную прелесть сообщаемым природе, и увериться, что в оконце домика загорится уютный огонек человеческого присутствия... Но Лаэсий и Эвангел уже наверняка беспокоились обо мне. А потому в непередаваемо воодушевленном сожалении я побрел домой; и чем дальше отдалялся я, тем пуще нарастало сие амбивалентное настроение, тем глубже оно принимало меня, побуждая почасту оборачиваться, – тогда-то я постиг безрассудное нетерпение Орфея, за чьей спиной сквозь мрак Аида ступала Эвридика¹²⁵, – ибо беспамят-

¹²⁵ Согласно древнегреческому мифу, когда Эвридика, супруга легендарного музыканта Орфея, укушенная в пяту змеей, умерла, тот спустился за нею в Аид – царство мертвых. Там Орфей не только очаровал всех стражей и чудовищ своей печально-прекрасной музыкой, но и на время прекратил муки осужденных нечестивцев. Пленительная музыка тронула даже сердце Аида, владыки загробного мира, и его супруги Персефоны, – они позволили Эвридике вернуться в мир живых, поставив лишь одно условие: по пути вверх Орфей не должен оборачиваться до тех пор, пока Эвридика не выйдет на солнечный свет. Ведомая созвучиями кифары, Эвридика шла за мужем по темному проходу; и вот, уже завидев солнечный свет, Орфей невольно обернулся, дабы убедиться, что возлюбленная

но влюбился в это сказочное место. И возмечталось мне, перевоплотившись филином, вершащим свою ночную охоту, низко пролететь вдоль равнины, крылами росистой травы почти касаясь, среди тишайшей беспредельности потемок; вспорхнуть на ветку одного из каштанов у домика и заглянуть в окно, дабы выведать, кто обитает там: счастлив он или печален, одинок или в кругу любящей семьи...

Придя домой, я, будучи *сам ни свой*, ни словом не обмолвился отцам о моем знаменательном открытии, будто опасаясь, что материализуй я его вербально, оно растает, как признанный сон.

Ночь не принесла мне покоя. В зачарованной дреме бредил я о живописной долине, отливающей изумрудным сиянием, о небесной синеве озера, блесками астрального серебра осыпанного, о загадочной усадьбе и ее *фантастических жителях*...

Едва рассвело, как я, не предупредив отцов о своем уходе, направился в «*заветный край туманных грез и смутной тоски*». Преодолев изрядное расстояние в наикратчайший срок и ничуть не испытывая усталости (словно не шел, а парил), я вновь оказался на откосе, к равнине сходящем, и, несколько помедлив в некоем фатальном трепете, с бушующей грудью, в коей вихрилось дыхание, обоюдно взывая к смеху и к плачу, сбежал вниз...

Озеро безмятежно спало́, частью озаренное, частью осе-

ненное тенью рощи. Я сошел к воде и, присев на корточ-ки, коснулся рукой аквамарина глади – студеная свежесть от опущенных в воду пальцев восходила к самому сердцу. И в сей миг я узрел *Ее... Чудесное видение прелестной юности. Мистическое творение неведомой женственности...* То был момент озарения – момент сверхчеловеческого откровения – запредельности чувств... С волнующей грацией приближалась она к озеру; распущены волосы, босы стопы... Не помня себя, я попятился назад и, оставшись незамеченным, укрылся в роще. Рассудок как отшибло: все мое естество сосредоточилось во взоре. Пригнувшись, я перемещался по зарослям на ощупь, точно ослепший: от дерева к дереву, придерживаясь за шероховатые стволы, с инстинктивной осторожностью спеша приблизиться к той, от которой не мог оторвать взгляда... И до меня донеслось ее пение – *глас ангела* – звонкое, что восторг, трогательное, что слезы. Воздев руки солнцу, девушка пела, в жизнерадостной пляске кружась невесомо, и блещущие лучи вплетались в ее локоны прядями золотыми. Окружающая природа сочеталась с нею воистину совершенной гармонией, – словно то наяда¹²⁶, приветствующая Феба¹²⁷... Я был восхищен и обескуражен... никогда не испытывал ничего удивительнее, ничего прекраснее... ничего вдохновеннее... *Нечто Божественное...* Я будто пребы-

¹²⁶ Наяды – нимфы (духи, полубожества в обличье прекрасных дев) рек и озер.

¹²⁷ Феб – одно из наименований Аполлона – греко-римского бога солнца и покровителя изящных искусств.

вал за чертою жизни и смерти, обратился бесплотным духом – единосущим и свободным – не отягощенным ни памятью прошлого, ни предощущением будущего, но всецело растворенным в настоящем, каждое мгновение которого – *неуловимо-вечное* – являлось частицей меня...

Девушка опустила в озеро мысок (как бы пробуя теплоту) и засим, легким движением скинув с себя белоснежную накидку на травянистый берег, стала входить в воду. Тут я опомнился... Поверите ли, но первое, что проблеснуло у меня в голове – миф об Актеоне¹²⁸, подглядевшем купание Артемиды и жестоко за то покаранном... Резко отвернувшись, я без оглядки рванулся прочь, смерчем хаотически переплетающихся эмоций гонимый. Пересекши равнину, взбежал по косогору и, не умеряя прыти, нырнул под тенистый полог леса. Силы стремительно источались из меня, точно острием пронзило грудь мою; кровь стучала в сердце, раскатистым боем в ушах отдаваясь; я задыхался; все было как в дыму, – не различая пути, бежал наугад, спотыкался о корни, царапался о склоненные ветви, налетал на стволы, но не смел остановиться, словно безумец, преследуемый бесами. Нако-

¹²⁸ Согласно древнегреческому преданию, однажды юноша Актеон, охотясь в лесу, случайно набрел на место, где девственная богиня охоты и владычица зверей Артемиды купалась в окружении своей свиты нимф. Вместо того чтобы тотчас удалиться в священном страхе, Актеон зачарованно наблюдал божественное купание. Заметив это, Артемиды возмутилась и превратила юношу в оленя. Когда испуганный Актеон в образе лесного животного кинулся прочь, на него набросилась собственная свора собак и растерзала на куски.

нец, ноги подо мной подкосились – я пал наземь. Чувствовал, как что-то во мне неудержимо переполняется, душит сердце, вздымает грудь; и в тот миг, когда душа грозила разорваться под невероятным напором, из глаз пламенно изверглась магма слез... Я плакал навзрыд, как бессмысленное дитя, и мука моя была моим блаженством... *Катарсис*...

Добрел до поместья я лишь к полдню – изможденный, замаранный, с прорехами на платье; разбитый и ликующий. Дверь в комнату Лаэсия (первой от лестницы) была отворена. Как затрепетал я, застыв в нерешительности, пред сим залитым светом порталом, порог которого дотоле переступал не иначе как при отрадном благоговении. Заслышав мои шаги, наставник окликнул меня по имени (вздвогнул я) и попросил зайти к нему.

– Сын мой, – молвил он, внимательно на меня глядя, – тебе есть что мне сказать?

– Я... – протянул я с леденящим вдохом; чувствуя, что не смогу, *просто не смогу* (сам не ведая в силу какой причины) раскрыть любимому отцу и учителю сакраментальную правду своей души. – Я немного заплутал в лесу и слегка упал... споткнувшись о корягу... – выговорил я, будто б полагая, что эти лукаво-наивные «немного» и «слегка» приуменьшат мою ложь, а не сделают ее еще больше и ухищреннее – еще постыднее – еще непростительнее.

Лаэсий безмолвно созерцал меня, – невысокий, но возвышенный, – стоя в своей характерной позе – прямой и неколе-

бимой, каковая всегда представлялась мне столпом уравновешенности, а ныне – скалою строгости; впрочем, вдумчиво-спокойные очи отца не судили меня, ибо вина моя была им очевидна, но и не осуждали, ибо милосердно позволяли мне ее искупить.

– Все в порядке, – с напускной уверенностью произнес я, дотла внутри сгорая (и втайне утешаясь, что волосы скрывают краску моего лица).

Вкусив от плода с запретного дерева познаний, я не осмеливался признаться в том своему всеведущему отцу, ибо будоражащее прегрешение мое стало для меня несравненно дороже бестревожности нашего *Эдема*, непостижимо овладело мною без малого остатка. Лаэсий прозревал меня насквозь: он знал, что я лгу, равно как знал, что я сознаю то, что он это знает. Слова были излишни... Наставник понимающе кивнул мне, и я вышел, тщаьсь принять неумолимый факт, что впервые обманул того, кто вложил в меня всю свою веру, того, кому сам я доверял премного более, чем себе. Мне было так тягостно, так невыносимо больно, до смерти страшно, ибо я предчувствовал, сколько неискупимого горя повлечет моя ложь, но ничего не мог с собою поделать, словно бы уже не принадлежал себе, словно бы возложил к ногам *Наяды синего озера* свое сердце, на коем начертано роковое слово: «*Прекраснейшей*»¹²⁹...

¹²⁹ Согласно древнегреческому мифу, это слово было начертано на золотом яблоке, которое богиня раздора Эрида во время свадебного пиршества, куда были

То была мучительная ночь. То была блаженная ночь. Я не ведал покоя. Я не желал его. Моя душа томилась в груди, ей было тесно, душно; она пылала страстью выпорхнуть, расправить оперившиеся крылья и улететь к той, кто отныне над нею неисповедимо владычествовала.

При первых проблесках зари я все же ненадолго уснул, поскольку, как бы мне ни не терпелось, твердо решил отправиться в заветную долину только после обеда, дабы не множить подозрения (и не усугублять тем самым обеспокоенность отцов), – ведь стезя обмана требует осторожности, а посему это не прямая тропа, но окольная, и чтобы ею последовательно продвигаться приходится терять время – вечного союзника истины. Однако, как я уже сказал, ложь моя была заведомо напрасной; сверх того, я точно знал, что Лаэсий не станет пытаться меня уличить и дознаваться секрета, мною таимого, – то было бы недостойно человечности, любовно связующей нас, – он желал от меня не признания, не покаяния, а откровения, кое бы разом очистило мою душу и избыло тревогу его души. Отец не считал правильным меня вразумлять, так как я уже был им надлежаще наставлен

приглашены все боги кроме нее, незаметно подкинула к ногам трех олимпийских богинь, рядом стоящих, – то были: Гера (богиня брака и семейного очага), Афина (богиня мудрости) и Афродита (богиня красоты), – вызвав тем самым между ними спор о том, которой из них сей дар предназначается. Впоследствии это золотое яблоко, известное как «яблоко раздора», послужит причиной похищения Елены Прекрасной троянским царевичем Парисом (с помощью Афродиты, которой Парис, избранный Зевсом богиням в «судьи красоты», и вручит оспариваемый артефакт), а соответственно, причиной Троянской войны.

в том, что есть зло и что есть благо, в чем добродетель, а в чем порок. «Ты еще мне не равен, но уже выше меня», – заявил он незадолго. Лаэсий не сомневался, что мое руководящее начало захлестнуто междоусобной распрей, и, балансируя на острой грани веры/разочарования, со стойким смирением ждал исхода сего определяющего борения. За годы духовной практики наставник глубоко усвоил постулат: если человек сам себе помочь не хочет, то никто помочь ему не сможет, и любое вмешательство окажется для него мучительным и ненавистным, он лишь отчаянней раздерет врачуемую рану, зря в гибели своей свое спасение... Итак, ложь моя имела резон, хотя не имела смысла. Но для занесшего ногу над пугающе-завораживающей бездной одержимости есть лишь две возможности: либо отпрянуть, либо грянуть вниз, – первая требует недюжинной воли, вторая ничего не требует – только зажмуриться. Я обманывал любимого отца и учителя единственно потому, что не находил в себе духу распахнуть глаза и ухватиться за протянутую длань помощи – единственно потому, что обманывал себя...

Отвергнув разумение, предался вере. Скрываясь правды, затерялся в фантазиях... Стал *иным*...

Я посещал долину ежедневно. Продвигаясь лесом, чем ближе я к ней подступал, тем ярче преисполнялась атмосфера солнечного сияния, сквозь редящую кущу сочащегося, – так что, чудилось мне, терявшему внятную связь с реальностью, будто я у преддверия *Царствия Небесного*.

И всякий раз, прежде чем спуститься с покатога склона, с *вольной невольностью* замирал я на месте, впивая эйфорическое очарование пейзажа, торжеством оглашавшее душу мою. Свежее василькового отлива озеро, по коему проплывали отражения пенистых облаков, густо-зеленая роща, его берега обрамлявшая, белый домик с красной кровлей – все это стало для меня неизъяснимо родимым, – ибо дышало *Ею* – ибо было *Ею*... Я позабыл своих отцов, позабыл учение, позабыл книги, позабыл самое себя, – позабыл, как забываешь воду, которой утолена жажда, – и помнил лишь неотражимую *Наяду*, в чьем образе для меня запечатлевалась вся жизнь. Ибо *Она* стала моей *Мечтой*, коей донныне у меня никогда не было, ибо *Она* причастила меня сей великой мистерии¹³⁰ – научила мечтать, что суть самое восхитительное и чудотворное из свойств человеческих... Литература воодушевляла меня смеяться и плакать, но сколь несовершенными (словно лишь *тени истины*) представлялись мне теперь те экзальтации, сколь не шедшими ни в какое сравнение с всеобъемлющим восторгом и блаженными слезоизлияниями – с неопишуемым, неземным экстазом, магически возбуждаемым *Царицей моих грез*. Казалось, что я сплю: но сон мой есмь мое пробуждение... Преображенным взглядом созерцал я *мир идеальной Красоты*, к *Единой* восходящей, – будто раскрывшимся *мистическим оком*...

¹³⁰ Мистерии – древнегреческие тайные священнодействия, для принятия участия в которых необходимо было пройти обряд посвящения.

Но, разумеется, я и не помышлял отважиться показаться девушке на глаза, четко сознавая *неординарность* моего облика; хотя даже не это в первую очередь, а известная юношеская робость не позволила бы мне открыть свое негласное присутствие. Притаившись в зарослях близ усадьбы и дожидаясь появления Наяды, я погружался в некую *неусыпную беспробудность* – *напряженную медитацию*; и время для меня протекало как в утренней полудреме – ощутимо, но безотчетно: мириады мыслей овеивали тусклый оком сознания, а спустя мгновение улетучивались, ни следа по себе не оставив (нечто аналогичное, как я читал, пожалуй, испытывают те, кто употребляют опиум, – им кажется, что во власти опьянения они беспредельно объаты думами, однако, как скоро ум их оттаивает, постигают, что на самом деле не думали – забывались)... Забывался и я, сравнимо тем амфибиям, кои на период зимней спячки впадают в столь глубокий стазис, что у них прекращает биться сердце... Но как только взору моему являлась *Она*, я не то что пробуждался – будто воскресал: замершее сердце начинало оживленно пульсировать, заряжая каждую клеточку естества; мысли, доселе беспредметно реющие, шквалом устремлялись к самой сердцевине разума, понуждая звонко трепетать эолову арфу¹³¹ моей души...

Вскоре я в достаточной мере вник в незатейливый быт

¹³¹ Эолова арфа – большой струнный инструмент, выставляемый на открытом воздухе и звучащий благодаря колеблющему струны ветру.

уединенной усадьбы, дабы составить себе достоверное представление о ее обитателях. Наяда (девушка приблизительно равного мне возраста) жила с отцом – немногословным и смурым (впрочем, общаясь с дочерью, он охотно говорил и улыбался), матерью – женщиной внешне как бы хронически усталой, а по темпераменту непоседливой и работающей (она выглядела слабой, когда отдыхала, и сильной, когда трудилась), а также пожилой, но энергичной бабушкой очень жизнерадостного нрава (коя в моменты особой веселости напоминала собой задорного ребенка); была у них еще собака – крупная и лохматая, которая, как-то застав меня в роще, издала угрожающий рык при агрессивной стойке, но я, не растерявшись, уверенно наказал ей «сидеть», а затем «дать лапу», с чего и началась наша секретная дружба, – Мишка (так звала пса Наяда) время от времени навещал меня, а я, тому обрадованный, хорошенько его гладил, хвостом виляющего, и играючи притом расспрашивал, ему в отзывчиво-умные глаза всматриваясь: как там поживает его юная хозяйка? – мимолетная улыбка блеснула на устах Себастиана. – Эта семья вела скромный, весьма однообразный образ жизни, вместе столь схожий и столь разнящийся с тем, который присущ был моей семье. Хозяйство их, насколько я мог судить, содержалось так, чтобы удовлетворять собственным потребностям да не утруждать излишними хлопотами. Отец и мать проявляли нескрываемую отрешенность в отношении друг друга; казалось, оставив все надежды и обольщения, они

равнодушно сосуществовали ради дочери, в которой видели единственное достойное оправдание несчастливого брака – единственное его утешение. Тем не менее, из своих наблюдений я заключил, что, отвечая взаимностью на родительское обожание главным образом из почтения и сочувствия – атрибутов любви пассивной, девушка обнаруживала искреннюю привязанность только к бабушке. И сколь дивно было наблюдать причудливый ассонанс их взаимоотношений, при которых цветущая юность и увядающая зрелость держались сестринской добродушно-веселой манеры: они помногу разговаривали, перешучивались и смеялись, посиживая на веранде – то в расслабленной праздности, то занимаясь какой-нибудь ручной монотонной работой, коя, как известно, служит ладным фоном досужих бесед; вдвоем они часто прогуливались вдоль озера, и, случалось, златовласая девушка, раздражив свою поседелую подругу, пускалась от нее наутек с заливистым, что птичья трель, смехом, а та, вытянув вперед руки, нерасторопно гналась за нею буквально несколько шагов, после чего принималась потешно отмахиваться, как бы признавая свое поражение и провозглашая помилование легконогой наперснице. Умиленно глядя на них, я неизбежно вспоминал своих покинутых отцов и испивал горчайший глоток сожаления, примешанный в полную чашу радости; мое сердце стыло от сознания разраставшейся между нами отстраненности, что хладным, тлетворным туманом осела на поля, где дотопе при ясной лучезарности спели колосья благоден-

ствия. Но, многократно оглядываясь назад, я все же не мог повернуть вспять, не осмеливался покинуть оазис аморфных иллюзий ради верной действительности, опрометчиво мною отринутой. Я словно бы отведал того мифического лотоса¹³², от сладчайшего вкуса которого все забываешь и желание утрачиваешь домой возвратиться...

Не стану долее задерживаться на семье Няяды; скажу только еще несколько надлежащих слов о ней самой и моих к ней чувствах... Не берусь судить, была ли Няяда красива относительно господствующих эталонов, но для меня она была *самая прекрасная* девушка на свете, – ведь для меня она была *единственная* девушка на свете... «*Истинно, вечным богиням она красотой подобна*»... Вообразите, какое откровение я восприял, узрев, прочувствовав, осознав ее впервые. Своих мать и няню я почти не помнил, других же обитательниц и гостей фамильного особняка позабыл давно, а посему понятие «женщина» брезжило в моем сознании неким смутным фантазмом, невосполнимой лакуной значась. И при чтении произведений с романтическими линиями мне никогда не удавалось уразуметь того всепокоря-

¹³² В «Одиссее» Гомера описывается народ лотофагов («поедатели лотоса»), которые кормятся неким цветком, называемым «лотос», что дарует им (наркотическое) забвение. И вот, когда Одиссей во время своих морских странствий пристал к берегу, где сей народ обитал, и отправил дозор из трех человек, те отведали предложенный им местными жителями сладостный цветок и тут же забыли не только зачем их послали, но и вообще все свое прошлое, да возжелали навсегда остаться в этой стране, дабы и впредь в блаженном забытьи вкушать лотос.

ющего упоения женственностью, кое испытывали мужские персонажи, кое возносило их в гении и повергало в безумие. Любовь между мужчиной и женщиной являлась для меня, безусловно, самой неразрешимой и самой волнующей загадкой из всех несметных энигм бытия. Ибо за минувшие годы сознательной жизни я питал осмысленную любовь-уважение к своим отцам – Лаэсию и Эвангелу, а равно доктору Альтиату, но внерациональная любовь-влечение к человеку иного пола оставалась для меня неисповедимой.

И вдруг я увидел *Ее* – поющую у синего озера Наяду – во мгновение постигнув все то, что поныне непостижимым представлялось, – ибо сие озаряется исключительно чувству. И я почувствовал, как витальное пламя любви объяло мою душу, опалило ее страстью и само же теплом нежности залечило ожоги... Я полюбил, думал я, вовсе не ведая разницы между любовью и влюбленностью, как обычно не ведают оной (и *не желают* ведать) литературные герои. Я окружил земное божество своих грез небесным почитанием и созерцал сию святыню – извечно столь близкую и столь неприкосновенную – глазами благочестивого фламينا¹³³, преклоняясь пред нею с самозабвенной верой и трепетным благоговением. Завороженно наблюдал я за Наядой, во всем усматривая признаки ее духовного совершенства (сообразного совершенству наружному), отыскивая сокровенный смысл в любой перемене ее поведения и испытывая непреложное

¹³³ Фламин – жрец какого-либо конкретного божества в Древнем Риме.

ощущение сугубой значимости того фантастического влияния, какое возымела она над моею судьбой. Видя, что Наяда читает книгу, я мечтал узнать название сего сочинения, дабы оно стало для меня *сакральным кодексом*; слыша, как она поет, я чаял уловить и запомнить слова, дабы они сделались моею *мантрой*, – но волшебный голос, околдовывая и пленяя, – словно песнь сирены, что вещает великие тайны мироздания, с ума сводящие, – лишал меня способности мыслить, будто каждая строка, минуя сознание, вливалась напрямиком в душу, притоком счастья в ней растворяясь...

Таким образом, промелькнуло порядка десяти дней, и за этот краткий срок, сновидению подобный, – я, моя жизнь – все переменялось до того стремительно, существенно и необратимо, что, мерещилось мне, истекло целое десятилетие. И тем явственнее было это впечатление, когда я смотрел на своих отцов: они имели вид непривычно утомленный и подавленный, точно б в самом деле состарились на декаду. Я жалел их всем сердцем, но сердце мое, не в мочи сменить курс, сродни фрегату, притягиваемому магнитной горой (что громоздится, по легенде, где-то на севере средь океана), сердце мое обреченно несло к своему крушению...

Когда в очередной раз нетерпеливой поступью шествовал я через лес по направлению к заповедной долине, свысока до меня донесся предостерегающий рокот; тревожно, словно исполнившись дрожи, зашумела древесная листва; ветер взволновал траву, рябившую под его призрачным наплывом;

постепенно стал сползаться сумрак; и вскоре я почувствовал, как прохладная капля обжигающе пала на мою правую кисть. Мне бы следовало, руководствуясь рассудком, воротиться назад, но я, ему вопреки, отчаянно помчался дальше, – так обезвоженный в пустыне тщится нагнать ускользающий мираж. Достигнув опушки, я в ужасе узрел, как буря, раскинув дожденосные крылья, с треском и грохотом гнала над равниной черные скопления туч, заслонявшие собою лик солнца померкший. Я стоял в опустошенном смятении, задыхаясь в волнах мятущегося мглистого воздуха и не будучи в состоянии уразуметь нагрянувший шторм, что искрящей сетью гроз истреблял мир души моей... Оглушительный удар грома при ошеломляющей вспышке расколол небо, и тотчас гулким залпом грянул ливень, – яростной, ледяной дробью на священный дол низвергаясь, тысячами всплесков решета гладь мутно-серого озера. Как ошпаренный бросился я под буйно колышущийся навес леса, и, казалось мне, что творится нечто невероятное, нечто кошмарное, *апокалипсическое* сродное... Насквозь промокший и пробранный холодом бежал я через бушующую чащобу, но не ощущал ни того, ни другого, ибо заливался безудержными слезами и дрог от эмоционального потрясения, меня изнутри нещадно обуревавшего.

Когда я, чуть дыша, полуживой, добрал до поместья, дождь, изрядно унявшийся, продолжал кропить размякшую, слякотную землю. Лаэсий и Эвангел ждали меня на

крыльце. Мы вошли в дом, и покуда Эвангел проворно помогал мне снять мокрую одежду, Лаэсий тихо, но твердо молвил:

– Себастиан, я предупреждал тебя, что сегодня предвидится ливень.

– Я не расслышал, – ответил я (нисколько не кривя душой).

– Нет, – возразил наставник, – ты не желал слышать.

Он был совершенно прав... как всегда...

Ввиду данного злключения я простыл. В ближайшие дни о походах не могло быть и речи. Впрочем, и погода к тому совсем не располагала: атмосфера держалась пасмурная, гнетуще-хмурая, болезнетворная; дождь сек оконные стекла и заунывно гремел по крыше; ветер, проносясь с протяжным воем, раскачивал глянцевито-темные леса; вершины гор заволокло густым дымчатым туманом; по временам землю содрогали раскаты грома, беспросветное небо сверкало молнией. До душащих слез обидно и томительно было мне оттого, что хотя бы мельком не могу повидать *милую Няяду*. Тогда я прикрывал глаза и воображал ее: она являлась мне очень живо, но отдаленно («*далекое пламя*»); и сколь бы я, концентрируясь, ни усердствовал приблизиться к ней, заглянуть в самые ее очи, она оставалась недосыгаемой, точно бы я плыл против течения, кое нивелировало все мои потуги, на исходном месте удерживая неумолимо...

Мне приснился сон. Я стоял перед зеркалом и лицезрел

себя... *обычным*... Гладкое юношеское лицо смотрело на меня печально-спокойными глазами, и трогательное выражение их, блеском подернутых, – единственная деталь, которую я отчетливо – *необычайно* отчетливо – помню... Вне себя от изумления выбежал я из своей комнаты. Ничего не различая (словно кругом была пустота), покинул поместье. Преодолел путь (созерцая его во всех подробностях) за какие-то неразличимые мгновения и очутился у белого домика с красной двускатной крышей. Отворив дверь, вошел внутрь. То, что предстало моему взору, невозможно описать словами, ибо осознать невозможно. Как любое обустроенное помещение, это будто соблюдало определенную систему, однако система сия представлялась пугающим хаосом. Предметы обстановки и их положения не имели никакого смысла, противореча всякой рациональной догадке. Все было *иначе* (странно, необъяснимо, невыразимо чуждо), – словно то не человеческое жилище, а обитель каких-то *существ неведомых*... Только зеркало, висевшее на стене, воспринималось привычным и даже успокаивающим... *таинственно манящим*... Я подошел к нему. В отражении я увидел ее – девушку: в смутном полумраке за моей спиной полностью обнаженная стояла она (загадочная, *всеведущая* улыбка среди неясных черт), и в сложенных лодочкой ладонях ее, к груди подъятых, сказочно пламенел алый цветок. Я обернулся. Но позади никого не было. Лишь загроможденное *ничто* – лишь брезжащая тьма. В удушающем смятении схватился я за го-

лову и вдруг понял: она сплошь покрыта волосами. Опять воззрелся в зеркало: чистый юношеский лик мирно на меня смотрел, и в блещущем взгляде его было нечто гипнотическое, мучительно-завораживающее... страшщее до бесчувствия... Я стал ощупывать свое лицо, уверяясь (но *не веря*), что оно не может быть таковым, каково в отражении, что внешне я остался прежним. И тогда явилось прозрение: находящееся по ту сторону зеркала – *иной мир*... не менее реальный, чем этот, но и не менее иллюзорный... Я резко пробудился. Неуловимые полумысли, сродни стае испугнутых птиц, взметнулись прочь от вспыхнувшего сознания, что дым от огня. Мне едва давалось дышать; сердце изнывало в груди, и на глаза навертывались жгучие слезы...

Нужно было отвлечься. По роковому наитию я вспомнил о бывшем в нашей библиотеке сборнике романтической поэзии эпохи Ренессанса, каковую до того нарочито обделял вниманием, относясь к ее пылкой сентиментальности и вычурности слога с известной долей скептицизма (и некоторой, пожалуй, произвольной опаской). Но теперь эти стихи (по большей части о потаенной или безответной любви) воистину восхитили меня: словно я, доселе не умея, внезапно научился их читать – уразумел их *сокровенный язык*, – и чудилось мне, точно они торжественно воспевают *мои собственные* переживания. Зачитываясь сими сонетами, элегиями, эклогами, выучивая их наизусть, я и безутешно грустил о себе и преисполнялся благостной гордости: исходил слеза-

ми, улыбаясь; воздыхал, ликуя. В итоге, следующим вечером надо мной возобладала назревшая идея опробовать перо на давеча приобретенном опыте – сочинить стихотворение, к Наяде обращенное. И лишь стоило мне нанести на лист дебютную строку, взблеском знамения нисшедшую, как меня обуял неистовый жар вдохновения, и трепетно-дерзновенное перо, едва поспевая за лавиной мыслей, лихорадочно записывало мелодичные рифмы, в такт сердцу звучащие (с естественностью той подобной, с какою поют птицы)... Все для меня перестало существовать: время, пространство, ощущения, – только оркестра¹³⁴ подсознания и Муза, на ней гласящая... Когда я окончил, черкнув восклицательный знак, волна поистине манической мощи, что пронесла дух мой сквозь море эмоций, сей же миг отхлынула. Вновь оказавшись на тверди реальности, резко ощутив свое пребывание в сем материальном мире, я испытал небывалое бессилие, будто писал собственной кровью; и, благоговейно спрятав рукопись (как прячут святыню), провалился в беспмятный сон...

Проснувшись поздним утром, первым делом я настежь распахнул окно, и неизреченным восторгом на меня повеяло: природа, как в счастливой сказке, избавилась от проклятья ненастья, воссияла дивными красками, теплотой благоухала медвяной, в благоденствии нежасть, – еще чудеснее прежнего...

¹³⁴ Оркестра – в античном театре площадка для выступлений хора и музыкантов.

Я спустился позавтракать. Лаэсий, осведомившись о моем самочувствии, сообщил, что сегодня стоит ожидать доктора Альтиата, так как тот уже был уведомлен о моем легком недуге (Лаэсий пообещал безотлагательно оповещать его о любом расстройстве здоровья кого-либо из нас; но все-таки в своей депеше, изложив общую несерьезность симптомов, наставник настоятельно просил друга повременить с приездом до прекращения дождей).

Вскоре, – когда мы все втроем находились в столовой, – со двора послышался стук копыт: доктор Альтиат прискакал верхом на своем вороном коне...

– Эребе¹³⁵, – присовокупил я.

– Да, – кивнул Себастиан, взаимно мне улыбнувшись. – У доктора было своеобычное, довольно, надо сказать, *мрачное* чувство юмора. Но это, конечно, нисколько его не умаляло, – ведь сие беспреренно человеку добродетельному, что дух его соткан из ярких лучей и теней глубочайших...

По завершении медосмотра, проходившего у меня в комнате, доктор согласился со мной, что я уже совсем поправился и смело могу совершать прогулки (каковые только пойдут мне на пользу).

– Однако ж, – молвил он, исподлобья глядя, – одно меня озабочивает, Себастиан...

– Что?.. – настороженно спросил я.

¹³⁵ Эреб – в греческой мифологии олицетворение вечного мрака; самое глубокое и темное место в Аиде.

– Твое сердце. Оно функционирует как-то чрезмерно интенсивно... словно... словно *подменили* его... – в задумчивости прошептал доктор (внутри себя взирая). – Казалось бы, – заговорил он через момент, мне в глаза пристально всмотревшись, – мы не виделись с тобою три недели, а ты так сильно переменялся... да и не только ты, но и Лаэсий, и Эвангел. Сверх того, сам *климат* в этом доме, безусловно, претерпел некие *аномалии*... Что-то случилось?..

– Да нет... – проговорил я, опять ступая на скользкий обжигающе-холодный лед лжи.

Окинув меня пронизательным взглядом, доктор изъясил гортанью неудовлетворенное «хм...» и провел по усам расходящимся движением большого и среднего пальцев правой руки, сомкнув их на конце своей, как это называется, «козлыной бородки» (ритмичное подергивание которой, по его полушутливому утверждению, положительно содействовало развертыванию ментальных процессов).

– А что это такое ты читаешь?.. – спустя несколько секунд, выпучив глаза и взяв книгу с прикроватной тумбы, приглушенно воскликнул доктор. – «*Tormento e Passione*» («Мука и Страсть»)... Любовную лирику?.. Себастиан... – произнес он на вздохе; и вполголоса примолвил: «*Природа мудро позаботилась, чтобы человеческие глупости были преходящими, книги же увековечивают их*», – после чего принялся с каким-то брезгливым интересом перелистывать страницы, бесперечь при сем меняясь в мимике: то вскидывая брови, то

хмурия, то выпячивая губы, то прикусывая.

– Лукавая фея поэзии... – наконец хлопнув том, критично, точно ставя диагноз, высказался доктор. – Прельщая волшебным королевством мечтаний, заводит в топь прозаичных разочарований (смотри-ка ж: почти в рифму вышло!)... Клянусь кровью Квасира¹³⁶, откуда взялся он у вас, сей альманах горючего рифмоплетства? Не по вине ли оно, Себастиан, твой пульс днесь форсирует?

– Может быть... – конфузливо вымолвил я, кляня себя за то, что позабыл убрать книгу (и вновь тем утешаясь, что волосы скрывают краску моего лица).

– Лаэсий, Лаэсий – *ценитель изящной словесности*... – снова вздохнул доктор, досадливо помахивая закрытым томиком (будто норовя зашвырнуть тот куда подальше). –

¹³⁶ По древнескандинавскому мифу, изложенному в Младшей Эдде, было так: «Все началось с того, что боги враждовали с народом, что зовется ванами. Но потом они назначили встречу для заключения перемирия, и в знак мира те и другие подошли к чаше и плюнули в нее. А при расставании боги, дабы не пропал втуне тот знак мира, сотворили из него человека. Он зовется Квасир. Он так мудр, что нет вопроса, на который он не мог бы ответить. <...> И однажды, когда он пришел в гости к неким карлам [то есть карликам], они позвали его как будто затем, чтобы поговорить с глазу на глаз, и убили. А кровь его слили в две чаши и котел, смешали с той кровью мед, и получилось медовое питье, да такое, что всякий, кто ни выпьет, станет скальдом [то есть поэтом] либо ученым. Асам же [то есть богам] карлы сказали, будто Квасир захлебнулся в собственной мудрости, ибо не было человека столь мудрого, чтобы мог выпросить у него всю его мудрость...» Итак, «кровь Квасира» – это кеннинг (особый вид метафоры в скальдической поэзии), который обозначает «поэтическое искусство».

«*Amicus Plato magis amica veritas*»¹³⁷ («Дружен с Платоном, но превыше – с истиной»)… – проворчал негромко. – Впрочем, – возразил сам себе, и на лбу его прорезались морщины раздумья, – мир немислим без любви, а значит и литература – зеркало мира. Только ж, как правило, дурное это зеркало, мутное, неправдивое, а зачастую и вовсе кривое, какие бывает выставляют на ярмарках: смотришься – гигант, маленько сменишь ракурс – вот уж обратился пигмеем. Но ты, верно, меня не слишком-то понимаешь… В общем, как бывает, что плохо сработанные зеркала глядящегося раздают вширь иль в высоту вытягивают, либо, напротив, сплюсцивают (словом, всячески искажают отображаемый оригинал), также и литература – воспевае любовь, на разный лад ее профанируя. И глянешь на книжные прилавки, наваленные романтическими историями, что алтари ладаном, так складывается ощущение, будто б любовь (я разумею любовь возвышенную, всецелую, непогрешимую, или, подведя все это под единый знаменатель – «божественную», – *id est* («то есть»)) такую, какой она сулит быть сердцу человеческому), так вот складывается ощущение, будто б любовь вполне себе повседневное, общедоступное явление, кое встречается чуть ли не на каждом шагу, и только тебя, горемычного, сия благодетельница жестоко обделила, да еще, – вот уж стран-

¹³⁷ «*Amicus Plato magis amica veritas*» – крылатая латинская перефразировка слов Аристотеля, в которых тот (бывший ученик Платона) говорит, что, несмотря на свою близость к платонизму, не может принимать некоторые его взгляды, поскольку не считает их верными.

но, – всех тех поголовно (*forte* («возможно»)), за очень-очень редким исключением), кого ты в достаточной мере знаешь, дабы быть уверенным, что все-таки, оказывается, не одного-то тебя избегает неуловимая голубка счастья, что не один-то ты впал в немилость Венеры... «*Pulchrum est paucorum hominum*» («Прекрасное – удел немногих»)… Так откуда ж берутся все эти несчетные книжки – «*про любовь*» (как выражаются барышни)? Их пишут мечтатели. Так кто же читает их? Их читают мечтатели. А что есмь мечта? То, чего у тебя нет, но чего ты страстно желаешь – пикантная фантазия, приправляющая постность яви – «*Приключение*». Ergo, королларий¹³⁸ таков: и пишут и читают любовные произведения те, у кого любви нет, но кому ее чрезвычайно хочется, пусть они (по недостатку эмпирии) слабо себе представляют, что это вообще такое (как слабо себе представляют океан, в глуби материка живущие). Вот тебе образцовый силлогизм¹³⁹ (сам Мом¹⁴⁰ не придерется!). Aut («или»), как остроумно подмечено Ларошфуко: «*Некоторые только потому и влюбляются, что наслышаны о любви*»… Summa summarum («в конечном счете») выходит следующее: в неро-

¹³⁸ Королларий – суждение, являющееся необходимым, само собой разумеющимся следствием из определенных положений.

¹³⁹ Силлогизм (др.-греч. συλ-λογισμός «подытоживание, подсчёт, умозаключение») – дедуктивное умозаключение (частное выводится из общего) в логике. (Здесь просто как синоним умозаключения или подытоживания.)

¹⁴⁰ Мом – древнегреческий бог насмешки; «Сам Мом не придерется» – эллинская поговорка (аналог русской поговорки: «Комар носа не подточит»).

мантизированной данности (в «мире мельниц») большинство людей (чтобы не сказать: едва не все) сближаются между собой отнюдь не по любви, а по нужде – от одиночества, скуки, тоски – аналогично древнеегипетским свинопасам, которым в вину их нечистого удела не позволялось вступать в браки с кем-либо, кто не принадлежал к их презренной касте; так-то народные массы, заточенные в стены духовного лепрозория¹⁴¹, истошно ищут хоть кого-то себе подобного, кто бы соразделил с ними тяготы мучительного прозябания и, как они втуне мечтают, чудодейственно их исцелил... Для людей любовь – это надежда и страх, скроенные воедино да постоянно норвящие расползтись на лоскуты, – лохмотья, в кои они тщатся закутать от бытийных выюг собственную несамодостаточность; *in uno verbo* («одним словом»), «любовь» – это их *религия* (так и в бога люди отчаянно жаждут верить как раз в силу того, что им отчаянно сей веры не достает)... *Ignis fatuus* («ложный/блуждающий огонь» – «обманчивая надежда»).

– Но вы ведь любите свою жену? – прямо (хотя почти неосознанно) задал я сей вопрос, испытывая, как тягучая стужа протекает по моим венам.

– Я к ней привык, – с лаконичной определенностью, ровным, сродни упругой стальной струне, тоном ответил доктор Альтиат. – Когда я был молод (немногим старше тебя, девят-

¹⁴¹ Лепрозорий – зона, в которой изолированно от общества содержались больные проказой (лепрой).

надцати лет), и никто еще не величал меня доктором, когда я зачитывался поэмами и романами, когда мне, существу пантеисту¹⁴², окружающий мир чудился восхитительным творением Божиим и мною повсюду ощущалось всеблагое присутствие Мировой Души, я возомнил, что полюбил очаровательную целомудренную девушку с невинно-прозрачными, как ангелова слеза, глазками – *«небесное создание, амбру и мускус источающее»*. И она, дева, *«достойная титула владычицы моих помыслов»*, так скоро, как это было допустимо, стала мне законной супругой... перед людьми... – тут доктор испустил сквозь ноздри насмешливый выдох, – и перед богом... Talassio!¹⁴³ Мечта погубила поэта. Мадригалы интерпретировались в эпиграммы. Амбра и мускус трансмутировались в киноварь и серу. Bone Deus! («Боже Милостивый!») Бесподобная Дульсинея Тобосская, у ног которой куртуазно преклонил я колено, дав обет вечной верности, лишь стоило рассеяться опьяняющему дурману влюбленности, предстала заурядной Альдонсой Лоренсо¹⁴⁴. Очарование оказалось не более как накинутым флером стыдливости, целомуд-

¹⁴² Пантеизм – религиозно-философское воззрение, отождествляющее Бога с природой.

¹⁴³ Talassio! – традиционное поздравительное восклицание на древнеримских свадьбах (впрочем, уже в классическую эпоху никто точно не знал, что оно означает).

¹⁴⁴ Альдонса Лоренсо – настоящее имя Дульсинеи Тобосской (измышленной Дон Кихотом), каковая в действительности отнюдь не являлась безупречной куртуазной дамой, будучи грубой деревенской девицей.

рие – набожностью (пробклятой набожностью, nota bene («заметь себе»)), и девушка-мечта с невинно-прозрачными, как ангелова слеза, глазками, о коей я упоенно грезил, нежданно воплотилась в женщину-факт с бездумно-стеклянными, как черт знает что, глазенками, коя мне, клянусь бородой Вильгефортис¹⁴⁵, и в страшном сне не снилась (Кримхильда, коварнее всякой Брунхильды¹⁴⁶)... Я обманулся. Более того, страстно желал обмануться, ибо мне не терпелось влюбиться, ибо ощущал себя *предназначенным любить*... «*Quod volumus, facile credimus*» («Чего вождеееем, тому спроста верим»)... Нельзя надкусывать плод, не убедившись, что он

¹⁴⁵ Вильгефортис – католическая святая, покровительница девушек, блюдущих целомудрие. Согласно легенде, Вильгефортис, что жила на заре зарождения христианства, не хотела выходить замуж, поскольку дала обет безбрачия (то есть была «супругой Христовой»). Отец, языческий король, пытался выдать девушку замуж против воли за некоего принца; Вильгефортис молилась богу, чтобы брак не состоялся, и произошло чудо: у нее выросла борода. На бородатой девушке принц жениться не пожелал, и тогда взбешенный отец распорядился распять свою дочь на кресте.

¹⁴⁶ В германском средневековом эпосе «Песнь о Нибелунгах» фигурируют две во многом противоположные героини: нежная женственная Кримхильда (сестра короля бургундов Гунтера) и воинственная мужественная Брунхильда (жена Гунтера), – и в определенный момент между ними происходит конфликт, следствием которого служит то, что по внушению Брунхильды (и не без одобрения Гунтера) убивают супруга Кримхильды великого героя Зигфрида. Спустя годы, будучи женой могущественнейшего государя Европы Этцеля (исторический Атилла), Кримхильда, никогда не забывавшая невинно убиенного Зигфрида, приглашает (заманивает) к себе «в гости» всю свою родню с многотысячной свитой и насылает на них орды воинов, – так за одного Зигфрида, погибшего от козней Брунхильды, пали тысячи германцев, утоляя потоками крови месть Кримхильды.

не червив; нельзя поддаваться чувству, не уверившись, что оно не ложно. Невозможно любить того, кто тебе не родственен духом, кто чужд тебе, – можно только внушать себе это, слабовольно притворяться, возвеличивая жалкую привычку в ранг верховной близости (лепить голову льва на туловище козы, так сказать). Равным образом, невозможно не полюбить того, в ком испытываешь родственную душу, будь даже сей человек отпрыском заклятых врагов твоего семейства (не обессудь за избитый и довольно-таки паршивый *exemplum* («пример»)).

Моя супруга *in toto* («в целом») славная, добропорядочная, короче говоря, *благочестивая* женщина, – полюбить земную тварь, *ni fallor* («как кажется»), вообще неспособна, а посему она влюблена в «*Боженьку*», – то бишь в того, кто за раболепное почитание, кое суть надуманное (и, само собой, надменное) обольщение чувств, отвечает столь же надуманным обольщением благодати, ограждающей от сомнений и забот сей брэнной юдоли: «*In te, Domine, speravi!*» («На тебя, Господи, уповаю!»). А кто находит усладу и утешение в горделивой (это уж инвариантно) набожности, тот упивается собственной слабостью, – под стать больному, для которого в размеренном протекании болезни наличествует некое томительное удовольствие... Воистину, недаром древние римляне полагали, что у христианского бога ослиная голова¹⁴⁷, ибо

¹⁴⁷ В первые века своего существования христианство, будучи замкнутой сектой, состоящей преимущественно из черни, подвергалось множественным на-

подобострастно ему поклоняющийся сам обзаводится такой же (хотя Аквинат и восстал бы тут строгой отповедью¹⁴⁸); ведь святоши по ослиному упрямы в своих заблуждениях, тупо за оными следуя, как за морковкой, что, будучи подвешена на леске, удерживаемой дланью оседлавшей их церкви, маячит у них перед взорами лакомым знамением небес и манит безоглядно брести в «Счастливое Никуда»... «*Credo, quia impossibile est*» («Верую, ибо невозможно»). Чего ж удивиться, коль гусь, проникнутый божественным духом, предводительствовал им в крестовом походе!¹⁴⁹ А еще, клянусь Гусем (читавший Аристофана да понимает), святоши сродни детям, зажмуривающим глаза, чтобы не бояться темноты; религия для них суть «*asylum ignorantiae*» («убежище неве-

смешкам и наветам (так, например, из-за того, что христиане «едят плоть и пьют кровь» на своих таинствах, ходили слухи, будто они приносят в жертву младенцев и пожирают их); в том числе распространенным было заблуждение, что христиане поклоняются божественному ослу, либо богу с головой осла.

¹⁴⁸ Фома Аквинский утверждал, что Бог не может нарушать закон непротиворечия, – так, например, Бог не может превратить человека в осла, ибо это противоречит собственным замыслам Бога.

¹⁴⁹ Свидетельство из труда Альберта Аахенского (жившего в XII веке хрониста 1-го крестового похода) «Иерусалимская история»: «Встречалось и другое омерзительное преступление в этом глупом и сумасбродном пешем скопище, преступление, которое, в чем не приходится сомневаться, было ненавистно в глазах Господа и которое даже покажется совершенно невероятным всем христианам. Они уверяли, будто некий гусь проникнут божественным духом и в не меньшей степени им же проникнута некая коза. И обоих этих животных они содеяли себе в предводители в этом святом странствии в Иерусалим; они выказывали им знаки благочестивого почитания сверх меры, и превеликая рать, подобно скотине, следовала за ними, веря в сие всей душою...»

жества»). (Вторая Лихтенбергу: «Тысячекратно благодарю я господа бога за то, что сотворил он меня атеистом!») Что же до так называемого «Искупителя», бесчеловечно эксплуатируемого своими рабами, то ему все-таки приличествует скорее сравнение с иным копытным, а именно с тем самым козлом отпущения, кой описан в книге «Левит»¹⁵⁰. «Веруй и воздастся тебе», – какая ж пакость. Добродетелен, – стало быть, праведен, – не тот, кто уклоняется от зла, но тот, кто стремится ко благу; а верить и бездействовать в еще большей степени ничемно, нежели действовать, не веря: «*Ita et fides sine operibus mortua est*» («Вера без дел мертва»). Ибо бездейственная вера суть не более чем досужее желание, беспрокое средство которого – молитва, – она же, – что индуктивно демонстрирует опыт, – цель (и заповедь сей веры: «*Каждый за себя, один бог за всех нас*»). Это тому равноценно, как если бы я, врач, желал излечивать людей, но, однако ж, не желал бы приложить к тому реальных усилий, и по итогу оставался при благих намерениях без каких-либо благих результатов (как говорят картежники: «*при своих*»); не был бы ли я в таком случае не только недостойным носимого мною зва-

¹⁵⁰ Козел отпущения – в ветхозаветной книге «Левит» (левиты – название иудейских первосвященников, первым из которых был брат Моисея Аарон) Господь дает следующее указание: «... и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых и все преступления их и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню: и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню».

ния, но и порочащим его?.. Вспомни в противовес доктрину стойков: «Мы творим добро не потому что добродетельны – мы творим добро, чтобы быть добродетельными»... И вот, значит, как-то раз я, помнится, эдак недвусмысленно намекнул супруге своей *sine ira et studio* («без гнева и пристрастия»), что, вместо того чтобы бестолково тараторить молитвы, четки теребя, и праздно слоняться по храмам (а перед сим полдня наряжаться да прихорашиваться), она могла бы посвятить себя более полезному занятию, как для себя самой, так и для *ближних своих*; на что во всеоружии непрощибаемой казуистики¹⁵¹ (поелику бог, как известно, создал мир для человека, а человека для того, чтобы он почитал бога) она с *каноническим* выражением презрительной жалости отвечала мне, *грешному смертному*: «Если ты считаешь, что быть верным слугою господним так просто, то отчего ж сам уклоняешься?» Я же возразил ей, что для меня, Святая моя Роза Лимская¹⁵², сие не просто непросто, но простачки невоз-

¹⁵¹ Казуистика – изворотливость в аргументах при доказательстве сомнительных или ложных идей (обычно об оправдании прегрешения посредством сведения его значимости в целом под конкретный частный случай, при котором эта значимость умаляется обстоятельствами ситуации (как правило, неведением прегрешившего)).

¹⁵² Святая Роза Лимская – католическая святая, покровительница Южной Америки. Роза вела крайне аскетичный образ жизни и непрестанно умерщвляла плоть: носила на голове железный терновый венец, умывалась щелоком, разьедавшим ей лицо и т.п., – дабы испытывать страдания подобно Иисусу. А чтобы отрешиться от мира жила в маленьком каменном сооружении, в котором едва можно было развернуться и войти в которое возможно лишь через «собачью

можно. Она, разумеется, меня не поняла (ибо понять не желала) и solum («только») жеманно ухмыльнулась ex cathedra («с кафедры» – «свысока»): что, дескать, поделаешь, ежели горшечник, – по авторитетнейшему глаголу апостола Павла¹⁵³, – изготавливает иной сосуд для почетного употребления, а иной – для низкого?.. Per et magnam («в общем и целом»), как писано в какой-то повести: *«Одних опьяняет вино, других – религия»*. Все предельно просто и тяжело беспредельно... – в очередной раз, выдержав напряженную паузу, невесело вздохнул доктор Альтиат. – Я, конечно, поначалу пытался pro virili («по мере сил») засеять ум своей жены зернами толковых соображений, но то оказалась слишком скудная почва (к тому ж попорченная нерадивой пахотой родительского воспитания), дабы проросло в ней нечто плодородное (никакому Сократу, клянусь собакой, не сладить с до того упертой Ксантиппой¹⁵⁴; *«скорее Медведицу омоет*

дверцу», проползя на корточках. Посмертно Роза была причислена к культу святых, а ее череп, украшенный венцом из роз, выставлен на показ в церкви, как реликвия.

¹⁵³ Подразумеваются следующие слова апостола Павла из «Послания к римлянам»: «А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?»

¹⁵⁴ Ксантиппа – сварливая жена Сократа. В сочинении «Пир» Ксенофонта (друга и ученика Сократа) на вопрос почему он взял себе столь вздорную, несносную жену, философ с присущей ему иронией отвечает: «Потому, что и люди, желающие стать хорошими наездниками, как я вижу, берут себе лошадей не тех, что посмирнее, а горячих: они думают, что если сумеют укротить таких, то легко

океан»¹⁵⁵, что говорится); тем паче ведь, вера в бога – наивысшая ученость *ipso facto* («в силу самого факта») («источник Мимира»¹⁵⁶, за привилегию припасть к которому надобно отдать в залог один (как минимум) свой глаз), а тому, кто знает буквально всё (от самого зарождения мира вплоть до его уничтожения; «*omnia quae super terram et sub terra*» («все, что над землею, и все, что под землею»)), тому, кто сподобился божественной премудрости, называемой *Откровением* («*священный якорь*», который не оборвешь никакими дискурсами), тому, – это ж очевидно, – незачем постигать что-либо еще (синдром «*ignava ratio*»¹⁵⁷). «*Мы счастливы неведеньем своим; всех наших благ превыше это благо – что то, что хочет бог, и мы хотим!*» Ибо: «*Surgunt indocti et rapiunt caelum*» («Возвышаются неучи да захваты-

справятся со всеми. Вот и я, желая быть в общении с людьми, взял себе Ксантиппу в том убеждении, что если уж буду переносить ее, то и со всеми другими легко мне будет иметь дело».

¹⁵⁵ Скорее Медведицу омоет океан – древняя поговорка, означающая неисполнимость чего-либо, поскольку созвездие Большой Медведицы, будучи приполярным (расстояние от полюса менее высоты полюса над горизонтом), никогда не заходит (не скрывается за морским горизонтом).

¹⁵⁶ Источник Мимира – так в скандинавской мифологии называется источник, в котором сокрыты знание и мудрость, и хранитель которого – великан Мимир. Однажды верховных бог Один пожелал напиться из сего источника, но премудрый Мимир потребовал у него в уплату один его глаз, на что Всеотец и согласился.

¹⁵⁷ *Ignava ratio* (лат. «нерадивый/ленивый ум») – состояние ума, полагающего, что его знание о чем-либо безусловно (непогрешимо), а посему не имеющего оснований (а, стало быть, склонности) продолжать исследования данного вопроса.

вают небеса»)… Так испокон в моем мире, Себастиан, – in regum natura («в природе вещей»), – для кого-то истина полезна и прекрасна, а для кого-то отвратительна и вредна… «*Timor fecit deos*» («Страх сотворил богов»)… Да и я, стоит заметить, был тогда слишком молод поучать других, сам мало что стоя (к тому ж, *ut semper* («как всегда»), и слишком занят). А «*дерево можно выпрямить, пока оно не выросло*», – по пословице. Да и вообще: «*Velle non discitur*» («Желанию не научишь»)… И вот уж, *deo volente* («с божьей помощью»), более двадцати зим (аж дважды можно было взять Трои¹⁵⁸), расходясь во взглядах не хуже теолога Платона с логиком Аристотелем, мы сожителствуем в браке принципиально отдельными жизнями. У нас установился своего рода *modus vivendi* («образ жизни» – «компромиссное соглашение»): я не касаюсь ее мистико-религиозной чуши (ну если только когда совсем уж нет мочи сдержаться выступаю этаким Лукиановым Киниском-Уличителем¹⁵⁹ со своими заведомо обреченными на провал инвективами; по заявлению Эразмовой Мории¹⁶⁰: «*Ничего нет глупее непрошенной муд-*

¹⁵⁸ Троянская война, согласно эпосу Гомера «Илиада», длилась десять лет.

¹⁵⁹ Киниск-Уличитель – персонаж древнегреческого сатирика Лукиана (II в н. э.); в диалоге «Зевс Уличаемый», Киниск, рационально анализируя мифологические представления и тем самым изобличая вздорность оных, ставит своего оппонента – всемогущего Зевса – в тупик.

¹⁶⁰ Мория – богиня глупости (*μωρία* – глупость по-гречески), выведенная Эразмом Роттердамским в его философско-сатирическом произведении «Похвала Глупости».

рости»), а она, в свой черед, не тешится чаяньем наставить меня, *беспутного*, на, так сказать, покаянное *хождение в Каноссу*¹⁶¹ (и, злорадствуя, сердобольно сетует, что дорогому муженьку – «*псу, лающему на Правду, медовую от небесного меда*» – всенепременно зарезервировано элитное местечко в адском пекле). Люди живы своими предрассудками!.. Что ж... я совершил непоправимую ошибку юности, я ее признаю и смиренно несу свой *крест*... «*Et nunc et semper et in saecula saeculorum*» («И ныне и присно и вовеки веков»)..

На этих словах доктор Альтиат явил свойственную ему мрачную улыбку, – ту самую сардоническую усмешку, что служит защитным рефлексом на внутренние терзания, – немое эхо вопиющей души.

¹⁶¹ Хождение в Каноссу – дело было так: во второй половине XI в. папа римский Григорий VII и император Священной Римской империи Генрих IV повздорили на почве процесса инвеституры (папа римский не желал, чтобы у императора было право назначать епископов). В итоге, Генрих отказался признавать Григория в качестве папы, а Григорий отлучил Генриха от церкви и, соответственно, объявил его правление незаконным, присовокупив, что ровно через год отлучение станет необратимым. Германские князья между тем принесли клятву не признавать Генриха до тех пор, пока отлучение не будет снято. Почувствовав грозную шаткость своего положения, император решил уступить. 25 января 1077 года Генрих IV, пересекши Альпы, достиг Каносского замка, где пребывал в то время Григорий VII. Выражая свое покаяние, император прошел к воротам крепости босиком и во власянице, но папа отказался его принять. Генрих ждал три дня; все это время он не снимал власяницы и постился. 28 января ворота открылись. Средневековые источники сообщают, что император встал на колени перед папой и просил его о прощении. Григорий простил Генриха и торжественно призвал его вернуться в лоно церкви. Выражение «идти в Каноссу» вошло в поговорку, под которой понимается акт покаяния или покорности.

– Около десяти лет тому назад, – возобновил речь доктор, потупляя взгляд (что для него, обыкновенно с неукоснительным самообладанием смотрящего на собеседника, было броско нетипично), – я повстречал женщину, которую действительно мог бы полюбить... по крайней мере, так мне чувствуется по здоровом размышлении, а не в экстатическом припадке Эрато¹⁶²... Но было бы бесчеловечно взрастить цветок счастья, наперед сознавая, что ему уготовано завянуть в промозгой тени, моим неизбывным прошлым отбрасываемой, и подвергнуть непростительным страданиям ту, благоденствие которой обязан я отстаивать... Да и как бы уже сумел я совлечь железную маску разочарованности, что, будучи одета раскаленной, приплавилась к моему лицу? В пароксизме отчаянья нацепил я ее, замкнулся в ней, дабы защититься от выпадов бытия, стать неуязвимым для пощечин и плевков варварской цивилизации, дабы не надышаться тех чумных поветрий, кои нагоняет общественное разложение... И так же, как мне уж запросто не снять брачного кольца с отекавшего пальца, не снять мне сей маски, не сорвав вместе с нею и голову...

Доктор Альтиат слабо, болезненно выдохнул, в мертвую точку смутно взирая... засим взор его, в меня вперившись, молниеносно обострился.

– Запомни мой урок, Себастиан: ничто не должно приниматься слепо на веру, а в особенности чувства – те *бабочки*–

¹⁶² Эратó – муза любовных стихов и песен.

ны усики, при помощи которых воспринимаем мы обманчивую *vita reali* («реальную жизнь»), где зачастую все отнюдь не таково, каким воображается, и недостаточно верить в то, что чувствуешь, необходимо *idem* («также») чувствовать то, во что веришь, сиречь разумеешь, – вера без уверенности суть такая же вздорная мнимость, как уверенность без веры; единственно углубленный анализ посредством рассудка – выдержанный и честный – способен устеречь от того, чтобы не очутиться, *miserere, Domine* («помилуй, Господи»), в фатальных лапках богомола...

Доктор эмфатически провел ладонью вдоль лица, будто что-то стряхивая, и, демонстративно постучав безымянным (окольцованным) пальцем по переплету книги, кою до сих пор не выпускал из рук, изрек с торжественностью:

– Отче, прости им, ибо не ведают, что творят... – и положил том обратно на тумбочку иронично-церемониально, с пародией вида, кой, представляется, бывает у епископа, водружающего на место священную реликвию по отправлении богослужения.

Принявшись вполголоса напевать какой-то беззаботно-мелодичный мотив, в котором тем не менее с щемящей отчетливостью слышались фальшивые ноты меланхоличности, доктор повернулся ко мне – безупречно уравновешенный и осанистый, как всегда; но в тот момент я явственно зрел в нем изнуренного, согбенного Атланта¹⁶³, что держит

¹⁶³ Атлант – титан, родной брат Прометея. После поражения в Титаномахии

на могучих плечах своих колоссальное бремя, кое не скинуть иначе, как обрушив на себя самое... Он жертва жизни, но жертва его сознательна, добровольна, благодетельна; ничто не мешает ему удалиться в сферу вечного покоя, ничто не удерживает в сфере вечной суеты, ничто – кроме человеческого долга – кроме силы помогать другим... Я сочувствовал ему, но не смел жалеть; ибо жалеть того, чей непреклонный дух полон самоотверженности, черпая мужество в собственном отчаянье (так на ледяном дне океана пылают вулканы) значит с малодушной несправедливостью уничтожать его благую волю... Доктор Альтиат был паразитен, паразитен, как античная статуя, изъязвленная вековыми дождями и вьюгами, но гордо стоящая на своем гранитном постаменте, ввысь десницу простерши...

Когда доктор пустился в обратный путь, оделив меня на прощание, уже сидя в седле, пронизывающе-серьезным взглядом (в коем, однако, откровенно чувствовалась ласковая печаль), я поднялся к себе в комнату и, севши у окна, затаенным раздумьям предался. Уголек скепсиса, зароненный мне в душу, жестоко опалял ее, высвечивая те пугающие лощины, что доселе окутанными маревом легкомыслия оставались. Я возбужденно размышлял: в самом ли деле полюбил я Няяду, или же то не более как эфемериды неискушенной

(войне старых богов – титанов – против новых богов – олимпийцев), когда почти все титаны были низринуты в беспросветную бездну Тартар, Атлант, как храбрый и мудрый военачальник, получил от Зевса особое – почетное – наказание: вечно держать на плечах небесный свод.

чувственности? мог ли я – имел ли основание, имел ли право – преисполниться любви к той, которую совсем не знаю, и которая даже не подозревает о моем существовании? есть ли вероятность, что между нами подлинно наличествует некая *месмерическая связь*¹⁶⁴, коя призывно влечет меня в рошу у синего озера и удерживает от падения в хлябь стыда и раскаянья, долженствующих сопутствовать моей предосудительной роли тайного наблюдателя (будто бы *грех мой* отступает пред моей *благодатью*)?.. Я не находил ясных ответов на эти вопросы: эмоции застлали разум, как облака застыт солнце.

И тут я вдруг вспомнил о своем стихотворении, о своей *оде к прекрасной Наяде*, и на мою омраченную голову снизошло просветление – просветление, что в строках, – написанных, по слову Платона, *в мантическом исступлении*, – я прочту тайнопись истины, тому подобно, как во дни чрезвычайных угроз и бедствий римские квиндецемвиры искали совета в «Сивиллиных книгах»¹⁶⁵... Доставши из ящика стола творение моей Эвтерпы¹⁶⁶, я стал затаенно его перечи-

¹⁶⁴ Месмерическая связь – месмеризм (животный магнетизм) – теория немецкого врача и астролога Франца Месмера (1734–1815 гг.), согласно которой люди испускают особого рода магнитную энергию – флюиды, позволяющие им устанавливать сверхчувственную связь друг с другом.

¹⁶⁵ В Древнем Риме состояла особая коллегия жрецов, которая заведовала Сивиллиными книгами (названными так, потому что некогда книги эти были куплены последним римским царем Тарквинием Гордым у Сивиллы – пророчицы); с тех пор во дни чрезвычайных угроз и бедствий римские квиндецемвиры искали совета в сих священных свитках предсказаний.

¹⁶⁶ Эвтерпа – муза лирической поэзии и музыки.

тывать, с каждой строфой всё невероятней оглашаясь тем триумфальным ликованием, коим кипела душа. Стихи представились мне воистину вдохновенными (как бы и не верилось, что это действительно я их сочинил), – казалось, в них говорило *Само Чувство*, отлитое в грациозную форму рифмы – непринужденной и полнозвучной, придававшей столь пластично-образное и столь естественно-чарующее выражение... Я озарился верой, что ничего подобного не сумел бы явить дух, не вознесенный к плядам на крылах *Любви Всемогущей*.

«Если бы только Она могла услышать мой глас, на сих скрижалях запечатленный, увериться в искренности его и чистоте, внять сердцем зову возлюбившего сердца, подать знак благоволения... Я бы без страха и упрека предстал перед Нею таким, каков я есть, и протянул бы Ей ту руку, что начертала самые божественные – самые человеческие – чувства, – дабы чрез наше соприкосновение Она прониклась теплом витальным от небесного огня, Ею во мне воспламененного... И я бы заглянул в Ее очи, чтобы узреть в них отраженный блеск единогодушия – или матовый хлад безразличия... И тогда бы я выпустил Ее длань – или же никогда не выпускал бы отныне...» – так возглашал я, бредя в экзальтации ослепленной...

Воспитанный на кредо, что недостойно человека обраться среди неведенья и робко сносить гнет сомнений, когда волен изведать истину (сколь бы горестна она ни была), я ре-

шился на рискованный, безвозвратный ход, поставив на кон пусть химерическое, но все же счастье – блаженное и бесценное – коим жил последние две недели, – дабы либо воплотить его в сущей целостности, либо всецело утратить. Я аккуратно переписал стихи начисто и обрамил их виньеткой с флористическим мотивом. Засим, дождавшись зари (темноперая ночь пролетела пред моим недремлющим взором), выступил в судьбоносный поход...

Шаг мой был скор и тверд, – таким его делала неуверенность в собственной уверенности (я будто бы спешил ускользнуть от неотступного преследователя, свое опасение ему изобличить не желая)... Наконец мне вновь открылся умиротворенный *элизийский* пейзаж с ультрамариновым оком, ресницами зелени окраенным, что вбирало в себя струи солнца, волшеббно искрясь и, чудилось, осыпая искрами, точно звездной пылью, красную кровлю и белые стены домика. После четырех дней разлуки, замерев в восторженном оцепенении, не помня себя от радости, я опять созерцал этот родимый сердцу простор, и сердце мое благоговейно сжалось, и слезы умиления затеплились в глазах...

У самого озера лежал крупный плосковерхий валун, на котором Наяда любила посиживать, опустивши стопы в воду и тиховейным напевом безмолвие дня одухотворяя. Это было вернейшее место оставить мое к ней послание. Положив запечатанный конверт с подписью «*Той, что пела здесь*» на валун, я прижал его камнем (чтоб ветром не сдуло), а поверх

украсил полевыми цветами; и с неумемно звенящим (*как колокол в бурю*) сердцем укрылся в роще.

Потянулось мучительно длительное ожидание: осиный рой дилемм не давал мне ни минуты покоя, ожесточенно впиваясь в мой дух множеством жал ядоносных. Несколько раз я панически порывался схватить стихи, но замешательство напрочь парализовало меня, и каждый импульс рассудка поглощался инерцией души... В итоге, когда напряжение достигло лимита, я по необходимости пришел к консенсусу: ежели сегодня Наяда посетит свой *каменный престол*, значит, *поэзии моей любви* суждено быть услышанной; в ином же случае перед уходом я заберу конверт и по крайней мере повременю с признанием. Словом, я смирился с тем, что предоставил свою участь жребию фортуны. Ибо неумолимо сознавал: ничего уже не будет как прежде – *нет пути назад*...

Близился полдень. Наяда, как это часто бывало, вышла на веранду вместе с бабушкой, и покуда та вязала на спицах, скучающе сидела подле, склонившись над столом (в него локтями упершись), так что лицо ее покоилось в чашечке ладоней. Обычно словоохотливые подруги на сей раз почти не разговаривали, лишь изредка обмениваясь отрывочными репликами, что доносились до моего слуха не более чем всплесками – расплывчатыми и бессодержательными... Земля будто застыла в своем вращении. И это глухое бездействие, резонируя с динамикой моего духа, только усиливало

в нем смятение, – я ощущал примерно сходное тому, что, пожалуй, испытывает, кто с палубы корабля, на штормовых валах вздымающегося, зрит близкую сушу, где неизбежно стоят деревья и здания, которым, – словно бы они в иной реальности пребывают, – нет ни малейшего урона от бушующей стихии... Но вот Наяда сонливо потянулась (дрогнуло сердце мое), приподнялась с места и, что-то сказав бабушке, неспешной поступью направилась к озеру. Скользя в тени роши, я последовал вровень с нею. Приглушенное дыхание тотчас отпустило, и с каждым вдохом, казалось, я набирал в легкие все больше и больше воздуха, что, мехам подобно, раздувал грудь, очаг естества возжигая... Сойдя к воде, Наяда стояла в зачарованной неподвижности всего в нескольких шагах от моего послания. Словно бы разделившись надвое, я одновременно молил ее обнаружить заветный конверт и умолял не замечать его. Сумасшествие пульсировало в висках, сплошь организм сотрясая. Не в мочи держаться на обмякших ногах, я опустился на колени, но глаза, к коим душа прихлынула, оставались пристально прямыми, ибо пред ними вершилась моя судьба...

Наяда запела. Нежной, но унывной была ее песнь, – таков шелест листвы при первых дуновениях осени. Широко расправив руки, словно птица, взмыть к облакам вознамерившаяся, она плавно обернулась... Пение ее на мгновение пресеклось... и едва слышно возникло, с допетой нотой развеявшись... Тишь... Бездонный миг, равный вечности...

Порхнув вперед, Наяда очутилась у валуна, осторожно отложила цветы и камень, взяла мое послание – мою исповедь – *мою молитву*. Грезилось, что я завис между небом и землею – либо уготованный вознесению, либо низвержению обреченный... Девушка долго всматривалась в конверт, несколько раз по сторонам растерянно оглядевшись. Наконец, не сходя с места, она его нерешительно вскрыла, извлекла сложенные листы, развернула их и, поднеся к самому лицу, принялась читать... Не помню, что в эти минуты было со мною, я словно перестал существовать, весь до последнего атома претворившись во внимание – *надежду*. И я видел, – видел, будто находился в одном шаге, – как побледневшие ланиты ее насыщаются краской разгорающегося румянца, а в глазах блещут растроганные слезы... Дочитав же, она восхищенно (и, быть может, безотчетно) прижала стихи к груди да, с воздушной легкостью оборотившись к озеру, на свой каменный престол томно опустилась. Это было то самое *знамение*, коего я ждал... Момент, когда реальность и фантазия слились воедино. Момент безграничной веры. Момент вознесения...

Предав забвению сомненья, отрешившись от рассудка, в неизъяснимом вдохновении растворенного, я вышел из зарослей и пологой стезею мечты направился к *Ней*. Сидя ко мне спиной, она не слышала моих шагов парящих; чувственно вздохнула, – и еще за миг до того, как кисть моя коснулась ее плеча, я ощутил бесподобный жар жизни, от нее

исходящий. Она медленно повернула ко мне свое взволнованное *очаровательное* лицо, и я впервые заглянул в ее голубые, сродни прозрачной синеве озера, очи, – как вдруг в них разразилась буря – буря ужаса. Лик девушки исказила жуткая судорога. Она будто задышалась, втягивая сдавленный хрип отверстыми устами. Резко дернувшись, вскочила на ноги; и, не сводя с меня панического взора, попятилась назад, словно пред нею стоял хищник, чудовище, к коему она инстинктивно страшилась тылом обратиться; руки ее, сжатые в кулаки (сминая мое послание), были рефлекторно-угрожающе вскинуты на уровне подбородка, задраны плечи, втянута шея, расширены зрачки, оскалены зубы... Отступив на несколько шагов, она испустила протяжный, истошный, *нечеловеческий* вопль, – то обрывавшийся по недостатку дыхания, то пронзительно вырывавшийся вновь, – беспомысленный стон потрясения – отчаянный клич о помощи... Напрасно я простирал к ней дрожащие длани, молил успокоиться: «Я не причиню тебе вреда. Это моя поэзия. Я люблю тебя...» – тихо вторил я. Но она не внимала, точно не человеческий голос – волчий рык до ее ушей доходил. Все торопливее пятилась от меня, не смеявшего сделать к ней ни шагу; и наконец, взметнув руками, при страстном (*убийственном*) выкрике кинулась прочь, рассыпав стихи мои по ветру...

Белеющие листы, подобно лебедям, опускались на безмятежную гладь озера. Я спонтанно двинулся им вослед и в зеркале вод узрел свое отражение – свое *проклятое* отражение.

Комета гнева рассекла душу. Я дико взревел, разъяренному зверю сродни. Вцепился пальцами в лицо да выдрал с кровью клоки ненавистных волос. Бросился в воду и стал неистово молотить кулаками, в брызгах агонии захлебываясь... Внезапно – на какой-то момент – все во мне омертвело – дух заволокло невообразимым кошмаром. Я устрaшенно отпрянул на берег и опрометью к лесу ринулся, будто собственной тени убегаю. Слез не было в моих глазах, они полыхали необузданным бешенством, испепелявшем все чувства, кроме чувства ужасающей боли, им порождаемой. Я ничего не разумел, не ведал куда несусь, сквозь чащобу прорываясь, но первобытный инстинкт верно влек меня в *безопасное логово*, где бы я мог скрыться от света и незримо зачахнуть в муках глада души неуголимого...

IX

Я впал в забытье. Лезвие острой лихорадки четверо суток тяготело надо мною, грозя перерубить туго натянутую прядь моей жизни. Доктор Альтиат безвыездно находился рядом, категорически оставив все прочие свои обязательства; «*Лучше городу глупцов погибнуть, чем одному достойному творенью*», – со своей характерной *неищущей* улыбкой скажет он мне впоследствии.

На пятый день я очнулся. Но не сознавал, сколько времени минуло; мне чудилось: прошла всего одна ночь – одна ненастная, кошмарная ночь. Мною владела летаргическая апатия. Глаза то открывались, то закрывались; и я не сумел бы исчислить, каков был промежуток между размыканием отягченных век: секунду он длился, минуту или же часы... тьма, сродная вечности... Доктор Альтиат бережно поил меня, поглаживал по голове, что-то говорил... Временами я замечал: он отлучился, а его пост занял Эвангел, – и вновь с машинальным равнодушием смежал очи, в летейской дреме утопая. Но вдруг ударом молнии во мне *мысль* разразилась; я встрепенулся:

– Лаэсий! – вырвался из меня испуганный, надсадный возглас; взоры мои попеременно метались от доктора Альтиата к Эвангелу, бывших в тот момент со мною. – Где Лаэсий?! – в явственно-ярком, как прозренье, бреду взмолился я.

Мужчины серьезно переглянулись.

– Тише, Себастиан, тише, – молвил доктор. – Лаэсию нездоровится. Ты же знаешь, он издавна болен, и порой ему становится хуже. Я бдительно наблюдаю за ним. Не тревожься.

– Я должен его видеть, – сказал я, силясь встать с постели. – *Должен...*

Но немощные члены не повиновались мне; я лишь сумел перевернуться со спины набок, дыша до того надрывно, словно б свернул гору.

– Завтра, Себастиан, завтра ты увидишься с Лаэсием, – мерным полусшепотом произносил доктор, укладывая меня в исходное положение своими сильными и деликатными руками целителя. – Сегодня ты еще очень слаб, Себастиан, завтра тебе полегчает, и ты всенепременно повидаешься с Лаэсием, а сегодня, Себастиан, сегодня вам обоим надлежит отдыхать... – напевно продолжал он, усыпляя меня мелодически льющей речью, как мать убаюкивает младенца колыбельной.

Эвангел же, сев подле, ласково взял мою руку; глядя в добрые его, любящие глаза, я исподволь успокоился... Вскоре упадок сил снова низринул меня в пучину беспомощности...

Проснувшись утром, я чувствовал себя значительно увереннее. В полдень, вопреки настояниям доктора повременить до вечера, я встал и, опираясь на Эвангела, с трудом добрал до комнаты наставника. Лаэсий лежал навзничь на

своей узкой сосновой кровати – на своем смертном одре. Его лик, осененный охристыми волокнами света, сочащегося сквозь занавеси, казался бескровным, восковым: черты лица осунулись, стали смутно-застылыми; с тягостным хрипением вздымалась грудь... В отчаянном всплеске эмоций я срыву отстранился от поддерживающего меня Эвангела и, прынув к Лаэсию, повалился бы на пол, если б доктор Альтиат меня не подхватил. Учитель пробудился; он тихо повернул голову, оделивши меня трогательным ясным взором.

– Отец... – вымолвил я, покуда доктор с Эвангелом ставили меня на ноги.

Они подвели меня к кровати и усадили на стул. Лаэсий протянул мне правую руку, я взял ее обеими своими и, с иступленной нежностью прижав к лицу, разрыдался.

– Не плачь, сын мой, – сдавленно проговорил Лаэсий, – ибо нет надежды. Смирись с тем, что неизбежно, дабы не презреть того, что подлежит твоей воле.

– Простите меня, отец, простите... – вторил я с залитыми раскаяньем глазами.

– Не проси у меня прощения, как не стал бы ты просить его у себя самого, ежели меня любишь, Себастиан, сын мой, – глухим голосом медленно выговаривал Лаэсий, тяжело дыша и делая частые интервалы. – Тот, кто истинно раскаивается, не ищет умирения ни в чьем-либо прощении, ни в необратимом прошлом, но в самом себе его обретает – в будущем, что подвластно ему в настоящем. Изменись, в чем

считаешь себя неправым, и вина впредь не будет тебе причастна, – ибо станешь иным (бабочка, из кокона выпорхнув, уж не помнит, как дотоле личинкой была)... Ошибка не та, что содеяна, но та, что не признана, не усвоена и не исправлена, будь то возможно, – в положительном случае ошибка претворяется в опыт, из неведенья оборачиваясь познанием. Мудрый человек, будучи *лишь* человеком, может поддаться заблуждению, но не может оставаться при нем вопреки разумению. Не стоит печалиться, что приходится ошибаться, но подобает стыдиться, коли не извлек урок из оплошного шага и о тот же камень преткнулся. Даже малые дети не попытаются дважды выхватить саламандру¹⁶⁷ из камина, – довольно уяснить, что огонь опаляет, дабы избежать ожога... И чтобы как можно меньше ошибаться, надобно как можно больше учиться на стороннем опыте: внимать нетленной мудрости, завещанной выдающимися личностями; чутко вникать в причины неблагоприятия и несправедливости, множество прискорбных примеров коих нам в назидание сохранила история, иль искусно-правдиво изобразили литература с живописью... В каждом поступке от самого малого до самого великого кроется некий движущий смысл (*сердце* его), и смысл далеко не всегда пропорциональный данному поступку, – ежели сей смысл постичь, уразуметь мотивы, ему предшествовавшие, и последствия, к которым он привел, а также

¹⁶⁷ Саламандра – в средневековой алхимии элементаль огня, изображаемый в виде ящерицы саламандры, которая, по поверьям, способна жить в огне.

фон, при каковом сказывался; детально все это разобрать и изучить со тщанием, поставив рациональные выводы (в коих интеллектуальная объективность обязательно первична моральной субъективности, ее непреложно довершающей), – то сподобишься драгоценного опыта символической ценою усилия мысли... Но... не все на свете доступно объять умозрительным методом; и суть некоторых знаменательных феноменов возможно познать лишь непосредственно с ними соприкоснувшись – лично прочувствовав... Посему тем паче должно всемерно приуготовлять себя к грядущим жизненным испытаниям, будь те источниками горестей или же отрад... Ибо счастье, несомненно, есть *величайшее испытание*: его сложно обрести и еще сложнее не утратить... Решающее же из всех испытаний, назначенных рожденным, и для каждого неминуемое – смерть... Я готов, сын мой... готов к этому финальному испытанию... – заключил Лаэсий, с какой-то неземной бестревожностью глядя мне в глаза (*в самую душу*).

Я продолжал сдавленно всхлипывать, прижавши к дрогнувшим губам его холодную десницу:

– Не говорите много, отец, прошу вас... вам это вредно... молю, поберегите силы...

– Нет, Себастиан, – невозмутимо возразил Лаэсий. – Мне уже ничто не способно повредить... не осталось у меня сил, дабы беречь... Душа моя подобна листку увядшей лозы: внезапный порыв – и она сорвется, во мрак небытия унесшись.

Не время молчать, покуда держится затишье. Нам необходимо поговорить, Себастиан... сын мой...

Лаэсий взглядом дал знак доктору Альтиату и Эвангелу оставить нас наедине.

– В тот день ты вернулся... – изрек засим отец, болезненно сомкнул веки, и острая дрожь (я чувствовал это) прошла по всему его телу. – Нет, Себастиан, нет, – произнес он осипло, пристально в зрачки мне с неизреченной скорбью воззришись, – в тот день вернулся *не ты*... нет... Ты бредил наяву, полоненный безумием; бешено метался, не находя себе места; зверски ревел в муке дремучей... Казалось, будто ты позабыл свой человеческий дух, и престол его державный узурпировало животное начало... Ты не узнавал нас. Мы не узнавали тебя. Твои очи заволокла беспроглядная тьма. Твой голос сгинул в диком исступлении... То был самый страшный, самый скорбный день моей жизни...

– О, отец! – сокрушенно взвыл я.

– Себастиан, – тихо, но строго молвил наставник, – не такого поведения я от тебя ожидаю в завершающий свой час. Прояви к нам обоим уважение – уйми малодушные слезы. По ком ты плачешь? По мне или по себе? Если по мне, то это недостойно меня, – ибо ты уничижаешь мои труды, пренебрегая всем тем, чему учил я тебя безустанно. Если по себе, то это недостойно тебя, – ибо в безрассудстве падаешь ниц пред затмением эмоций, отвращаясь величия светлого разума. Помни: *«Ничто не примиряет столь прочно и с внешней,*

и с внутренней необходимостью, как ясное понимание ее». Ныне не время полагаться на ложные упования, мзду слез с тебя берушие, но время, раскрепостив сознание, внять моему прощальному слову – тому завету, что я должен передать, дабы мне покойно уйти, а тебе спокойно остаться. Мой долг отца – пожаловать исполненное любви напутствие – мое единое наследство; твой долг сына – принять его открытым сердцем...

– Отец... вы покидаете меня?.. – проговорил я, затуманенный взор решительно утирая.

– Это зависит от тебя, Себастиан. На протяжении двенадцати лет я делал все возможное, дабы верно утвердиться здесь, – Лаэсий притронулся ладонью к моей груди. – Я жил ради тебя, сын мой, во имя твоего блага, в тебе одном зрел смысл и цель своего бытия. И ежели моя вера в тебя не оказалась бесплодной, ежели та лучшая часть души моей, кою вложил я в твою душу, не будет отторгнута, как чужеродный элемент, то до последнего вздоха я пребуду с тобою.

– Я никогда не забуду вас, отец, и вечно буду вам благодарен, – говорил я с давящим горьким комом в горле, но с вдохновенной вольностью в груди. – Вам я обязан всем. До того, как вы взяли надо мною опеку, я был не более чем *tabula rasa*¹⁶⁸, на каковой ваша мудрость начертала пропись моего

¹⁶⁸ *Tabula rasa* («чистая доска») – латинское крылатое выражение, которое используется для обозначения тезиса о том, что отдельный человеческий индивид рождается без врожденного умственного содержания, то есть с «чистым разумом», – его ресурс знаний полностью строится эмпирически – на основе чув-

становления. Вы – истинный мой родитель, – ибо не кровь и плоть я от вас перенял, а дух – самый свой характер, прообразом коему послужил ваш благородный нрав... Но как жить мне с сознанием того, что я вас отрекся... погубил вас – своего милосердного спасителя? что я свершил нечестивейшее из всех преступлений – отцеубийство?.. Я не смогу влачить сей непосильный груз... не посмею от него отрешиться...

– Себастиан, – произнес Лаэсий, беря меня за руку, коей я более не решался к нему прикоснуться (сравнимо, опамятавшийся от аффекта убийца трепещет своей нечаянной жертвы). – Я знаю, что происходило с тобою в последние две недели. В горячечном бреде ты поверил мне свою историю, беспомытными обрывками с уст срывавшуюся, – молвил отец с душещипательной грустью. – Я знаю о долине с озером. Знаю о девушке. Знаю, что ты проникся к ней чувством... Знаю, чем все кончилось...

При этом сообщении Лаэсия я одновременно испытал и облегчение, и угнетенность. Облегчение, поскольку с сердца моего спала тягостная колодка тайны; угнетенность, поскольку я высвободился из нее не по собственной воле, а вне оной, лишившись возможности омыть воспаленные язвы вины живительным эликсиром откровения.

– Я знаю, Себастиан, – продолжал Лаэсий, – душа твоя стремилась ко благу, ослепительным светочем счастья вле-

ственного восприятия внешнего мира. (Доска, а не лист, потому что древние римляне писали на навощенных дощечках заостренной палочкой – стилусом.)

комая... Поверь, мне известны твои чувства... – отец печально улыбнулся, и светлые глаза его влагой замерцали (нечто *сакраментальное* выражая). – Не корю тебя – сочувствую... горжусь... Но ты попрали верховный принцип человечности: путь ко благу никогда не пролагается злом, – сказал он строго, мягким взором сострадания меня пронизывая. – Ты лгал... лгал нам – тем, кто тебя любит – тем, кто в тебя верит. Ты отгородился от меня и Эвангела, будто от чужаков, могущих непрошено вторгнуться в заповедные угоды твоей души и растоптать всходы блаженства, там цветущего. Ты стал страшиться нас. Но на самом деле ты стал страшиться себя. В тебе вихрились восторг и тревога, надежда и отчаянье, – непрестанно противоборствующие, в смертельной схватке неразрывно сцепленные. Ты жадно впивал пьянящий нектар веры, не желая разбавить его мерой разума отрезвляющей. Ты боялся услышать резонный совет, что грозил порушить воздушные замки, тобою любовно выстроенные, добровольным узником которых ты сделался... – при сих словах Лаэсий глубинно (*с облегающей тяжестью*) вздохнул. – Но я не осуждаю тебя, сын мой. Падение твое лишь явнее являет ту высоту, на коей вершит свой полет дух твой... Некогда в созвучной ситуации я поступил правильнее тебя, но никогда, при всей убежденности, не ощущал себя в том правым... ибо вера гласила иначе... и сие было единственным личным сожалением в жизни моей, не ведавшей раскаянья... Порою благоразумие помрачает ум, а безу-

мием озаряется сознание. Ты пережил то, что следует пережить каждому человеку. Ты испытал вознесение чувств... Ты возлюбил – не прекрасную девушку, но прекрасную фантазию. Ты постиг, что такое мечтать – то, что никто иной не разъяснит: не опишет литература, не изобразит живопись и только эфемерно наметит музыка... *Mysterium Magnum* («Великое Таинство»)... Ты обрел великий опыт и никогда не будешь прежним. Теперь все зависит от того, во что реализуется сей опыт, ибо оный может стать как созидательной стадией твоего руководящего начала, так и разлагающей. Теперь все зависит от тебя, Себастиан... Ты более во мне не нуждаешься. Ты уже не дитя. Мое попечение отныне лишь замедляло бы твой ментальный шаг, лишь сдерживало бы при духовных поисках самое себя, когда надлежит следовать туда, куда призывает Гений. Самостоятельность – вернейший наставник для тех, кто вполне созрел умом и душою. Я указал тебе путеводную звезду, сын мой, настало время взять кормило под собственное управление...

– Отец... – только и промолвил я, ощущая себя сродни ребенку, в горах потерянному.

– Ты не должен ничего страшиться, Себастиан. «*Наше спасение в наших руках, а не в слабости духа*», – процитировал Лаэсий из «Илиады». – Всегда следует помнить: истинная жизнь человека заключена в нем самом. Внешний мир – конфигурация без предписанного содержания; созерцая оный, человек самолично наделяет материю смыслом,

одухотворяет ее себе сообразно, – сходно тому, как из одних и тех же атомов, по учению Левкиппа, при различном расположении моделируются различные сущности, а из одних и тех же букв слагаются трагедия и комедия. *«Как рука есть орудие орудий, так ум есть форма форм»*, – писано у Стагирита. Язык вещей и явлений – не что иное, как язык человека. *«Мир – изменение, бытие – убеждение»*, – процитировал Лаэсий из Марка Аврелия. – Все, что нас окружает, трансформирует¹⁶⁹ в зависимости от кондиции нашей психической организации, так же, как оно исчезает для нас, когда мы погружаемся в сон. Самое время для каждого течет относительно. Мы видим и слышим посредством глаз и ушей, но воспринимаем, – как вообще все сенсуальное¹⁷⁰ и интеллигибельное¹⁷¹, – разумом. *«Человек есть мера всех вещей – существования существующих и несуществования несуществующих»*, – заявил Протагор. Что бы человек ни чувствовал, что бы ни осознавал – это зиждется в его духе – его *сенсории*¹⁷², фильтрующем перцептивные впечатления и абстрагирующем их в гносеологические образы. *«Душа есть все сущее, ибо все сущее суть либо воспринимаемое чувствами, либо постигаемое умом»*, – процитировал Лаэсий из Ари-

¹⁶⁹ Трансфигурация – превращение, преобразование, видоизменение.

¹⁷⁰ Сенсуальный – чувственновоспринимаемый – познаваемый посредством органов чувств.

¹⁷¹ Интеллигибельный – умопостигаемый – познаваемый посредством ума.

¹⁷² Сенсорий – «вместилище чувств».

стотеля. – Наше мышление ассоциативно; мы – то, что мы знаем; а то, чего мы не знаем, *нету* для нас; следовательно, чем более знает человек, тем более он *есмы*, ибо тем более сознает окружающую явь и себя – ее средоточие. «*Одно и то же мысль и бытие*», – изрек Парменид. Личность суть жемчужина, затворенная в раковине видовой принадлежности; и аналогично тому, как жемчуг различается по размеру, совершенству формы и блеску перламутра, так и личность способна стать великой или мизерной, сподобиться соразмерности или принять искаженные очертания, воссиять или же померкнуть. Коли человек не удовлетворен самим собою, скуден духом – единственно неотчуждаемым своим богатством, то никакие привходящие блага не даруют ему настоящего довольства, а только будут ложно громоздить кручу самодовольства, кое, карабкаясь зыбким косогором, то и дело озирается в ужасе, до чего кромешная бездна позади разверзается; равно как в ином случае никаким превратностям не умалить человеческой самодостаточности, – ибо мудрость – это опора в себе самом... «*Познать себя – и наиболее трудное в жизни и наиболее отрадное*», – говаривали древние мудрецы. Человек, подлинно достигший самопознания, никогда не будет несчастен, поскольку, даже ничего не имея, он непреложно владеет собой: «*Все мое при себе ношу*», – достопамятная апофтегма Бианта... И все-таки, сын мой, чтобы быть истинно счастливым, сего недостаточно... Счастье – исток внутренних света и тепла – нуждается тем

не менее в одноприродном истоке извне, который бы обоюдно поддерживал неубывающим его пламень витальный, что среди хлада дольных ветров в эфирную высь устремляется, – иными словами, для достижения наивысшего благоденствия душе человека необходима родственная душа, взаимностью добродетели с ней обрученная. Любовь – животворящая самые сокровенные и самые возвышенные человеческие эмоции, окрыляющая вдохновенностью мысли – единственное, что способно отворить замкнутую раковину личности и возвеличить ее за пределы собственной ограниченности, как-вые обособленно можно расширять до бесконечности, но во все их преодолеть в одиночку – невозможно. Ибо любовь – *идеальная вера* – суть особая форма познания – *высшая форма познания*... И ежели задаться вопросом: в чем истинные смысл и благо человека? – то самый положительный ответ будет: в любви к себе сродным, – так как человек существо не только разумное, но и, – что закономерно, – общественное (сверх того, именно общественность – прогрессивная способность эмпатии и взаимопонимания – послужила, по всей вероятности, ключевым фактором процветания разума). Ибо любить – естественная склонность человеческой природы – *духовный инстинкт*... «*Любуйся, как дитя твою руку держит, объятьями радуй супругу, – в этом удел человека!*» – процитировал Лаэсий строки из «Эпоса о Гильгамеше». – Всё так просто, так естественно, но так... *мифично*... Люди смотрят на друг друга и не видят, общаются и не слы-

шат, любят и не чувствуют. Пожелай, они могли бы понимать один другого без слов, но не понимают и вопия. Их правда – в их лжи. Не гармония *Филии* царит меж ними – владычествует раздор *Нейкос*¹⁷³. «Жизнь – борьба и странствие по чужбине», – вспоминаются мне выстраданные слова императора-стойка. Обреченными жертвами снуют люди вразброд по лабиринту бытия, ища во тьме ходов нить Ариадны¹⁷⁴ – понимание, утешение, поддержку – но не находят; забредают в тупики разочарования и безразличия, трепеща ненасытного чудища одиночества, вконец заблуждаются, молят чуждые небеса и проклинают родную землю. Им нет покоя... А покой – сознание своего благонравия – вернейший оплот для человека, который, не будучи счастливым, не намерен быть несчастным, – ибо покой – основа счастья. И у тебя, Себастиан, есть редкостная возможность полноправно распоряжаться личным досугом – стать самому себе – своему Гению – преданным, безупречным другом. А кто живет в согласии с собою, тот будет жить в согласии со всем сущим, органиче-

¹⁷³ Филия и Нейкос – Любовь (Дружба) и Вражда (Ненависть) – две вселенские силы в космологии древнегреческого философа Эмпедокла (V век до н. э.), извечное противостояние которых (созидание / разрушение) движет процесс мироздания.

¹⁷⁴ Нить Ариадны – согласно древнегреческому мифу, когда герой Тесей отправился в Кносский лабиринт убить чудовищного Минотавра, дабы тому более не приносились человеческие жертвы, влюбившаяся в Тесея царевна Ариадна (дочь Критского царя Миноса, по чьему распоряжению и был построен лабиринт) дала ему волшебную нить, благодаря которой герой, свершив задуманный подвиг, благополучно вышел из тьмы бесконечных коридоров.

ской частью коего себя осознанно воспринимает. *«Добродетель – это воля, находящаяся в благозвучии с природой»*, – гласит стоицизм. И как добродетели не прирождены нам, но естественно прививаются к нашей натуре, совершенствуясь посредством откровенной сознательности (ибо интроспективно сознавать свою добродетельность (а безраздельно и собственное несовершенство) суть то же самое, что упражняться в ней), так и любовь – *добродетель добродетелей*, чья идея вкореняется в душе верою и цветет при рачительной опеке разума – искусства человечности... Люди не сумеют тебя принять, Себастиан, – они обретаются под засильем страхов и предрассудков, – тебе нет входа в их ограниченное общество. Ты не один из них; но это не значит, что ты – не человек. Человек не тот, кто обитает в людском ареале, а тот, в ком развита человеческая природа – разум, выделяющий и определяющий наш вид. *«Не печалься, что тебе нет места, но печалься о своем несовершенстве; не печалься, что тебя никто не знает, но стремись к тому, чтобы быть достойным признания»*, – процитировал Лаэсий изречение Конфуция. – Сын мой, мне так жаль, что твоя прекрасная душа обделена шансом слиться с иной родственной ей душой... но, поверь мне, сей шанс – имя ему надежда – прискорбно мал, почти призрачен, – это милость судьбы, и от человека зависит лишь то, способен ли он будет ее воспринять, коль она ему вдруг снизойдет (в сем и есть высший смысл всех его личностных свершений)... Мне жаль, Себастиан... Од-

нако пойми, что, будучи непричастным человеческому счастью, ты непричастен и людскому злосчастью. И благодаря этому, – благодаря тому, что ты отрезан от людей, от их суеты, от их недомыслия, их лживости, слабостей, страстей и пороков, от той неизбывной тоски, кою они согбенно влачат, лихорадкой прозябания мучимые, – благодаря этому ты располагаешь верным шансом стать совершенным Человеком, которому присущи все достоинства и чужеродны все недостатки рода человеческого; который в собственном духе открыл безграничный космос – самодовлеющий мир – где он мог бы сиять вечно, но где ему будет безмятежно угаснуть... *«Пускай земля и море закрыты; свободно небо: в нем путь наш!»* Живи же для себя, Себастиан, в себе самом живи – среди добродетели разума – *при неусыпном ожидании расцвета* – здраво и вдохновенно; не прозябай уныло, не спи бессонно, но твори личную явь могуществом вольной фантазии. Верь в себя – в собственную человечность, – и ты будешь знать, что достоин всего истинного блага, какого способен удостоиться истинный человек. И в итоговый свой час не испытываешь раскаянья о беспутно пройденных днях, ибо пребудешь максимально близок к своей исключительной цели – своему телосу – самопознанию. Ты будешь спокоен... Это не подлинное счастье, но подлинное утешение... Ибо в человеческой скорби своей, что вселенским эхом внемлющему сердцу отзывается, воспримешь ты божественную благодать. *«Per aspera ad Astra»* («Через тернии к Звездам»)... Я

верю в тебя, Себастиан, друг мой...

Лаэсий смолк. Дальше мы общались взглядом – чувством – душою; слова стали излишни. Примиренными простились мы – примиренными с собой. И когда очи отца затмились, улыбка его продолжала светиться... Я пролил свою последнюю слезу, – то была не слеза горя – то была слеза очищения...

Я резolutивно принял себя таким, каков я есть, навсегда освободившись от неверных желаний и тупиковых переживаний. Я в полной мере проникся своей природой и уразумел бесповоротно, что, дабы следовать оной, обязан неустанно продвигаться стезей просвещения – исследуя собственную сущность, чтобы постигать сущее, и исследуя сущее, чтобы постигать собственную сущность; только в этом случае я буду обладать естественным правом ощущать себя человеком – личностью, – вне зависимости от физических отклонений и социальной изолированности. Покуда я зрю свой логос – не сойду с пути; покуда чту разум – не утрачу человеческое достоинство. *Звездное небо надо мной и моральный закон во мне.*

X

– Вы правы, Себастиан, – сказал я. – Непреложно правы. Пусть вы приобщены к цивилизации только опосредовано, но непосредственно сопричастны тому, что стоит над нею (сродни солнцу над землею) – тому, что вывело человечество из потемок первобытных пещер – духовной культуре. Цивилизованность и человечность не одно и то же. Цивилизованность есть общественный норматив – синтетический закон, базирующийся на формальном обычае, а посему не счесть примеров, когда над цивилизованными людьми, за рубежом цивилизации оказавшимися, где не имеют власти конвенциональные порядки и культурные условности, дико возобладало *сердце тьмы*. Человечность же суть закон естественный – имманентно выработанное свойство – императив разума, который невозможно преступить, не поправ собственного «Я», не отвергнув своего Гения, не потеряв веру, не погибнув морально... И ваша нелюдность несколько не умаляет вашей человечности, ибо вы истинно человечны в отношении себя, ибо вы искренне блюдете честь – добродетель – единственно значительное достояние личности – единственно благую ее силу...

Но почему, Себастиан, почему теперь, когда вы свободны и уверены, когда никакие заблуждения и страхи не отягощают вас, когда целостно самопознание и невозмутима воля,

когда ровна и светла *дорога*, вы желаете окончить свой путь?

– Именно поэтому, – отвечал Себастиан. – Потому что я готов. Потому что мой личностный долг исполнен... Ваша жизнь, Деон, имеет значение для других; как справедливо сказано у Гомера: «*Искусный врач многих прочих людей драгоценней*». Моя жизнь значима лишь для меня самого. Я не приношу пользы этому миру, а соответственно, не имею основания излишне долго здесь присутствовать.

– Но ведь вы воистину являете собою то, что зовется *кладезем премудрости*...

Себастиан при едва различимой улыбке едва различимо вздохнул:

– Понимаю, что вы подразумеваете, Деон. Однако я – эклектик¹⁷⁵. Все мои доводы суть эхо уже не раз изреченных суждений – реминисценции. Я оторван от текучих реалий мира, каковые бесперечь выставляют новые проблемы, требующие свежих взглядов и новаторских решений. Мой язык нем для живущих, ибо это язык мертвых. И я никогда не думал всерьез взяться за перо, поскольку мне не к кому обращаться, кроме как к себе, а для этого незачем исписывать бумагу... Но если бы даже я и принялся за сочинение, то, по зрелом размышлении, не знал бы, с чего стоит начать, ибо не ведаю, чем должен закончить...

Низошло непродолжительное (*но протяжное*) безмолвие.

¹⁷⁵ Эклектика – объединение разнородных концепций, идей, взглядов (и т. п.) в единую согласованную систему.

– Вы лишены социального опыта, Себастиан, – возразил я (с сердцем неумолимо щемящим), – но располагаете гораздо более исключительным и никак не менее важным – опытом философской уединенности. Разве не случилось, что мыслители уходили жить в глухие леса и пустыни, дабы отойти от дел человеческих и осмелиться уверовать, что те могут стать *иными*?.. Пребывая в отдалении, вы созерцаете мир посредством зрительной трубы чужой субъективности, но тем не менее не довольствуетесь единой точкой зрения, а изучаете сложный ландшафт бытия со многих ракурсов, что позволяет вам сформировать персональные принципы. Подобно пчеле вы собираете пыльцу с различных цветов учений и перерабатываете оную в однородный мед мудрости. Таким образом, ваша эклектика суть ваша индивидуальность, – поскольку, как вами же сказано: познания, встроенные в дух, скрепленные с ним сознательно-эмоциональным раствором, становятся его органической частью; и так из многих кирпичиков постижений возводится твердыня монолитной личности... Вообще говоря (и это само собой разумеется), все эрудированные люди – эклектики; а нередко – синкретики¹⁷⁶. Человек, чьи идеи знаменуют революцию мышления – наи-

¹⁷⁶ Синкретика – сочетание разнородных концепций, идей, взглядов (и т. п.) в систему без их согласованного объединения; если эклектизм старается путем критики выделить из различных систем состоятельные принципы и органически связать их в одно целое, то синкретизм соединяет разнородные начала, не давая им истинного объединения, поскольку игнорирует необходимость их внутреннего единства и непротиворечия друг другу.

более феноменальное явление в мире; сей озаряющий светоч восходит над горизонтом обычно не чаще, чем раз в пару столетий (но ведь и он берет свое рождение в плодородной почве культурного наследия)... Вы же, Себастиан, однозначно (и непременно) выделяетесь на общем фоне самобытностью менталитета. Вашим убеждениям незачем соотноситься с изменчивой действительностью, поскольку сами они непреходящи, – были актуальны века назад – актуальны и поныне, – ибо изменился людской быт, но человеческое бытие осталось неизменным... Сверх того, многое из представляющегося вам очевидным, отнюдь не таково для большинства. Люди, которым в неоглядной степи информационной рассеянности и за настоящим-то тяжко угнаться (результатом чего служат духовная ветреность и умственная близорукость), типично с подозрительным небрежением относятся к стародавним авторам, ведь им кажется, что те в нашу «просвещенную эпоху», в нашу «эру прогресса» сделались архаичны, маловразумительны, вздорны, попросту не нужны; они побаиваются пионеров мысли (в особенности же тех, что свободны от парадигмы так называемой *«христианской морали»*), как побаиваются всего, что находится за гранью их тривиальности, за гранью их мнений и привычек... А fortiori («тем более»), мудрое и благое не станет глупым и беспроким, сколько его не повторяй, – именно поэтому бессмертны в исторической памяти пословицы и афоризмы, даже когда имена их отцов давным-давно канули в Лету. Литература,

как любой эволюционирующий организм, должна постоянно обновляться, но при этом никогда не забывать о своих корнях, вглубь веков уходящих, благодаря которым столь высоко и пышно вознеслась ее крона... И обратившись к читателям на языке нынешнего столетия, вы могли бы изложить для них то, чему научились у минувших тысячелетий, – то, что суть заслуженное и неотъемлемое владение вашей личности – мощь вольного разума – эманация творческого духа.

– Сказанное вами верно, Деон, однако не вполне, – с деликатной серьезностью возразил Себастиан. – Вы не способны столь же отчетливо прозреть извне мою *исключительную* позицию, как ее изнутри вижу я... Я не могу наставлять людей, поскольку не могу их понять. Я отличаюсь от них наружностью, но куда существеннее не схож с ними *внутренне*... И подчас меня озадачивал кардинальный вопрос: если бы вдруг я обрел общепринятый вид, то покинул бы свою уединенную обитель, дабы отправиться *в свет*, или же остался бы под сенью самоизоляции?.. Я ни разу не сумел прийти к однозначному ответу. Ибо проникнутый всеми человеческими чувствами, так и не уразумел многих людских страстей. Превыше всего меня всегда волновало не то, примут ли меня люди, а то, смогу ли я принять их. Готов ли я лицом к лицу встретиться с антагонизмом своего духа? Не стал ли бы я в итоге таким же затворником среди народной суеты, каким пребываю в горах безгласных?.. С другой стороны, ежели я человек, ежели во мне нет какого-либо поро-

ка, который бы извращал мое человеческое естество, то отчего людям не принять меня таким, каков я есть? Верно, лишь оттого, что сами они в массе своей не понимают, что есть человек, не постигают собственной природы... Тот, кто видит лишь видимое – слеп... И как сказал однажды доктор Альтиат: «Чем слепее животное отдается своей природе, тем полнее воплощает ее, тем более сильной и достойной особью является; но существо, которое Платон назвал *«животным о двух ногах, лишенным перьев»* (а после ж того как киник Диоген, ощипав петуха, принес того в Академию¹⁷⁷ с возгласением: *«Вот вам платоновский человек!»*, – широчайший из философов присовокупил к данному определению: *«и с плоскими ногтями»*; хотя по мне предельно правы те, кто дополняют: *«смеющееся от природы»*), сие оригинальное существо, чем слепее оно относится к своей натуре (то бишь разумному духу), тем ничтожнее ее воплощает, тем менее сильной и достойной особью является. *«Во всех живых созданиях незнание себя естественно, в человеке – порочно»*. Поелику для зверя безвольно отдаваться животному началу значит действовать сообразно своему жизненному инстинкту; для человека безвольно отдаваться животному началу значит пренебрегать своим разумением – своим человеческим достоинством, порочить оное; другими слова-

¹⁷⁷ Академия – философская школа Платона, основанная им близ Афин на участке, названном в честь мифического героя Академа; просуществовала с 380 гг. до н. э. до 529 г. н. э.

ми, для животного быть животным значит быть, для человека же быть человеком значит становиться, – ведь все живое природа создает завершенным, и только людей оставляет вчерне». Так говорил доктор Альтиат, добавив напоследок, что, по справедливости, ему скорее приличествует именоваться ветеринаром, нежели врачом: «Ибо для людей быть Человеком значит стать Сверхчеловеком. И, сколь ни прискорбно ставить столь неутешительный диагноз, их собачье существование, – в котором виноваты все, но каждый прав, – служит патогенезом страшной и едва ли излечимой болезни – *ликантропии*, *In aliis verbis* («иначе говоря») – обесчеловечивания: «*homo homini lupus*» («человек человеку волк»); посему ж правильно постановил добронравный цезарь: «*K nelюдям так не относись, как люди к людям*»... На данную тему много рассуждал и Лаэсий, основываясь на своем опыте духовного пастыря. Об этом свидетельствует история Эвангела. О том же самом, наконец, мне поведали вы, Деон... Да и что же представляют собой избранные произведения мировой литературы, а равно хроники и саги, как не вынесение приговора человечеству в бесчеловечности?..

Огласив сей риторический вопрос, Себастиан на несколько мгновений призадумался.

– Я сейчас вспомнил самое первое, пожалуй, такое для меня произведение, – сказал он, – которое прочитал вскоре затем, как только выучился читать. Это старинная «Сказка о человеческом тролле» неизвестного автора. Она оказала на

меня большое впечатление. Вам привелось быть с нею знакомым?

– Нет... кажется, нет... – проговорил я, безуспешно вороша архивы памяти.

– Позвольте зачитать вам?

– Конечно.

Себастиан встал и направился к одному из сверху донизу заставленных томами стеллажей (кои видом своим имели сходство со стенами, выложенными мозаикой); лишь подступив, уверенно протянул руку и извлек искомую книгу, так, что думалось, будто он сумел бы отыскать ее с завязанными глазами, – настолько превосходно Себастиан знал свою обширную библиотеку (как мало кто знает родных, с кем близок годами). Снова сев за стол, Себастиан раскрыл томик и, аккуратно пролистав до нужной страницы, принялся декламировать при завораживающе-искусном, мелодично-мерном выражении...

«Сказка о человеческом тролле»

Как-то раз ведьме, что жила в хижине лесной, когда она с утра бродила по болотам, ловя пиявок да лягушек, да травы всякие срывая, чтоб их потом употребить в зельеварении (для чародейских нужд своих и на продажу людям), в тот ранний час среди заросших топей ей довелось слышать юных дев негромкий разговор. Из деревни близлежа-

щей вдвоем они явились на болото и, на корточках присев друг подле дружки, собирали красной клюквы ягодки, на мха зеленого перинах кучно почивающие; притом беседу меж собой вели, чтоб скрасить труд рутинный. И вот, – притаившись в зарослях густых да к уху приложив костлявую десницу, – стала ведьма любопытная (хоть и стара летами) подслушивать: о чем же там толкуют девушки? А беседа шла у тех о ней. Они ее искусство колдовское порицали и житье ее в глуши чащобы нелюдимой, приставшей диким зверям разве только, клеймили строго; сколько люда уж сгубила поминали; пеняли также ей полеты на метле во мгле ненастной, что спать спокойно детям не дают; а под конец сошлись в единодушном мнении: дескать, сердце у нее угля черней и суше, – да нарекли ее «бесчеловечной».

«Бесчеловечная! – вскричала ведьма яро, вдруг вырываясь из кустов. – Да как вы смеете судить меня?! Чертовки! Ужель кузнец повинен, коль клинок, что он сковал и честно продал, пронзает чью-то спину? Чем хуже я, скажите? Ужели я собственноручно неверным женам отравы в чаши подливала? Нет, то делали мужья, ко мне сюда – в «медвежий край» – бесом ревности гонимые. Ужели я собственноручно богатых стариков кормила гусем, с подливой из поганок запеченным? Нет, то их наследники свершали, не терпелось коим завещанным имуществом поскорше завладеть, – и мне они вперед платили малой горсткой меди, дабы засим самим мощну золотом набить... В чем тут повинна я? Кого сгуби-

ла? Ведь против крыс и всяких гадов, вредящих человеку, средства варю я; и у меня, кто их берет, все говорят, что нужно, мол, избавиться от вредной твари, ущерб чинящей их хозяйству и покою, – а уж кого они в виду имеют, мне то, увы, провидеть не дано: травница ведь я – не ясновидица... На праслину же на меня, безвинную, затем возводят, чтоб кровь злодейских рук своих об убогие мои лохмотья вытереть, притом воскликнув зычно: «Вот убийца!» – на безответную отшельницу свалить все преступления, весь позор своих деяний нечестивых... Так в чем вина моя? Лишь только в том, что защитить себя не в мочи? Как обороть мне все наветы ваши: что, дескать, пёрчу я могу нагнать, приворожить, свести с ума, что низвожу луну со тверди ночи, средь бурь летаю на метле и хохочу подобно грому, да тенью в дымоход нырнувши, деток малых души испиваю, в колыбелях сладко спящих? Ну разве ж то помыслить можно, глядя на несчастную меня, согбенную чредою многих зим и бедностью суровой пригнетенную?.. Так что ж молчите, девицы? Раскраснелись отчего, красавицы? Кляните ж бабку, едва влачащую шаги, коль толки ваши – правда, а не пустые суеверья!.. Молчите, все ж?.. Так я скажу вам! Дело правое мое! Служу добром я людям и беззаветно в лесной глуши живу, где под рукою все, что для сего потребно, – стара ведь я ходить далёко. Управится тут, ибо кто ж, кроме меня, познавшей тайны многие природы?.. А вы, бесстыдные змеюки, посмели благодушную старуху попрекать, честить злодейкой черносердой, и в че-

ловечности мне отказали?! Да ведь среди вас, сказать по чести, среди всех селян деревни вашей многогрешной и одного не сыщешь, кто б верно ведал, что есть такое человечность! Ведь оной в вас самих не боле, чем в жабах этих и пиявках!»

С сими словами, достав из сумы ворох тварей, ведьма их швырнула в лица девам, доселе кои, окаменев с испугу, безропотно ее речам внимали. И, словно как водою ледяной окачены, вскричали девы, подскочили, всполошились; корзины опрокинулись у них, и ягоды волною алой на землю вылились. В самый вырез платья хладно-слизкая лягушка залезла у одной. У другой пиявки жирные вьются в кудрях золотистых. Тщатся девушки руками, с жути непослушными, отделаться от гадов, да никак не могут, и слезы льют обиды, и жалобно вопят. Прочь бросились тогда в слезах и воплях, а ведьма им клюкой грозит да вслед сулит: «Еще вам покажу я вашу человечность! Еще посмотрим тлеют в ком черные сердца!»

Засим, ворча себе под крючковатый нос, она в обратный путь пустилась – к избенке своей, сокрытой укромно среди чащи дремучей; а на ходу все размышляла: что такое бы содеять, дабы грозные посулы въяве претворить? И вдруг в слепой досаде оттого, что ярь все мысли в голове, как ветр листву сухую, разметает, ступила ведьма на трясину неосторожною ногой. Мигом писк раздался, точно б кошке хвост иль лапку придавили.

«Что такое?!» – вскричала ведьма, встrepенувшись.

И видит, как из темной тины чьи-то уши показались – длинной своей и видом с ослиными ушами схожи; да два чернящих крупных глаза – подобье бусинам гагата.

«Ага! – издала ведьма восклик. – Да это же болотный тролль! Отродье топей гадк...»

Но вдруг осекшись и призадумавшись на несколько мгновений, старуха тон сменила резво: «Ах, прости меня, голубчик, – елейным голоском (ей вовсе чуждым) она залепетала, – стара уж стала я и плохо вижу, не заприметила тебя, малютку. Ну-ну, не прячься, вылезай! Дайка ж бабушке, милоч, чумазую твою мордашку разглядеть получше!»

Но тролль пугливый, не шелохнувшись, всё сидел в своем укрытье, ушами длинными дрожа. Тогда его за эти уши схватила старая колдунья да выудила из трясины враз, перед собой поставив смирно. А был-то ростом тролль ее пониже (хотя и сгорбленной нехило) на целых две (не меньше) головы. До самых пят косматую порос зеленой шерстью; на месте носа у него свиное рыльце, во рту остры клыки кошачьи, на лапах когти, что у землеройного крота, а назади – овечий хвост трепещет. Воистину, неведома зверушка!

«Ох-уж-ох! – вздохнула гулко ведьма, заботливую мину напуская. – Какой ты грязный! Весь-то в тине слизкой и волючей! Какой же тощий! Страх глядеть! Уж, видно, ты давно не ел нормально! Да что давно? Пожалуй, эдак, отродясь! Всё эти девки, чьи щеки пухлые алей, чем клюква та, которую к тебе сюда приходят грабить, чтоб на варенье про-

пускать. Тебя ж, бесстыдные, к своим угожьям не подпустят злачным, где молоко и хлебы, каши с маслом, похлебки на мясном бульоне да куры с овощным рагу, где пироги начинки всевозможных, где творог, яйца, сливки и сыры, где все найдешь, чего душа не пожелает... А ты и знать такого ведь не знаешь, с пеленок токмо ягоды вкушая да сыроежки... бедный тролль... Ну-ну, пойдём, мой милый; тебя в знак извиненья, – что на чело тебе ступила ненароком, – к себе я в гости нынче приглашаю: омоешься в ручье ты хорошенько, у печки согреешься уютно-трескучей, да, чем богаты, мы уж попотчует тебя. Пойдем-пойдем, и на дорожку, вот, возьми медовую лепешку, – для себя ее сегодня утром испекла, только ж девок сих противных увидав, от коих ты, дружок, в тинистом омуте таился, лишилась напрочь аппетита (аж вспомнить эти хари тошно). Ну так держи... смелей-смелей... скушай-ка душистый коржик – маленько подкрепись... Да не робей, тебе сказала!.. Ну, молодец. Грызи-грызи. Ах, проглотил! Какой голодный! Добавки хочешь? Так ступай за мной».

И вот уж тролль наивный (таким-то соблазненный объеденьем чудным!) за ведьмой следом поспешает к ее избушке кособокой. Туда придя, да наперед в ручье обмывшись (нехотя и кое-как), он греться сел у камелька.

Колдунья между тем, скрипя ехидным смехом, в котле чугунном варево бурлящее мешает, от коего густые клубы пара всю хижину заполонили. Много ароматных трав и всяких пряных порошков щепотками в котел швыряет: пена, поды-

маясь вдруг, с шипеньем плещет на очаг. Да при сем-то старушка лопочет задорно: «Сейчас-сейчас, еще чуть-чуть, любезный гость, и дивный суп готовым будет! Ты потерпи чуток, а я уж постараюсь, чтоб вышел понаваристей, вкусней... Вот этого туда добавим – запах чудо! Вот этого – ну что за сладь!»

Засим же, припавши долу да сняв одну из половиц, колдунья по самое плечо руку под пол запустила, и, на ощупь покопавшись там с кряхтеньем, она шкатулку расписную вытащила из тайника.

«А вот тут главное, – пробормотала, свои три зуба страшно скаля, с очами полными огня, – что по рецепту блюдо требует мое!»

И, крышку снявши пальцами паучьими, из ларчика достала сердце да вмиг бултыхнула его в котел, – так что простофиля-тролль, кой робко за столом посиживал (слюни предвкушенья украдкой пуская), и не заметил ничего.

«Ну вот... сейчас поешь как человек, – с улыбкою коварной сказала ведьма, на стол перед ним лоханку ставя, – да, может, вправду станешь человеком!»

И даже не подувши, в три глотка оголодавший тролль горячую похлебку осушил, до капли малой все слизав.

«Ах же умница какой! – смеялась бабка сипло, всем телом сотрясаясь и с жаром потирая руки. – Аж посуду за тобою мыть не нужно!.. Ну вот тебе еще напиток травяной на сон грядущий, да яблочком, уважь, печеным закуси».

И с этим тролль управился в мгновение ока, уснув на месте тотчас (ведь в травяной отвар, что выпил он, сонную пыльцу тайком подсыпала колдунья).

«Аха-ха-ха-ха! – уж без притворства рассмеялась старуха ведьминым смехом. – Заснул троллем, человеком проснешься! Нет-нет, все тот же тролль ты будешь видом, но думать станешь, что человек ты, не иначе, и любить себе подобных до самой глубины людской души! Ведь сердце беспорочное ты проглотил, что у юноши прекрасного, некогда в болоте утонувшего, пылко билось в груди. Годы я его хранила в ларчике особом, от тленья берегущем, – авось и пригодится. И не дожидаться мне, поди, повода похвальней!.. Вкусно ль ото-бедал, глупый тролль? Еще бы! Ведь месть – вкуснейшее из яств – сладостнее меда, пьянительней вина! Се княжеское лакомство человеку лишь прилично, всем прочим тварям недоступное! Ты ж, безмозглый тролль, только-то орудие в чюдном замысле моем, и все плоды его вкушу лишь я одна! Впрямь как рабочая пчелка, чей век многотруден и краток, с рабским усердием собирает нектар для своей королевы, не отведав при этом ни капли, – так и ты мне послужишь!.. Аха-ха-ха-ха! – опять разразилась бешеным смехом и, руки воздев, возликовала ужасно: – Ну что за диво! Вот потеха! Тролль – и человечней человека! Просто сказка!.. Да только ж глянем, счастливо ль закончится она...»

И вослед сих грозных слов, склонившись к уху тролля, взялась ему нашептывать колдунья, что, мол, рожден он был

в далеком граде, воспитание отменное имел, образованием отличался знатным, да вот, вполне уж возмужав, в странствие пустился, чтоб поглядеть воочью, чем хорошо живут, чем плохо, люди, и помогать, кому в чем только сможет.

«Хоть по своей природе тролльской говорить ты не умеешь, тебя одной я фразе все же научу: кого не встретишь, кланяйся учтиво, молвя: «Здравствуй, добрый человек!» – а мы ж тогда посмотрим хорошенько, что люди добрые тебе ответят...»

И вот уж тролля сонного, глумного к большой дороге из лесу ведьма волочет да к вехе его приставляет спиною; сама ж, незримо притаясь в сторонке, следит с нетерпением алчным – с ехидством, сердце щекочущим. Троль же, по чуть придя в себя, встряхнул отяжелевшей головой (от хмеля будто, – мог бы он подумать, коль знал бы, что такое хмель), протер сонливые глаза, кругом недоуменно осмотрелся да, пожав плечами, зашагал в деревню напрямик, чтоб, по внушенью ведьмы, поглядеть воочью, чем хорошо живут, чем плохо, люди, а там помочь, кому в чем только сможет.

Всем встречным на селе он кланялся учтиво, с улыбкой восклицая: «Здравствуй, добрый человек!» Но каждый, кто его завидит только, приветствию радушному в ответ истошный вопль исторгал и, от чудища улыбочиво-клыкастого спасаясь, мчался в дом к себе стремглав, на все запоры запирался, по́том леденящим исходя. А троль, почитавший себя человеком обычным, – таким, как и прочие (да, верно, по-

выше), – никак уразуметь не мог: в чем дело тут и где стряслась беда какая?

Меж тем молва на крыльях быстролетных стучит во все дома со страшной вестью: «В село ворвался лютый зверь – «сам дьявол во плоти» – он ростом с дуб могучий, его когтей острую длину не описать словами, а зубы у него, что сабель два ряда до крови жадных!» Повсюду паника, стенанья, мольбы, проклятья, – деревню громом сотрясают. И вот один старик, вконец рехнувшись, свой дом поджог, чтоб чудище к нему не подобралось (так костром волков в степи страшат). Скоро пламя занялось и, вскарабкавшись до крыши, на другую кровлю враз перескочило, соседний дом огнем объяв. Оглянуться не успели, а пожар уж беспощадный полдеревни как пожрал.

Тут-то тролль сознал (ему казалось) переполоха общего причину. И тотчас, отвагою полнясь самозабвенной, в нем сердце человечье запылало. Минуты малой не колеблясь, он ринулся на выручку.

Черная завеса вгустую обложила небо, селение ввергнув во мглу беспросветную, в коей палящее зарево багряных огней свирепело. Все прочь несутся, смертоносной стихии спасаясь, и только тролль мчит на нее – во спасение. Сквозь удушливый дым продирается, глазами слезящими ищет без устали: надо ли помощь кому оказать. «Здравствуй, добрый человек!» – что есть мочи он кличет (ничего иного сказать не умея). Вдруг слышит: детский плач из горящего дома доно-

сится. И, всякий страх попирая, внутрь врывается доблестный тролль, находит малютку, что под кроватью таилась, да, на руки поднявши ее бережливо, выносит дитя из огня – от гибели верной спасает.

Селяне тем временем на холме недалеко гурьбою столпились и, в слезах на дымящие крыши взирая, проклинали демона злобного, всю им жизнь в одночасье сгубившего, – ибо только безвинного тролля во всем обвиняли. Был там меж них и старик, пожар в безумье зачавший, – он громче всех ругань метал (чтоб на него, не дай бог, никто не помыслил). А родители те нерадивые, кои дочурку свою с перепугу средь вспыхнувших стен позабыли, жалобно ныне рыдали, что, дескать, из самых их рук вырвал монстр малютку. Трусливый же стражник, вперед остальных от бедствий умчавший, днесь лживо хвастал (безо всякого причем зазренья), как, мол, отважно с тварью огнедышащей сражался, да даже, кажется («Чем черт не шутит!»), треклятую сразил.

И вот неожиданно является геройский тролль: сплошь сажей черною покрыт, мех там-сям опален, хвост обгорел и кончики ушей; а в лапах держит, к груди прижавши крепко, невредимое дитя, что ангелочку белокурому сродни.

«Здравствуй, добрый человек!» – с улыбкой гордой восклицает.

«О боже!» – и – «О дьявол!» – пугливо ропщет сонм вначале, потом истошный вой заводит: «Ее сожрать он хочет – зубы скалит! Всех нас за нею следом! Убить его! Убить!»

Убить, пока не поздно!»

При этой дикой брани селяне стражника вперед пихают с дрожащей пикою в руках. А добрый тролль, их зла не постигая, спускает девочку на травку и по головке ее гладит; та ж, невинное создание, ему улыбкой отвечает.

«Убить его! Убить! Убить немедленно!» – как из пращей свистят лютые крики гнева людского. Толпой теснимый стражник, трепеща и щурясь, шажками мелкими подходит, копьё на тролля устремляет и поражает прямо в сердце. Тролль смотрит на людей в непонимании беззлобном и, вздох последний испустив (а вместе с ним и человеческий дух), навзничь падает убитым.

Народ ликует всегласно, но пуше всех, следя незримо из засады, ликует ведьма – свое торжество, упоенная желчью, справляет.

Лишь белокурое дитя стоит в безмолвье сердца; и к спасителя мертвой груди оледенелой грудью припадает...

XI

Себастиан закрыл книгу и отложил ее в сторону.

– Да, – понуро кивнул я, – смысл этой сказки правдив...

Люди бывают вздорны, жестоки... бесчеловечны; ими слепо управляют (точно бы приобретенные инстинкты): суетность, праздность, мнительность, алчность, предвзятость, зависть, тщеславие, гордыня, ненависть, суеверность... все то, что по праву именуется невежеством, но не потому, однако, что чуждо сознательности, а потому, что, из нее исходя, действует ей вопреки (*«Горшине из зол суть те, которые творим себе мы сами»*)... И кажется, нет такого кромешного дна, до коего бы род людской не отчаялся опуститься... равно как грезится, что нет такого заоблачного пика, до коего он не отважился бы подняться. Ибо нет ничего величественнее человека, но нет ничего и презреннее; нет ни одного живого творения, которое бы так же восхищало, как возвышенный человек, а соответственно, нет ни одного живого творения, которое так же ужасало и отвращало бы, как человек низменный... Но ведь даже у того, у кого вырастают лебединые крылья, они неминуемо вырастают вороними, ибо сколь бы много ни обреталось в голове умудренного светлых мыслей – мрачных там неотвратимо больше... И тот свет, что мы способны зреть, что мнится нам божественной искрой – это рукотворный костер в ночи, ободряющий жар ри-

туала средь стылого хаоса мельтешащих теней, факел искусства во мгле дремучей... но не абсолютное *Свечение Вечности*... Все мы – *чада Пандоры*. Каждый рожденный подвержен гибели, каждый здравомыслящий причастен безумью... Лишь в том младенческом возрасте, когда мы себя не помним, когда ум наш чист и непорочна душа, когда слова для нас вряд ли что значат, когда мы воспринимаем мир безлично и непосредственно, только тогда наши непригодные к полету крылышки нежны и белоперы, а в очах теплится эфирная аура... Но стоит миновать сему краткому сроку, стоит нам приобщиться рассудочному существованию и приучиться ткать словесную паутину мышления, на каковой до конца дней подлежит нам исполнять свою экзистенциальную активность, лишь стоит нашему сознанию познать «добро»-и-«зло», как вместе с былым неразумием мы постепенно утрачиваем былую ясность, как вместе с памятью обретаем забвение... Возможно, прав был Софокл, высказав в последней своей трагедии – в своем посмертном завещании, что первое благо – совсем не рождаться, второе – родившись, к небытию возвратиться скорее, а едва пролетит несмышленное, беспечное детство, и печалям не будет конца... и вовек не обрящешь покоя...

С минуту я молчал; Себастиан тоже (он знал, что я собираюсь сказать ему нечто знаменательное).

– Астра беременна, – молвил я, перед собой, как в бездну, глядя. – И мне... мне страшно... До смерти страшно, ибо

я никак не могу уразуметь, что есть жизнь – благословение или проклятие? Мы даруем своему ребенку чудо этого мира, или же обрекаем его на тщету бытия? Что я должен буду испытывать, когда мое дитя впервые вдохнет воздух и откроет глаза свету, – гордость или раскаянье?.. Готов ли я стать отцом, а главное – вправе ли я им быть?.. Сомнения переполняют мне грудь, извиваются, аспидам подобно, прыщут жгуче-леденящим ядом, разъедающим сердце... И я страшусь, непрестанно страшусь, что счастливейший день моей жизни чреват стать прологом очередной трагедии...

– Вы должны верить в себя и в свою супругу, поскольку верите в вашу любовь, – тихо сказал Себастиан, мой потупленный взор теплым сияньем очей привлекая. – Естество любви – единство, ее цель – генезис.

– Вы правы, – отвечал я. – Но... но даже если мы сумеем быть достойными родителями, как оберечь дитя среди пагубной неустроенности мира, кишашего заразой недомыслия, порочности, лицемерия, корысти, фанатизма, насилия; мира тотальных неуверенности и страха, где каждый опасается, а посему – каждый опасен, – отчего, по неизбежности, к преднамеренному злу прибавляется гораздо больше зла бесцельного; как, спрашиваю я, оберечь дитя среди абсурдного мира, где радости и страдания скрещены в патологические гибриды, где тягостна свобода и вожделенно рабство, где честь бесчестна и бесславна слава, где суета и гнев доставляют иступленное упоение, где нестерпимы тишь и покой; среди

шаткого мира напастей и тоски, которым управляют не разумение и справедливость, но деньги, сила и ложь, а потому являющегося многочисленными этюды постыдного неравенства – пошлой роскоши и унижительной нищеты, безжалостного могущества и жалкой бесправности; наконец, среди скорбного мира, где невежество и отчужденность – норма, а мудрость и взаимопонимание – исключение?.. *Как?..*

Мой вопрос – моя сокрушенность – мое *моление* – повис в воздухе. Себастиан безмолвно смотрел на меня (*в меня*), и неподвижные зрачки его хранили глубокий след вдумчивости; затем он сказал:

– Вы спрашиваете одного из немногих, кто был от всего означенного волею судьбы убережен. Но, может быть, как раз ввиду сего я смогу подать вам надлежащий совет, – поскольку, не касаясь частных, попробую рассудить основы. Так одно из речений Конфуция гласит: *«Есть ли у меня какая-либо опытность? Нет. Но когда люди просят моего совета, я, не имея должного представления об их деле, выясняю только, где его начало и где конец, и более ничего не говорю»*.

Самое первостепенное, безусловно, в искусстве воспитания – это чувство ответственности – чувство родительского (шире – человеческого) долга. Всегда нужно помнить: не дети наше будущее, мы – будущее наших детей. Следующее (но не менее существенное), это постижение творческой – эстетико-моральной – природы человека, сознание того, что

его характеризует, к чему ему приличествует стремиться и от чего отстраняться; отсюда, само собой, должна отправляться воля совершенствования, заключающаяся в конструктивной деятельности души, при которой разум и чувства консолидируются в единстве, нарекаемом добродетелью. Далее, способность привить ребенку объективное мировоззрение (то есть ясное понимание всеобщей относительности в порядке вещей и явлений, где следствие нередко суть мотив, а мотив – следствие, и где, бывает, что закономерности случайны, тогда как случайности закономерны), – для привития сего необходим прямой и справедливый наставнический дух, что вещает, но не диктует, убеждает, но не навязывает, ведет, но не ограничивает; не только уча тому, чему полезно, но и вразумляя о том, в чем вред (поскольку мало ведать истину, надобно также вникать в причины заблуждений: неправда без правды властна представляться несомненной, но правда без неправды – сомнительна; факт удостоверяется не тем, что против него нет свидетельств, а тем, что любые свидетельства, против него выдвигаемые, на проверку оказываются ложными). В довершение же всего, любовь, коя служит источником чистой веры – совершенного доверия, а соответственно, ядром единодушия меж родителем и дитя – воспитателем и воспитанником. Все вышеприведенное (что можно фигурально визуализировать квадратом, в котором каждая сторона равнозначна), определенно присуще вам, Деон, ибо вы достойный человек, а значит, для вас по праву есте-

ственно быть достойным отцом. Ведь поступая недостойно в отношении своего ребенка (или кого бы то ни было), вы в первую очередь поступали бы недостойно себя – поступали бы наперекор своему этосу – своей натуре – и уже не являлись бы тем, кто вы есть, и вас бы не заботило то, что ныне столь тревожит. Здесь и кроется роковая особенность человека, блюдущего достоинство, во всем старающегося поступать мудро: он часто сомневается, намереваясь сделать ответственный шаг, ибо зрит слишком обширно, чтобы, сродни лошади в шорах, не опасаться скрытых угроз; он страдает от напряженного анализа, в силу своего ментального склада тщаь дистиллировать волнующий его вопрос на черное и белое, каковые беспреренно смешиваются в серые тона. Риск ошибиться невозможно свести к нулю, – непогрешимость есть только-то погрешность, химера, – но возможно сей риск серьезно уменьшить. Для этого требуется при любых обстоятельствах оставаться верным себе – своей сознательности – своему долгу – своей чести; неуклонно следовать собственной природе, углубляя ум и возвышая душу; всегда внимать рассудку и действовать в согласии с его курсивными посылками, но при сем никогда не пренебрегать воззваниями сердца, лишь бы оные неоправданно не противоречили тому, что внушает зрелое размышление, – подобает пребывать невозмутимым, но не бесчувственным. Первый атрибут мудрости – не допускать расхождения между словом и делом; первая обязанность воспитателя – подтверждать на-

ставления личным примером (вспоминая тезис Иммануила Канта: *«Подражание для воспитуемого есть начальное определение воли к принятию максим, которые он впоследствии делает своими собственными»*). Таким образом, искусство быть достойным человеком централизует все этические искусства *отпiно* («в целом») (ибо душа – полнота сознательного и подсознательного – суть форма поведения), в том числе – быть достойным супругом и достойным отцом; и как любое великое искусство (в данном же случае мы говорим о *величайшем*, – памятуя, что вообще почти всякая целенаправленная деятельность – искусство) оно требует многопланового изучения и постоянных экзерсисов – вдохновенной самоотдачи.

Возвращаясь непосредственно к проблематике воспитания, хочу добавить, что поистине важно поощрять в ребенке склонность к игре, – поскольку очень достоверно, по-моему, сказано Монтенем в его *«Опытах»*: *«Игры детей – отнюдь не игры, и должно смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие сего возраста»*. Ведь, по сути говоря, сама жизнь – не что иное, как игра; только если все живое играет по заведомо условленным правилам, то человек, обладая способностью мыслить абстрактно (то есть – необусловленно), волен, в меру возможностей, лично утверждать свои принципы, следовательно – цели. И, пожалуй, вполне справедлив парадокс: *«Зрелый человек тогда бывает наиболее серьезен в своей деятельности, когда наиболее упо-*

добляется ребенку, игрой увлеченному» ... Разумеется, детским играм приличествует быть размеренными и вдумчивыми, развивающими логическое мышление и творческое воображение, предрасположение к усердию и любовь к доброте, а не буйными и шумными, культивирующими разнузданность и жестокость. Как, вторя Платону, предписывает Аристотель, считавший, что нравственные устои сказываются в вызываемых делами удовольствии или страдании: *«С самого детства надо вести, чтобы удовольствие и страдание доставляли то, что подобает; именно в этом состоит правильное воспитание»*. Ибо воспитание этическое есть воспитание эстетическое.

(Не подлежит сомнению, замечу *in parenthesi* («в скобках»), ребенка ни в коем случае нельзя обижать, даже желая ему тем самым блага (дабы истинно понять свою ошибку он должен почувствовать дружественную справедливость укора: не наказания бояться – воодушевляться мыслью об исправлении), но и хвалить его следует с разумной умеренностью – единственно в действительно заслуженных случаях, – поскольку ребенок обижаемый исполняется страха и униженности, а ребенок чрезмерно хвалимый – гордыни; тогда как тот, кто поступает хорошо, полагая сие естественным, и естественно же стремится стать лучше, со спонтанной вольностью держится *«aurea mediocritas»* («золотой середины»), будучи исполнен подлинного достоинства.)

Бесспорно и то, что весьма благотворное воздействие на

детскую душу способны оказывать игрушки, служащие действительными инструментами, с помощью которых *маленький человек* совершает дебютные исследования своего внутреннего мира... Когда я жил в отчем особняке, у меня, конечно, были игрушки, но я не понимал их смысла (так, например, я катал по полу лошадку на колесиках, потому что она каталась, а не потому что она лошадка или какое-либо одушевленное мною создание, – это занятие было некоей машинальной реакцией и в нем не было ничего от искусства); только Лаэсий проложил для меня радужный мост в удивительное, бескрайнее *Царство Фантазии* и путем увлекательной игры иллюстрировал очень многое, чего я не сумел бы себе столь живо представить и непринужденно усвоить при отвлеченных разъяснениях; а разыгрывая со мною фигурками животных сценки из басен, наставник *играючи* влагал мне в душу, беззаветной серьезностью проникнутую, основоположения человеческой морали... Сии игрушки, изготовленные для меня Эвангелом, – жестом руки Себастиан указал на одну полку (которую я подмечал и раньше), вместо книг заставленную небольшими резными фигурками, ярко раскрашенными, – дороги мне, как встарь, и свято мною хранимы.

Я приподнялся с места и ступил к стеллажу, чтобы лучше их разглядеть.

– Детство – укромный уголок в нашей душе, – продолжал меж тем Себастиан, – вечнозеленый оазис грез, который должно лелеять, беречь от запущения, – ведь каждый взрос-

лый отчасти остается ребенком (и чем человек умудреннее, тем более заповедна для него сия часть – сей родник личности, иссушение коего не восполнит никакой опыт)... Всякий раз, приходя сюда, я оглядываю свои детские игрушки с трогательным чувством нежности – знаменательным чувством отрады; и не без причины они находятся именно в библиотеке, поскольку говорят моим уму и сердцу не менее, чем говорят значимые для меня книги. Не столько важно, что представляет собою предмет, сколько то важно, что мы в нем созерцаем. Так и книги, – тоже *своего рода игрушки*, – с пользой или без таковой занимают нас, отводя русло текущей реальности от наших душ, в их содержание вовлеченных, и являют сознанию те или иные образы, кои мы вольны воспринимать по собственной аффекции, но кои подчас (в особенности же в юные лета) чудодейственно возобладают над нами и, пленяя волю, преображают самое наше восприятие. Ввиду сего, грамотно подобранное чтение, играя на сопереживании ребенка, влагает в его сердце, веры исполненное, светлые, вдохновляющие образы добра, любви, справедливости, милосердия, и темные, отталкивающие образы того, что им супротивно. Ибо совершенно необходимо, лишь упрочится разумение, постичь оба этих диаметрально-вездесущих сегмента нравственности, приучиться верно различать их и заручиться фундаментальным знанием того, что благородно и что бесчестно, – поскольку именно в познании инаковостей, сплошь переплетающихся в разнородном единстве бытия, и

состоит первое свойство человека, что по древнему мифу вдохнула в нас Афина, определив тем самым нашу натуру и наш удел – свойство мудрости... Наилучший же посредник между мудростью и душой – это искусство, ибо оно как эманация идеи, как энергетическая криптограмма фантазии поселяет в мышлении абстрагированные видения, символы, каковые, дабы их дешифровать, дабы ясно осмыслить, необходимо прочувствовать; если кратко, цитируя выдающегося художника: *«Искусство – ложь, позволяющая постичь истину»*. И так как искусство суть творческое воображение – исток всех интеллектуальных инициатив и духовного потенциала, так как оно есть истинно человеческая прерогатива, есть начало разумного становления, есть тот ключ, что разомкнул человеку вольтер животной природы – движущий фактор вознесения индивидуальности – *божественное зеркало*, то именно искусству долженствует быть светилом, по орбите вокруг коего направляется воспитание. И откуда сумерки неведения устилают дол сознания, вершины уже озарены животворящим пламенем Прекрасного.

В дальнейшем же, когда ребенок начнет приобщаться наукам, в силу своей природы будет усваивать их посредством творческой синергии, что, несомненно, скажется положительно не только и не столько на эскалации интеллекта, но главным образом на раздвижении границ сознательных и подсознательных – росте личности – возвышении Гения. По примерному выражению одного замечательного славянского

литературоведа: *искусство и наука сродни двум глазам, совместно дающим объемность виденья...*

В заключение отмечу следующее: мне довелось читать у разных авторов, что самый ранний возраст (первые пять-шесть лет) также обычно и самый знаковый, поскольку именно в этот особо восприимчивый период выкристаллизовывается первичный слепок души, который, пожалуй, можно уподобить восковой фигурке, вылепленной ваятелем как образец будущей скульптуры; затем на основе данного слепка возводится форма для отливки характера, что, будучи весьма несовершенным, требует впоследствии всесторонней доработки и шлифовки. Согласно сему, если в положенный срок пробудить у ребенка приверженность добродетели (чувство прекрасного – любовь созидания), внимательно оберегая на начальных порах от чуждого оной влияния, то можно заблаговременно предуготовить его к самостоятельной жизни и тем моральным дилеммам, – порою неочевидным для незрелого рассудка, но внятными непорочно-обостренной интуиции, – кои жизнь повсеместно ставит. Ибо хотя любая добродетель искусственна (являясь не чем иным, как эстетическим актом сознательности, или активным знанием блага) и, соответственно, требует искусности для своего претворения, однако *архэ* ее – нравственное чувство (*синдересис*¹⁷⁸) – всегда естественно, имманентным эф-

¹⁷⁸ Синдересис (греч. συντέρεσις; верное суждение) – термин схоластической философии, обозначающий предполагаемую врожденную (интуитивную) спо-

фектом разумности выступая, и, соответственно, ежели не замутнено примесями нерадивости, предрассудков, заблуждений, капризов и обид, действует естественным – безусловным – образом, – так в каждом человеке обретается Гений (обыкновенно одаренностью и талантом называемый), но отнюдь не каждый его сознает – отнюдь не каждый в него верит, а потому отнюдь не в каждом он въяве проявляется, лишь смутно брезжа в сумраке существования, не взошедшему солнцу подобно.

Итак, ссылаясь на Платона, вслед за Сократом заявлявшего, что всем порокам противоположно то, о чем гласит дельфийская надпись «*Познай себя*», – а равно на мой личный духовный опыт, – я с уверенностью утверждаю: *«Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получившей воспитание, приобретет знание и о себе самой и о порочности».*

Таковыми на мой взгляд надлежит быть азам воспитания. Сказано мною немного, но большего сказать не решаюсь. Задачу же воспитания, как мне кажется, указывает следующий завет: *«Своими детьми должен искупить то, что я дитя своих родителей».*

– Это прекрасные слова, – произнес я при безудержном

способность человеческого разума реализовывать основные этические принципы. «Суть синдересиса – в природном влечении лишь к тому, что согласно с разумом и сочетается с выбором единственно верного пути». (Б. Грасиан, «Карманный оракул».)

вздохе, вновь напротив Себастиана севши, в глаза ему с неизреченной благодарностью глядя. – Прекрасные, сильные, воодушевляющие... но боюсь... *утопичные*... Вообще же все, что вами изложено, Себастиан, справедливо и поучительно, – я непременно буду помнить ваши благие советы и на них опираться... Но... – горестно потупился я. – *«Человечество – это грязный поток. Надо быть океаном, чтобы принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым»*. Действительность текуча, как ртуть, и столь же токсична...

Сцена мира слишком переполнена, слишком тесна, слишком шумна, слишком сумасбродна; всякий играет на ней трагикомедию своей жизни, драматургом коей выступает Судьба, декоратором – Обычай, а постановщиком – Случай; и все эти массовые действия – «хорошие», «посредственные», «дурные» – вклиниваются в друг друга, сумбурно перемешиваются, купно представляя собою то, что зовется «театром абсурда»... Весьма остроумно подметил, уж не помню какой автор, написав приблизительно так: *«Любой из нас – пьеса, которую смотрят со второго акта и в которой толком ничего не понять. Актеры говорят и делают неизвестно что и неизвестно зачем. Мы тщимся разобрать их поведение через лорнет собственного недопонимания, и они зачастую представляются нам просто сумасшедшими»*... Социум – это поистине невероятное и поистине пугающее зрелище. А посему люди (можно сказать, *инстинктивно*) сплываются в *труппы*, чтобы придать собственному спектак-

лю какой-то осмысленности и замкнуться в семейном кружке от той безотрадной механистической суматохи, от того глобального рационализованного безумства, что закономерно-неисповедимым образом разыгрывается на подмостках Цивилизации.

Сплошь и рядом люди сходятся почти наобум, невзначай зачинают детей и *«живут-поживают»* в суетной полуяви. Желая свести к минимуму свое непреходящее беспокойство, они тем самым сводят к минимуму свое мышление (фатально подпадая под доминанту того, что именуется «общественным мнением», кое, по большей части, суть система *«полезных предрассудков»*, содействующих поддержанию социального порядка). Они всемерно заиклены на вещественном пласте бытия: их заботит материя, но не волнует форма; они видят данность, но не ведают причины; они мнят, но не знают (и за это даже нельзя их винить, ибо сие сообразно сетованию, что среди залежей графита только изредка нарождаются алмазы), – а потому они резонно почитают, будто воспитание ребенка (именно что *ребенка* – не *человека*) состоит преимущественно в том, чтобы тот был сыт да одет по сезону, чтобы не безобразничал и не сквернословил, чтобы вовремя ложился спать и чтобы исправно посещал школу, получая высокие оценки (а не высокие познания); словом, они дрессируют детей, как дрессируют животных – то лаская, то наказывая (и так еще в положительном случае, ибо в сем жутком мире немало детей, родители которых относятся к ним

не в пример хуже, чем хозяева относятся к своим четвероногим питомцам, – это те, кто из *люда* деградировали в *зверье* – те, в ком лишь тень человеческого достоинства)... Что и говорить: никакой речи о воспитании в подлинно гуманном значении не идет. Как правило, люди только-то портят своих чад, намереваясь сделать их лучше, – неумелой заботой легкомысленно калечат неокрепшие сознания, как некогда были искалечены сами. В итоге дурное влияние заблудших душ из поколения в поколение чумой носится в атмосфере, всюду просачивается, надо всем тяготеет... И, наверное, единственная возможность не заразиться – *не дышать*... Либо подобно вам, Себастиан, вдыхать лишь девственный воздух, что веет средь нелюдимых гор, над земной юдолью возвышающихся...

Я угрюмо смолк, испытывая, как сердце мое покрылось изморозью, и тяжело стянуло дыхание. Себастиан также длительное время ничего не говорил.

– Деон, – наконец растопил он лед затишья своим теплым, исполненным несказанного благородства голосом, – я понимаю, что в вашем мире «знать» и «мочь» не равносильные понятия... Я понимаю это, хотя и не могу понять... Свобода зачастую – осознанная необходимость; но чаще того – неосознанная. Выбор иллюзорен, поскольку вольные им распорядиться находятся в неволе у неведенья, предубеждений, страстей, привычек, традиций, потребностей, обязанностей, прав, запрещений, принуждений, надежды и неверия. Каж-

дому ходу по доске бытия сопутствует фортуна. Человек никогда не может всецело ручаться за исход своих действий, – даже самые эти действия нередко ускользают за периметр его контроля. Однако, человек всегда должен отвечать за намерения, сими действиями руководящие. Истинная воля не в том, чтобы совершить некий акт, но в том, чтобы совершить оный согласно разумному суждению. Истинная добродетель не в том, чтобы от случая к случаю творить добрые деяния, но в том, чтобы стремиться быть всечасно готовым к претворению таковых с моральным умыслом – непреложной верой. Истинная мудрость не в том, чтобы всеу мудрствовать, но в том, чтобы мудро жить.

Лаэсий учил: «Благость проистекает не из внеположного источника, а из духовного начала; благой человек пребудет благим при любых обстоятельствах, меж тем как беспутный и благие обстоятельства, более чем вероятно, обернет себе (да и не только себе) во вред, – так, когда чистое примешивается к нечистому, не нечистое становится чистым, но чистое – нечистым».

Первый и высший долг человека зиждется не на том, что ему следует делать, а в том коренится, кем он должен быть. Сила духа не делом достигается, но дело вершится силой духа. Спасение – в вере; вера – в самопознании. Ибо вольно идущий осиянным путем самопознания – *Пробужденный* – одолел главный свой страх, смирил кровного врага, обрел сущего союзника – себя самого. Он истинно свободен, ибо сво-

боден истиной. Он мудр и добродетелен, ибо таково естество его самодовлеющего разума – его человеческая миссия – его божественное *Предназначение*.

«Удали маленький камешек из небольшой кучки – та заметно поредеет; скинь громадный валун с горы – она не станет меньше», – однажды сказал мне наставник.

И я лишь могу повторить вам, Деон: познавайте себя, верьте в себя, вне зависимости от условий поступайте достойно себя, достойно тех, на кого вы равняетесь, достойно тех, кто равняется на вас, и знайте, что, каковы бы ни были результаты, вы оставались верны себе – своей разумной натуре – своей человечности, над которой рок, будь он милостив или жесток, не властен.

После этих слов Себастиан встал из-за стола и протянул мне правую руку; губы его улыбались – углубленно-карие зрачки излучали серьезность. Я поднялся со своего места и принял крепкое (а вместе бережное) рукопожатие.

– Наш разговор очень важен для меня, Деон, – сказал Себастиан.

В знак солидарности я на мгновение опустил веки.

– Полагаю, – продолжал он, – заключительная тема, которая в то же время является исходной, – тема становления и воспитания, – хотя по неизбежности она не оказалась в должной степени рассмотрена, – есть надлежащее завершение нашей беседы...

Я ничего не ответил, спонтанно взором вопрошая.

Себастиан с проникновенной откровенностью глядел мне в глаза (*в самую душу*):

– Мы, Деон, мой друг, вскоре обязательно увидимся – еще раз, дабы нам, еще лучше узнав друг друга, еще лучше узнать самое себя...

Мое молчание было моим согласием (вольным смирением моим).

– Прощайте, друзья... – окидывая книги светлым взглядом, в коем мерцала радость сожаления, произнес Себастиан.

Покинув библиотеку, мы прошли по коридору и у двери, отведенной мне комнаты, расстались в безмолвном единомыслии. Лик Себастиана был покоен и ясен; но я, кому смерть за последние годы стала близкой знакомой, явственно различал в нем приметы неотвратимого затмения.

XII

«Что же со мной такое? – размышлял я, курсируя взад-вперед по комнате. – Как объяснить этот штиль совести, когда в голове бушует шторм? Как понять – среди неумной смуты мыслей – это неисповедимое смирение души?.. Ты никогда не позволял себе сдаваться. Никогда. Даже сознавая, что все твои усилия заведомо безнадежны. Ты ни разу не отступил... А сейчас? Что же сейчас?.. Ты просто будешь сложа руки смотреть, как Себастиан умирает? Ты, приехавший ему помочь! Ты, долг которого его спасти!.. *Спассти...* Нет, Себастиана тебе не спасти... Невозможно спасти того, кто уже спасен... Это его выбор – осмысленный и уверенный. Это его *благо*... Разве вправе ты оспаривать решение того, кто много мудрее тебя? Разве не бесчестной эристикой¹⁷⁹ то будет? Разве не жалким проявлением малодушия?.. Ты привык иметь дело с теми, для кого смерть есть зло – крах, ужас, отчаянье; однако недопустимо мерить одной мерой малое и великое. Ободряй уstraшенных, но не смей запугивать бесстрашного.

Люди несчастны, измучены, сломлены, а все-таки продолжают безумно вторить молитву Мецената: «*Лишь бы жить,*

¹⁷⁹ Эристика – искусство спорить (в отличие от диалектики – искусства рассуждать); для эристики важно не то истинен ли довод, но то, чтобы он казался таковым, а, следовательно, цель ее не убедить, но переспорить.

и все терпимо!» – «*Псу живому лучше, нежели мертвому льву*», – их правда. Под стать фанатикам, идущим на само-сожжение, они исступленно зарываются в уголья мук и терзаний, медленно истлевают в холодном пекле бессмысленности. Обреченность – вот что ими тиранично движет; они, безвольные, обречены жить и обречены умирать, – *Liberum arbitrium* («Свободный выбор») для них есть нечто чуждое, непостижимое. В силу привычки, а не разумения, уносимые потоком времени, цепляются они за острые камни существования – за *участь, им данную*, – будто напрочь забывая, что тот, кому уготовано дышать, тому суждено и задохнуться. Во все часы оплакивают свою горемычную кабальную жизнь, а в последний час – *разрешительницу-смерть*. И в агоническом бреде (о, сколь часто доводилось мне лицезреть это!) зовут они маму, впавши в состояние младенческой незащитности, – на пороге предвечной тьмы слезно зывают к образу той, что произвела их на свет. Наглядевшись кошмаров за скоропреходящий фазис своего бодрствования, рефлекторно трепещут пред кошмарной неизвестностью бессрочного сна. Они так и не изведали покоя бытия, и им не хватает духу уверовать в небытия безмятежие...

Люди сшиты с материей жизни многочисленными нитями: семья, друзья, работа, обязанности, пристрастия, планы, мечты... надежды и страхи... Ты сам таков. Ты живешь не исключительно ради себя – ты живешь прежде всего ради других: Астри, близкие, пациенты... и пока не рожденное, но

уже родимое дитя... Твоя жизнь значима для них; пусть даже она стала бы незначима для тебя – ты не вправе броситься на могильное ложе бесчувствия. И ты законно дорожишь своей жизнью, поскольку в ней есть насущный смысл, несмотря на то, что нет в ней абсолютной цели и быть таковой не может... Но у Себастиана есть архицель, коей он благополучно достиг; соответственно, он пересек черту безотносительного смысла, ему причастного. *«Моя жизнь значима лишь для меня самого»*, – давеча сказал сей человек; в этих словах выражена вся его сила и все его бессилие... вся вера его... Он – *иной*. Он свободен, не скован цепями общественности, закрепощающей личность. Подобно птицам, что устраивают гнезда на недосягаемых скалах, дабы уберечься от хищников, он далек от земных чаяний и опасений. Вся жизнь Себастиана сосредоточена в нем самом. Он – самоцель. Он – *Имаго*...

Никто не спрашивает нас, хотим ли мы родиться на свет; никто не спрашивает, хотим ли длить свое существование; никто – и даже мы сами, ибо нам то неизвестно, ибо мы, – забыв вчера, поглощены завтра, упуская сегодня, – погрязли в сомнениях и уверениях, ибо – суетные, заблудшие – не знаем себя. Мы – *чада Пандоры*... и среди тьмы отчаянья извечно зрим проблеск надежды... Но Себастиан воистину познал себя, исполнил свой личный долг человека – свое унитарное назначение – воплотил свой *логос*; титанический дух его озарен огнем неугасимым, и ныне ответ на неразрешен-

мый для нас вопрос – для него очевиден... Смерть представила ему, суля даровать то, чего неутолимо жаждет душа, но никогда не обретает в жизни, движущее начало и стимул коей есть деятельность, – даровать совершенный покой; и Себастиан, независимый от всего внешнеположного – в себе самом полноправный, убежденно и вольно принял простертую *десницу Вечности*...»

День медленно мерк. Я не мог найти себе места: то садился у окна и апатично-напряженно наблюдал, как синяя мгла опускается на обгаренные горы, лиловой дымкой окрест оседая, то снова брался расхаживать по тускнеющей комнате (словно собственную тень преследуя), безутешно тщась превозмочь обуревавшее меня беспокойство. Несколько раз порывался я направиться к Себастиану и настоять на том, чтобы он дозволил мне заняться *моим делом*, исполнить все, что в моих возможностях, – но то были лишь моментные импульсы, загасавшие тотчас, лишь успевал я их осмыслить... Не знаю, сколько времени прошло, – при подобном настроении скорость его хода сугубо зависит от тех трансформаций мышления, кои попеременно свершаются в мятущемся духе, то отягощающих и замедляющих ментальные процессы, то стихийно их катализирующих, таким манером на действительность воздействуя, – не знаю, сколько времени прошло: пространство еще осенял рдеющий свет, когда в дверь раздался стук и вслед за моим: «Прошу вас!» – в комнату вошел

Эвангел... Призови я девятерых Муз Парнасских¹⁸⁰, мне и тогда навряд ли удалось бы доподлинно живописать его лик. В нем довлела скорбь, но скорбь недоступная безумью аффектов, инородная безотрадной сокрушенности, скорбь возвышенная, даже торжественная, скорбь, как это ни парадоксально, граничащая со счастьем; та *вдохновенная скорбь*, какую, пожалуй, мог бы испытывать добронравный отец, получивший известие, что сын его героически погиб, свершив благой подвиг...

– Себастиан желает видеть меня? – спросил я, ступив на встречу Эвангелу.

Его неподвижный взгляд дал мне утвердительный ответ (как на мой изреченный, так и на мой *неизреченный*, вопросы)...

Себастиан лежал навзничь в постели; его слегка волнистые русые волосы, увитые ореолом лучей закатных, словно бы пламенели на блеклой белизне подушки. Казалось, он не замечал нашего прихода; но лишь только я встал подле, – веки его распахнулись, – меня охватил этот глубокий и беспредельный, как небосклон, ясный и теплый, как солнце, мирный и таинственный, как луна, светлый взгляд темных очей.

– Деон, друг мой... – прошептал Себастиан, подавая мне

¹⁸⁰ Призови я девятерых Муз Парнасских... – богини искусств и вдохновения – Музы – по легендам жили на горе Парнас. У античных поэтов была традиция во вступлении поэмы призывать себе в помощь Муз, дабы они, ниспосылав божественное вдохновение, способствовали их труду.

руку; и я, вместо того чтобы нащупать пульс (как за момент намеревался), спонтанно принял ее в свою, на продолжительное пожатие отвечая.

– Как вы себя чувствуете? – спросил я (покорно).

– Природа... мудра и милосердна... – негромким голосом медлительно отвечал Себастиан (с переливами некоей *мистической энергии* в зрачках). – Перед тем как предать смерти... преисполняет равнодушия к жизни... неспешно низводя дух... на абиссаль абсолютного... бесчувствия... – вздохнул он (*будто мечтательно*). – Я не страдаю, Деон... Не испытываю ни боли, ни страха... ни тоски... Я только ощущаю, как по капле растворяюсь... в *Бесконечности*... единения с коей можно достичь... лишь от всего отрешившись... от всех пределов, естество заключающих...

Глаза Себастиана прикрылись и спустя минуту раскрылись вновь.

– Ты плачешь, Деон?.. мой друг... И ты, Эвангел, отец мой?.. – молвил он, с по-детски (или, как *истинно* зрелось мне, с *божественно*) лучезарной улыбкой созерцая нас. – Слезы ваши тихи... *ночная роса*... не тревожат моего покоя... Я заслужил... Эти слезы – единят вас... сливают души... Вы не должны расставаться... Отныне вы дороги друг другу... ибо нет ничего дороже для человека, чем взаимодоверие... ибо когда нет обоюдной веры, невозможно и благоединство... Эвангел был мне добрым отцом, Деон... Его величие – в его сердце... Он станет достойной поддержкой

вашей семье... а ваша семья – необходимой опорой ему...

– Да, Себастиан, – сказал я, убежденно обменявшись с Эвангелом взглядами. – Так и будет.

– Знаю... – смежив веки, чуть слышно произнес Себастиан.

Темные воды ночи, бесшумно приливая в окна, исподволь затапливали комнату. Эвангел зажег и поставил на тумбочку у кровати свечу, при тусклом и расплывчатом сиянии которой еще глубже казалась окружавшая нас темнота, еще бездоннее тишь... Расположившись обок на стульях, мы сидели рядом с Себастианом, чье слабое дыхание почти не касалось слуха; по временам я взглядывал на Эвангела: его мягкое, но застылое лицо, словно бы вытесанное из мрамора, ни на миг не меняя выражения, хранило тот же резец *счастливой скорби*, и его сосредоточенный любовный взор сакраментально блистал, колеблющийся пламень свечи отражая... Постепенно я погрузился в некий транс, сходный с тем состоянием, когда, бывает, сквозь дрему усердно обдумываешь нечто, занимавшее мысли при бодрствовании, но, проснувшись, не можешь вспомнить ничего внятного из тех неотвязных дум, кои лишали покойного сна, – так было со мною и тогда (за исключением, что я не спал и глаза мои оставались открытыми): я все размышлял о Себастиане, о том, как необычайно близок – до чего невообразимо *родим* – он мне стал в столь краткий срок, о том, что я вынужден смиренно его отпустить, потерять; и мне будто бы мерещилось, что есть

верный выход из тернистой пущи мыслей и эмоций – выход к принятию, но чем увереннее я рвался туда, где, чудилось, брезжил просвет, тем безнадежнее плутал в теневых дебрях подсознания... Как вдруг раздался пробуждающий глас:

– Деон... – прошептал Себастиан; и зрачки его, обсидиановым светилам подобные, осияли мой разум. – Ты должен верить... Ты – целитель... Исцелять – значит обращать ко благу... Мое благо – в моем выборе... Узнав тебя, я утвердился в нем... *совершенно*... Ты исцелил меня от сомнений... упрочил веру... Я полюбил тебя, брат мой... полюбил твою благородную душу, счастья достойную... *Свет жизни*... Здоровым отхожу ко сну... покоя вечного...

Я ничего не ответил. Не сумел ничего ответить. Не должен был ничего отвечать. Себастиан понял меня, – я чувствовал... знал... верил...

Тьма отступала. Отливавшая ртутью луна истаивала на глади ясного неба. Размытые силуэты гор подернулись бежевой испариной, навейной согревающим дыханием восходящего солнца, и пурпурная вуаль облаков озолотилась его лучей бахромою. Всё выше подымался утренний светоч – всё ниже оседал туман, обнажая белоснежные бивни скал, заревым багрянцем мерцавшие. И как скоро блещущее *Око Жизни* заняло на просторе небесном урочное свое положение, с материнской теплотою заглядывая в окна горного поместья, глаза Себастиана широко раскрылись – взор его сверкал неизъяснимым *огнем астральным*... неулови-

мое мгновение, *вечности равное*... и погас, пеленою смутного дыма затмившись...

С уст Эвангела сорвался даже не стон, а мощный выдох (мне слышалось, точно в нем отчетливо прозвучало слово «сын» – заветное слово, огласившее сознание старца); и по щеке его искрой скатилась одна единственная слеза, но в беззаветной слезе этой сконденсировалось несравнимо больше чистого чувства, нежели в безутешных потоках, какими раздражаются те, кто оплакивают самое себя, потеряв того, кто был им дорог – того, к кому они *привыкли*...

Я испытал, как мое сердце прониклось невосполнимой утратой, но вместе с тем утрата сия оставила по себе нечто столь значительное, что я еще не был готов его осмыслить, нечто столь благомощное, что я не мог сразу оно воспринять, нечто, чему суждено было навсегда меня преобразить. Дух мой смертоносно полыхал пламенем животворящим и сродни фениксу, перерождаясь, воспарял из собственного пепла...

Эпилог

Я исполнил последнюю просьбу доктора Альтиата. Я исполнил свой личный долг.

Эвангел показал мне лист бумаги – завещание Себастиана – самое лаконичное завещание из всех, которые довелось мне знать: «Предайте тело мое как есть земле. Пусть книги, что служили для меня источником духовного благополучия, станут таковым для тех, кто пожелает из него почерпнуть», – гласило оно.

Взяв по лопате, мы с Эвангелом выкопали во дворе близ высокой раскидистой ели (в тени ее) могилу и, опустив туда тело Себастиана, засыпали землей. Мы совершили это спокойно, ибо уверенно сознавали, что погребаемое нами – только мертвая оболочка, сам же Себастиан – его образ нетленный – жив в наших душах...

Утро было ясным и безветренным (совсем как то, в кое я прибыл сюда, виделось мне, но духом постигал сокровенно, что всё *иначе*). Утро было невыразимо трогательным – трогательно-невыразимым. Утро было *чудесным*... Эвангел отвез меня на повозке, запряженной старой гнедой лошадью, в Амвьяз, где я нанял экипаж до города. Но прежде чем отбыть я написал от своего имени духовнику родителей Себастиана

письмо, в котором, представившись учеником доктора Альтиата, уведомлял, что сын герцога и герцогини скончался сегодня на рассвете (о причине смерти я умолчал) и был похоронен на территории горного поместья; далее я сообщил последнюю волю покойного: чтобы его частная библиотека стала публичным достоянием, и свою готовность сию волю осуществить; также я указал, что попечение о будущем Эвангела беру всемерно на себя; а в конце присовокупил: «P.S. Их светостям нет повода тревожиться гласности, – мое знакомство с Себастианом пребудет свято мною хранимо».

Мы с Эвангелом условились, что я возвращусь через два дня, а он в это время подготовится к переезду (я, кстати, сразу попросил забрать с собой шагреновую папку с художественными работами Себастиана, некоторые из которых впоследствии заказал оформить в рамы и развесил у нас дома, – Астра, будучи сама художницей, вдохновенно восхитилась ими, дорожа как реликвиями; «рыцарский герб» с девизом «*Sapere aude*» («Отважься знать») мы разместили на стене в детской, над изголовьем кровати).

В покачивающемся на рессорах экипаже с затаенным сердцем раскрыл я кофр, при прощании врученной мне Эвангелом скрипки доктора Альтиата, его «*Лиры*». Предомною был старый изящный инструмент темно-красного тона, огнисто поблескивающий переливами лака в лучах солнца, сквозь окошко струящихся. С краю лежала записка руки

Себастиана: «С подлинной отрадой, друг, оставляю тебе эту скрипку. Но, как и человеку, инструменту не должно пребывать в праздности, – когда придет надлежащий час, преподнеси его своему ребенку с верою, что дар сей воспламенит в юной душе Божественную Идею Прекрасного...»

Астра встретила меня со слезами радости на прелестных очах. Никогда не расставались мы так надолго. С небывалой нежностью я целовал ее веки, ланиты, губы, испивая оросившую их влагу, и бережно обнимал округленный стан... Вдруг ладонью я ощутил слабый, но всепронимающий толчок (во мне словно молнии заструились, дух огнем заряжая). Астра издала судорожный вдох, крепче прижала мою руку себе к животу и, глядя мне в глаза (*в самую душу*), промолвила с тихой торжественностью:

– Ты это почувствовал, Деон?.. Почувствовал?..

– Да, любовь моя, – прошептал я, улыбаясь (хрустальный наплыв взор туманил). – Я почувствовал...

– Как ты думаешь: мальчик или девочка? – спросила Астра, склонивши голову мне на плечо.

– Мальчик... – молвил я со сверхъестественной уверенностью («Муж», – в уме огласилось). – И я знаю, какое имя мы ему дадим.

– Правда?

– Да.

– Какое?

– Себастиан.

Астра ничего не ответила – только теплее – родимее – прильнула ко мне. *Как одно целое.* Мы были счастливы...

Двумя днями позднее, сидя на скамье тяжеловозной телеги, я приближался к пределам горного поместья. Минувший срок я посвятил своим врачебным обязанностям, а также предварительно оговорил с заведующим одной из общественных библиотек принятие в дар обширного книжного собрания. С утра меня задержал непредвиденный вызов к тяжелобольному пациенту, а потому выехать удалось только в полдень; и когда оставалось около часа езды, уже начинало смеркаться. Фиолетовые тени надвигающейся ночи неуловимо заволакивали ширящийся над землею небосвод; серые клочья тумана стлались по холмам, погруженной в сумеречный сон долины; и вдоль виридиановых зубцов леса безмятежно плыл призрачный месяц. Между тем меня одолевало недоброе предчувствие; я неотрывно следил за дорогой, стараясь выявить по знакомым приметам, сколько предлежало пути. Грузная телега же, – наперекор моему смятенному нетерпению, – еле тащилась, дребезжа по ухабам, а заунывные распевы кучера, казалось, еще пуще замедляли ее гулкий ход... Внезапно из разверзавшегося впереди ущелья с рокочущим топотом вылетели две темные фигуры – два облаченных в черное всадника на вороных конях, стремительным аллюром на нас несущиеся (и могло примерещиться,

будто то иступленные кентавры легенд доисторических). Как скоро они во весь опор промчались мимо, я только и успел разглядеть, что кверху задраны были воротники их плащей, а широкие поля шляп кидали на лица флер тени. Недоброе предчувствие мое тотчас в разы обострилось, бурно забив в литавры сердца, и кровь прихлынула к мозгу, паническим стуком в висках отдаваясь.

– Черт, что ли, за ними гонится? – просипел кучер, оглянувшись на вихрь пыли и палой листвы, взвеванный дробью копыт.

– Подгоните лошадей! – кликнул я. – Езжайте как можно быстрее! За мной не станется!

– Ну, сударь мой, – передернув плечами, с чинной неторопливостью отвечал старый извозчик, – как эти двое (черт бы их побрал!), вы уж, сударь мой, ваша милость, не обессудьте, нам, увы, хочешь не хочешь, что говорится, не разогнаться. Но чуть побойчее, пожалуй, что можно. Отчего ж не можно? Да только ж там, где дорога позволяет, сударь мой. А дорога эта, нечего и говорить, – сплюнул он, – ни к черту!

И на своем кучерском наречии, заключающемся в смешении почти нечленораздельных выкриков и подражания конскому ржанию, старик взбодрил ломовых поторопиться, да пару раз кнутом мастеровито прищелкнул.

Не долее как через полчаса, миновав ущелье, мы наконец достигли аллеи, за которой располагалось горное поместье. И я узрел кошмарные столбы черного дыма, что, вздымаясь

к небу, громады гор поглощали...

– Господи Боже! – ахнул кучер, притормаживая лошадей. – Пожарище там какое! Дьявол меня забери! – переkreстился он.

– Не останавливайтесь! Вперед! Живее! – прокричал я вне себя.

Возница было попробовал мне возразить, но, напорвшись на сталь моего взгляда, нехотя повиновался...

Как только мы подъехали к воротам (близ коих беспокойно слонялась гнедая лошадь), я на ходу спрыгнул с телеги, ринувшись к некогда белокаменному, а ныне пепельному дому, в окнах которого бушевала неукротимая ярость огненной стихии. В ушах у меня гроыхали неумолчные стоны рушащегося изнутри здания, рдяные всполохи палили глаза, горький запах гари оседал в легких; окрест, сродни серому снегу, ночной бурей взметенному, кружили хлопья золы. И, казалось, что этот дикий огонь лишь тьму сгущает.

У высокой ели, подле которой погребены тела Лаэсия и Себастиана, неподвижно стоял Эвангел. Я бегом устремился к нему. Лицо его бороздили струйки слез, размывавшие сажу на щеках закоптелых; не замечая меня, в скорбной застылости следил он за тем, как сгорает – *гибнет* – дом, чьи чертоги хранили столько родимых сердцу воспоминаний; на руках, прижав к груди, точно мать дитя, он держал небольшой ковчежец.

– Эвангел, – обратился я к нему, его плеча коснувшись.

Он заторможено перевел на меня взор, исполненный неопишуемой *задумчивой бессмысленности*; и, судорожно протянув, вложил мне в ладонь увесистый скомканный конверт. Я с торопливой небрежностью надорвал оный – к ногам моим просыпалась горсть золотых монет, inferнально блеснув при зареве пожара; извлеки вложенное письмо, я прочел следующее: «Его Светлость изъявляет вам свою глубочайшую признательность. Однако Его Светлость категорически против исполнить последнюю волю усопшего, коя не имеет и не может иметь освященного значения, поскольку таковой опочил не причащенным и похоронен без надлежащей обрядности. Поместье – собственность Его Светлости, а соответственно, всё, что на территории сего поместья находится, и Его Светлость имеет законное право распоряжаться своим имуществом, как то Его Светлости благоугодно.

P.S. Их Светлости ценят ваши лояльность и компетентность, каковые и вознаграждают с подобающей щедростью; однако же помните, что тот, кто силен облагодетельствовать, тот силен и покарать...

Да хранит вас Господь!»

– Они все обратили в пепел, – проговорил я, пуская письмо по ветру во мглу пылающую, – дабы ни единый волос его, меж страниц запавший, ни единый штрих пера, им оставленный, дабы ничто, с чем он соприкасался, что таило частичку его души, не уцелело, всеядным пламенем пожранное... Заблудшие, презренные... несчастные... они желали искоре-

нить – предать вековечному мраку – самую память об этом Человеке... Но огню не затмить *Огонь*...

Три месяца спустя у нас с Астрой родился сын. В день, когда Себастиану исполнился год, Эвангел, отныне живший с нами, внес в детскую ковчежец – ту единственную вещь, кою сберег он от пожара – и, раскрыв его пред колыбелью, стал поочередно доставать пестрые резные фигурки – игрушки Себастиана, подавая их младенцу и со слезной умильностью любуясь, как тот вертит их в хватках своих ручонках, удивленно созерцает ясными карими глазами...

К сей поре я коренным образом пересмотрел свою жизнь. Благодаря знакомству с Себастианом я бесповоротно познал, что людей не спасти, но уверовал непреложно, что спасти возможно себя и тех, кого любишь – тех, в кого веришь. Я сократил врачебную практику, посвящая освободившееся время самосовершенствованию и семье, счастливый взаимным сознанием, что делаю родных счастливыми – что, освещая свой путь, следую свету нашей Любви. Я продолжаю убежденно блюсти долг к людям, но впредь для меня всегда превыше всего есть *Долг Человека*.